

Федор Панферов

Бруски

Книга вторая

Аннотация

Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» – первое в советской литературе многоплановое произведение о коллективизации, где созданы яркие образы представителей новой деревни и сопротивляющегося мира собственников.

Звено первое

1

Горели леса.

Сизая едкая гарь стелилась по полям, обволакивала березовую опушку, гнала голодную птицу за Волгу – в сожженные степи и дальше на Урал.

Вместе с гарью, с пожарами надвигался голод. Голод гнал мужиков за море – к хлебу, заставлял поджигать леса, кланяться земле и собирать под дубом каленый желудь.

Степан Огнев осторожно сполз с кровати и, припав к подоконнику, долго всматривался в даль полей. Его раздражала и эта гарь, и то, что мужики сами поджигают леса, и что за сараями Кривой улицы ему не видать «Брусков», и даже то, что вот он сам раздражается, ворчит по каждому пустяку, как старик – дряхлый и скрипучий.

«Если бы не боль в затылке...» – думает он, желая этим оправдать свое раздражение, и снова начинает злиться на прокопченные стены избы, на запах кислых щей, на жужжанье мух в стекле лампы и на плач Зинки.

Плач Зинки поднимался со двора Плакущева, стелился по сонной в зное улице, ежеминутно напоминая Степану события последних дней. Огнев старался вовсе не думать о том, как совсем недавно из-за воды подрались мужики и в общей свалке сбили его с ног. Он старался об этом не думать, ибо где-то в глубине сознавал, что виновником побоища является он, а не тот, кто сбежал в город, – не Кирилл Ждаркин.

И, сознавая это, он все-таки старался переложить вину на Кирилла, считая, что именно он, Кирилл – владелец участка на Гнилом болоте, сторонник индивидуального культурного хозяйства – всей своей прежней работой подготовил взрыв. Все это было смешно, но Степан цеплялся за такую мысль: она его успокаивала, оправдывала, и он совсем облегченно вздохнул, когда узнал, что Кирилла на селе нет. Но плач Зинки напоминал ему о побоище в пойме реки.

– Ревет, как корова... Холера! – обругал он ее и, поправив на голове повязку, лег на

кровать, заснул, чувствуя во сне, как звенит зной за окнами избы.

В избу, звякнув защелкой, вошли Груша и Стеша. Сквозь сон Степан слышал, как они тихо ходили по комнате, что-то делали, кутали одеялом его ноги, потом скрылись на кухне и оттуда донесся их тревожный шепот. О чем-то спрашивая Стешку, Груша упоминала Чижика, гору Балбашиху, ножик.

– От земли-то сморчка не видать, а народ за ним.

И Степан, стараясь не слушать, невольно пробуждаясь, открыл глаза.

Стеша, перебирая пальцами оборки занавески, шептала матери:

– Ножик где-то достал... сапожный... Наточил его да к батюшке понес, чтоб освятить. Батюшка отказался...

– Чего это вы там шепчетесь? – спросил Степан.

– Аль не спишь?

Груша пугливо посмотрела на Стешу, а Стеша засмеялась. Смех у нее вышел какой-то визгливый, словно она поперхнулась.

– Молоко-то, Степан Харитоныч, пил? – спросила Груша и погладила его колючую щеку.

И по тому, как засмеялась Стеша, и по тому, что Груша назвала его не просто Степаном, а Степаном Харитонычем, Огнев понял, что на селе произошло что-то такое, что касается и его. Он приподнялся на локте, – из-под расстегнутой рубашки показалась костлявая грудь:

– Ну, заюлили. Чего, говорю, шептались? Груша! Куда побежала? Что в сенях забыла? Ну!

Груша повернулась и, оправляя на себе платье, торопливо начала рассказывать о том, как несколько дней тому назад из Алая с мельницы племянник Чижика вез восемь пудов муки – и пропал.

– Кто говорит, – частила она, – его в Сосновом овраге нашли... с перерезанным горлом, кто чего... Нонче ведь наболтают, только держись. А лошадь ко двору Шлётки пристала. Видно, как шла, так и завернула... Да что тебе больно до этого за интерес? Ты поднимайся скорей да иди – погляди, чего на «Брусках»-то разделали: дом-то барский улатали, окна покрасили, а Николай Пырякин столб посреде двора врыл, колокол повесил. Как начал бухать, все и сбежались, а он нам...

– Ты не мели, – прервал Степан, – а скажи, что это там – ножик, Чижик, Балбашиха?

– Ну, ножик – Чижик. Чижик – ножик... Замолол... Чижик ножик сапожный купил... Сапожничать, видно, думает. Вот и все. Свет-то тебе мешает? – Груша подошла к окну и дерюгой прикрыла свет.

Степан засмеялся:

– Так и не скажешь?

– Да чего тебе сказать? Во-от. Ты – как дедушка Катай: тому все кажется – обманывают его. Эх, заболтались мы с тобой... Нам ведь на «Бруски» пора.

Груша окутала одеялом Степану ноги, осторожно поправила марлю и ладонями легонько сжала его голову.

Степан, нарочито надувшись, проворчал:

– Бережешь все, как курица цыпленка... Бережешь, а таишь, – и, чтобы скрыть от них навернувшиеся слезы, закутался с головой в одеяло и застучал в стену. – А эта чего воет и день и ночь... Зинка?

– Воет? Повоешь! Кирилл-то не один в Илимч-город сбежал, Ульку прихватил... Теперь Зинка – сиротинкой, однобылкой.

– Вот гордец какой!

– А ты не думай об этом... Поправляйся скорее.

Заботы Груши, ее бессонные ночи и ласка Стеши радовали Степана. Но как только женщины ушли, у него снова задрожали губы, и предчувствие чего-то неладного заставило подняться с постели.

И пока он шел к окну, перед ним быстро пронеслись выжженные крестьянские поля, и он ощутил запах зноя – горьковатый, как дым смолы. От этого запаха ему стало душно. Он быстро отдернул дерюгу с окна и отшатнулся.

С Бурдяшки, пересекая Пьяный мост, вздыбливая пыль, словно на пожарище, в гаме двигалась толпа к его двору. Впереди всех в наскоро надетых разбитых лаптишках семенил маленький седенький Чижик. Он, чем-то взбудораженный, поблескивая на солнце сапожным ножом, что-то выкрикивал и наскакивал на Шлёнку. Шлёнка, с перекрученными на поясице руками, шагал медленно, озирался по сторонам, точно спросонья. Рубашка на нем разорвана от воротника книзу. Из-под разорванной рубашки блестел желтый выпуклый живот. Около Шлёнки, подталкивая его, двигались мужики, бабы, ребятишки. А позади всех металась из стороны в сторону, словно на привязи лиса, сухая Лукерья, жена Шлёнки. Она выкрикивала: «Батюшки, ды батюшки!» – и, казалось, прыгала на одном месте. Двое – племяши Чижика – втолкнули ее в подвал и наглухо закрыли дверь. Толпа росла, густела. Степан не успел сообразить, в чем дело, как она свернула в переулок и скрылась за избами.

– Что это? Что такое? Груша! – Он оттолкнулся от окна, пошарил в изголовье наган, и, не найдя нагана, цепляясь за кровать, за косяки двери, выбрался во двор. Во дворе на него пахнуло гарью. Прищурив глаза, он откашлялся и, опасаясь, что не дойдет, не догонит толпу, свалится где-нибудь, пересек улицу.

В переулке заблестела на солнце песчаная лысина горы Балбашихи. На песчанике выпукло выделился огромный крдсный камень. Рядом с камнем гнулась от ветра молодая сосна. А по дороге – через пойму, дугою к горе – двигались широковцы.

«А-а-а!» – догадался Степан, вспомнив шепот Груши, упоминание про Чижика, и еще быстрее побежал наперерез толпе. Увидав брошенные, недокорчеванные пни на участке Кирилла Ждаркина, он усмехнулся, в то же время думая только о том, что ему во что бы то ни стало надо опередить толпу, первому попасть на Балбашиху, остановить, отвести широковцев от того, что непременно свершится, если он не подоспеет. Чувствуя боль в левом боку и в затылке на месте раны (ее как будто кто открывал, бесцеремонно сдирая марлю), он левой рукой прикрыл затылок и быстрее

побежал в гору. Но, перепрыгнув через канаву, поскользнулся и свернулся под кустом ивняка.

Толпа подступала к песчанику. До Степана донесся ее буйный гам. Он напряг силы, приподнялся и закричал дико, пронзительно, пугаясь своего голоса.

– Нет, нет, не докричусь... Разве докричишься? – как-то по-детски прошептал он и, цепляясь за ветки кустарника, пополз наискось к Балбашихе.

2

На песчаной лысине Балбашихи, около красного камня, широковцы быстро сбились в круг, сжимая Чижика и Шлёнку. Чижик расчистив под ногами песок, повел ножом – круг раздвинулся. Он еще раз взмахнул ножом и как будто перерезал глотку толпе – она заклокотала, захрипела и смолкла. Передние, упиравшись ногами в песок, сбрасывая задних со своих плеч, замерли перед чертой.

– На колени! Эй, кто впереди! За башками-то ничего не видать! – крикнул Никита Гурьянов из задних рядов.

Передние ряды опустились на колени, образуя ступенчатый ряд спин и голов...

– Вот эдак, – одобрил Никита. – А то растопырились.

Чижик поднял камень и начал точить о него нож, а Шлёлка обвел всех глазами и, заметив, что на него никто не смотрит, отворачиваются, сник еще больше.

– Не я... Пра, не я, братцы, – глухо проговорил он.

– Не ты? – Чижик встрепнулся. – А лошадь у твою аль у мою двора была? Ну, за что ты его? Ну, за что? А-а?

– Не я... пра, не я.

Секунды две стояла напряженная знойная тишина. Над песчаником пролетела, свистя крыльями и дергая хвостом, сорока. Она села на осину у красного камня и сверху глянула на широковцев.

Чижик по локоть засучил правую руку, посмотрел себе в ноги и поднял голову.

– Ну, приступаю. Граждане, приступаю!

В кругу, рядом с грузным Шлёлкой, Чижик казался совсем маленьким – мальчиком с бородой. Он потрогал У себя на носу болячку, с болячки на песок упала восковая скорлупа. Чижик поднял ее, сдул песок и, не торопясь, налепил на болячку, затем острием ножа провел по ногтю – на ногте осталась тонкая бледная бороздка – и левой рукой потянулся к уху Шлёлки.

– Начинаю, граждане!

Шлёлка дрогнул, рванулся. Чижик чирикнул ножом и отбросил в сторону на раскаленный песок ухо, похожее на соленый груздь.

– У-а-ва! – взревел Шлёлка.

На плечо хлынула кровь – алая, густая... Толпа ахнула. Где-то пронзительно вскрикнула баба, и вновь все смолкло. Налегая друг на друга я жмурясь от страха,

широковцы задышали громко, как лошади в тяжелой упряжи. Чижик медлил. По лицу у него судорожно забегали живчики, из глаз брызнули слезы. Он вытер кулачком слезы и потянулся ко второму уху, уже лепеча:

– Казню, граждане!

Петька Кудеяров топтался в стороне и, перебирая под сапожным фартуком руками, пугливо всматривался в круг. Вдруг он, захлебываясь, закричал:

– Сте... Степан... Огнев!

Толпа повернулась, расступилась, точно ее кто-то разрубил огромным тесаком. В круг вполз Степан, поднялся на ноги и, покачиваясь, глядя только на нож, загоразивая собою Шлёнку, положил руку на плечо Чижика. Чижик от неожиданности растерялся и разинул маленький круглый рот.

– Что! Овцу собрался колоть? – проговорил Степан.

– Пусти, Степан. Пусти! Баю, пусти. Грех на себя беру.

Степан болезненно улыбнулся.

– Грех? Твоим грехом Лукерья сыта не будет. Наедет милиция, перевяжет полсела – вот тебе и грех твой.

Он посмотрел на Чижика, на толпу. Разъяренный маленький Чижик, похожий на сердитого скворца, рассмешил его. Но серьезность, сосредоточенность мужиков его удивили. Казалось, они совершают какое-то огромное дело, совершают его с достоинством и упорством. Такие упрямые, сумрачные, непокорные лица Степан видел у мужиков и у баб, когда они брали в руки иконы и шли вокруг села с крестным ходом. Вползая в круг, он был уверен, что они послушаются его, застыдятся и разойдутся по домам. Достаточно и того, что совершилось на поливе в долине, – побоище в долине образумило их: не напрасно же они потом несколько дней толпились у его двора. И сейчас, всматриваясь в их лица, он крикнул громче:

– А перевяжут – не помилуют, годика на три запрут. Тогда не одной Лукерье доведется без мужика страдать...

Шировцы уткнули глаза в песок на окровавленное ухо, а Никита Гурьянов, вздернув бороду, в упор посмотрел на Степана.

– Вора, жулика защищаешь! – подхлестнул он и скрылся за спины мужиков, расталкивая их, как кабан камыш.

– Эдак, эдак! Племяша зарезал! – и, размахивая ножом, Чижик наскочил на Степана. – Ты дашь мне племянника? Дашь? А-а?

– Дам! – сказал Степан и, неожиданно для себя, одним взмахом выбил у Чижика нож, затем чиркнул им по скрученной веревке, освобождая руки Шлёнки, и твердым шагом, оставляя на песке ямочки, пошел вверх. Выйдя из круга, он толкнул за себя Шлёнку и повернулся.

Из-под горы, залитые знойным солнцем, на него смотрели сотни злых глаз.

– Что? Озверели? – чуточку обождав, медленно заговорил он: – Знаю, отчего озверели. Хлеб горит – оттого и озверели.

Злые глаза замигали часто, подернулись влагой.

– Ну-да, ну-да! – Петька Кудеяров даже подпрыгнул. – Через это. Через это самое... Может, через него, то-ись через... за восемь пудов хлеба и прирезали... Ба-атюшки, а? За восемь пудов!

– Племяши! – заскулил Чижик и заметался перед толпой. – Стоите? Сложь руки стоите, а? А Васярки нет. Нету Васярки. Нету ведь. А вы уши... уши развесили. А? Племяши!

Из толпы в круг к Чижикю выскочили племяши. Было их восемь человек. Бородатые и бритые, с вытянутыми руками, ощеря зубы, они во главе с маленьким Чижиком пошли вверх.

– Ножик отдай! Отдай, головорез! Племяши! Ро-одненькие! – требовательно и угрожающе кричал Чижик.

От выкрика у Степана заискрился в глазах смех, но тут же они сделались пасмурными. Видя, что племяши начинают его обходить и хотят вырвать Шлёнку, как волки собаку из-под амбара, он отпрянул к красному камню.

– Шлёнка! Защищайся! Убьют, – предупредил он и первый скрылся за красный камень.

Шлёнка сильными руками вцепился в сосенку. Та, дрогнув иглами, заскрипела. Шлёнка взмахнул ею над собой и через голову Степана метнул в ноги племяшам. Племяши перескочили через сосенку и, согнув головы, издавая рык, скуля, кинулись вверх.

Из-под горы, нарастая, понесся гул. По гулу Степан не мог определить, на чьей стороне широковцы, и, зная, что теперь их не заставишь рассуждать, решил, не бросая ножа, защищаться от каждого. Увидав, что с горы к нему на подмогу бегут артельщики, он высунулся из-за красного камня, пригрозил племяшам Чижика.

– Стой! Куда полезли?

Те замялись, затем гикнули в один голос и, встряхивая головами, метнулись на Степана.

– Стой! – еще раз прокричал Степан. – Первому перережу глотку, – и попятился, видя, что этим племяшей не остановить.

И тут у него мелькнула мысль, что напрасно он ввязался во всю эту историю. Ну, что такое Шлёнка? Сегодня он зарезал одного, завтра может зарезать другого. Стоит ли ему – Степану – доканчивать себя из-за Шлёнии? И разве кто мог бы упрекнуть его, если бы он и не побежал сюда, на Балбашиху? Вот и сейчас – невыносимая боль в затылке, такая боль, что хочется бросить все... даже нож. Ага, нож!.. Ведь они за ножом тянутся... Кинуть им? У него дрогнула и поднялась рука, чтобы швырнуть нож племяшам, но перед ним встало побоище в долине, когда он от удара Павла Быкова свалился с ног и по нему затопали мужицкие лапти, сапоги... И, думая об этом, он с тычка сунул кулаком в лоб первому подвернувшемуся племяшу. Племяш от удара ерзанул под гору, чертя спиной раскаленный песок.

– Шлёнка, бей! Вот так!

Шлёнка размахнулся, хотел так же, как и Степан, ударить Чижика, но передумал, потрянул его за шиворот, отбрасывая в сторону. Племяш – рябой Петр – от удара Шлёнки несколько раз, летя под гору, перекувырнулся и плашмя, ровно туша барана,

шлепнулся на песок...

...К красному камню первая подбежала Стеша. Увидав, как Чижик со стороны на четвереньках подползает к Шлёнке, намереваясь схватить его за ногу, она зачерпнула две пригоршни песка и вlepила Чижикy в глаза.

– А-ай! – взвыл тот, сползая на карачках под гору.

– Вот удумала! Во-от! – Петька Кудеяров выскочил из-за камня и начал метать песком в лица племяшей.

Племяши, один за другим, приседая, воя, поползли вниз.

– Ай да Стеша! Ай да...

Степан не закончил: толпа раздвоилась, и часть ее, во главе с Никитой Гурьяновым, двинулась вверх. Степан как будто только теперь, первый раз за всю свою жизнь, увидел, что у Никиты длинные, до колен, как у горбуна, руки и весь он широкий, лохматый и густо-рыжий. И он дрогнул, заметив, что Никита находится от него в нескольких шагах.

– Тятя, уйди... Уйди, тятя, – затормошила, оттаскивая его в сторону, Стеша. – Гляди, на голове-то кровь.

Степан тронул рукой затылок, посмотрел на ладонь. На ладони, переливаясь на солнце, блестела, как лак, кровь. У него помутнело в глазах. Сначала яркий солнечный песчаник показался молочным, потом по нему пошли темные круги – они ширились, росли, задернули собой племяшей, Чижика, Никиту Гурьянова, толпу. Он качнулся и прошептал:

– Слепну... доченька... Стешенька, слепну... – и, опираясь на Стешу, привалился к красному камню.

– Жулики-и! Мошенники-и! – и Шлёнка, точно с разбега в реку, кинулся на толпу.

3

Утром ударил дождь.

Еще с вечера широковцы видели, как с запада – из гнилого угла – накатывались на сизое небо изорванные тучи, а на заре, когда все, растревоженные событиями на Балбашихе, крепко спали, – над Широким Буераком разразился оглушительный гром, и ветла у двора Никиты Гурьянова от верхушки и до самого основания расщепилась, – стала раскорякой, точно пьяный мужик. Вслед за громом хлынул дождь и забарабанил в тесовые крыши, зашуршал в соломе. По дороге тронулись мутные потоки – и в урагане наискось захлестала вода. Потом ураган смолк и полил дождь – жирный, крупный, как белая смородина.

Дождь потушил лесные пожары, потушил и мужицкую злобу. Когда солнце, золотя голые ноги ребятишек, заиграло в лужах, широковцы высыпали ко дворам и наперебой стали рассказывать: дождем смыло плетни на огородах по склону Крапивного дола, перепутало плети тыквенника в пойме, а у Егора Степановича Чухлява водой унесло

амбар. Бревна от амбара разбросало по залитому лугу. Егор Степанович, одинокий, утопая по колени в иле, баграми стаскивает бревна и ругается.

В это же утро, пересекая Шихан-гору, из Алая в Широкий Буерак шел Яшка. На Шихан-горе меж сосен в березняке бабы собирали грибы. Сшибая с деревьев капли, отряхиваясь, подтыкая подола юбок, они аукались громко и призывно, точно в самом деле боялись затеряться в лесу, как в непроходимом болоте. Яшка, слушая бабью перекличку, улыбнулся и, насвистывая песенку, заспешил в Широкий Буерак. В Широкое он не был около недели, и за эти дни соскучился по Стеше. Представляя себе, как она обрадуется его приходу, он не переставал думать и о том, что теперь на селе он не просто Яшка Чухляв, а председатель сельского совета, что дело, которое ему поручили широковцы, трудное, но он справится с ним. Как? Яшка никогда наперед не решал, как справится с тем или иным делом: он всегда заранее был уверен – оно, дело, не вырвется из его рук, и приступал к нему так же решительно, как решительно садился за стол и хлебал щи, когда был голоден. Но теперь ему поручили большое и важное дело, и он непременно хотел обсудить его. Топыря руки, ставя по одну сторону дорожки мужиков, по другую – себя, хмуря лоб, стараясь быть суровым, он, мысленно обращаясь к мужикам, произносил речь, но из этого ровно ничего не выходило. И он, шлепая ногами по лужам, шагал дальше, напевая песенку в тоске по Стеше.

«Скорей! Скорей!» – подгонял он себя, уже видя, как у Стешки загорелись зеленоватые глаза и губы, – таких губ нет у широковских баб, – изогнулись в знакомой ему только одному улыбке.

По утопанной, заросшей кустарником тропочке он сбежал с Шихан-горы в низину на берег Гусиного озера. В низине его обдало прохладой – захотелось развалиться на сырой земле, под ольхой, подремать, и он присел на старый ноздрястый пенёк у берега.

Тут его и поразил один аукающий голос – зазывный, трепетный и тоскующий: он поднимался, точно взлетая оттуда, с макушки горы, стелился над озером, затем неожиданно терялся среди множества бабьих голосов и снова поднимался, звенел по долу, звал к себе. Яшке даже почудилось, что это ауканье имеет свой цвет, такой же, как солнечные блики под ольхой, и по этому цвету его могло отыскать, зажмуря глаза... вот стоит только поднялся и пойти. А одно время ему даже показалось, что зов поднимается из сосняка, с горы, но вдруг тот обрывался и выплывал откуда-то из-за озера, таясь в каждом дереве, в каждой коряге, травинке, во всем, что окружало Яшку, даже в его собственных коленях. И Яшка почувствовал, что его манит все, что теперь, как он ни сопротивляйся, ему неизбежно идти на клич, как заблудшему ночью – на факел. Вздрагивая всем телом, уже не слыша, как булькают мутные дождевые потоки, как гогочут у омутов жирные гуси, он, сосредоточившись на волнующем зове, поднялся с сучковатого пня и, складывая губы для ответного крика, весь потянулся: зов несся беспрерывно, волнами, плача, требуя отклика. И Яшка, повинувшись неопределенному желанию ответить, опустил на колени и, глядя, ощупывая солнечные блики под ольхой, напряженно всматриваясь, пополз от берега в чащу. Затем, весь раскаленный, вскочил и, глядя вперед, отфыркиваясь, словно буйвол, ломая осинник, кинулся на Шихан-гору.

На Шихан-горе меж деревьев мельтешили бабы. Зная, что ни одна из них, слишком усердно аукающая, сейчас не оттолкнет его, он все-таки, крадучись, как волк, прятался от них, скользил по лесу, на четвереньках нырял сквозь спутанный курослепник,

неслышно перепрыгивал через промоины и незаметно для себя очутился в сосняке. В сосняке он увидел Катю Пырякину. Она, молодая и сочная, как спелое анисовое яблоко, сидела под одинокой широкогрудой березой, аукала, смолкала, шевеля раскрасневшимися губами, прислушиваясь к тому, как эхом перекачивается ее зов, и снова аукала протяжно, долго, будто кукушка.

«А-а... вот она, Катька... Неродиха», – мелькнуло у него, и он кинулся к ней, перепоясал руками ее тоскующее горячее тело, еле заметив, как у нее страхом блеснули глаза.

Вскоре он сидел около Кати, смотрел на ее растрепанную голову, с сосновыми иглами на затылке, на измятое, вздернутое платье, оголяющее розовую чашечку колена, – думая о том, как все это просто, и, видя, что Катя склонилась, словно подшибленный, стебель подсолнуха, говорил тихо:

– Ты, Катюша... не серчай на меня: нынче все помолодели. И то запомни – все как в воду кануло: на костре меня жги – молчок.

Катя поднялась, отряхнулась и, не откликаясь на ауканье подруг, тихо побрела сосняком, забыв у березы лукошко.

– Катюша!.. Ты это... – Яшка поднял лукошко и, догнав Катю, повесил его на согнутую руку: – Ты это... Вот сказать не знаю как... А сказал бы... Не зверюга я – вот что. Это тебе надо понять.

Катя остановилась. Лицо, такое спокойное, что, казалось, с ней ничего и не произошло (это и тревожило Яшку), просияло.

– Не сержусь я, Яков Егорыч... А то: не эдакая я. А вишь ты, случилось что.

– А глаза? Глаза серчают.

Катя повернулась. Глаза затуманились лаской, тонкие ноздри дрогнули, губы раскрылись, и Яшка вновь уволок ее под куст.

– Сладкий ты... Сильный. Сроду ведь силы не чуяла. Ах, ты-ы. Иди скорее, – прошептала она и, крепко дернув, потянула его к себе...

И в это же утро дедушка Катай, шлепая босыми ногами по лужам, вздоря с ребятишками, носился от двора ко двору:

– А, вот она благодать-то. Благодать-то. Я знал, я метил – уродится. Вот он под самый налив и хлопбыстнул.

– Тебе ведь, дедок, чего – корочку? – бормотал Никита Гурьянов.

– Знамо, корочку. А без корочки и птицадохнет.

– Да-а, – засопел Никита Гурьянов. – Вон в Сосновом овраге сколько воронья попадало.

Сказав про Сосновый овраг, он вспомнил вчерашнее свое вмешательство на Балбашихе – и сжался, точно еж; сел на завалинку.

Со двора сельсовета выехали две подводы с племяшами и Чижиком. В передней телеге сидел Чижик. Он пялился через наклейку и, всхлипывая, выл:

– Мужик-и! Простите, Христа ради. Кланяюсь во все стороны. Ох ты, батюшки, рученьки перекручены, – повернулся и закричал к своему дому: – Матреша! Молись, Матреша!

Со двора выбежала Матреша – старенькая, низенькая, согнутая, как и ее посошок, и, не расслышав, что ей кричит Чижик, махнула рукой:

– Ну, приезжай скорее. Ниток, ниток в Алае на базаре не забудь купить... Ниток... мотушку.

С мужиков спала утренняя радость. Усмехаясь на ответ бабушки, они молча побрели по домам. У двора остались Никита Гурьянов и Катай. Катай пальцем ноги отковырял в луже земляного червя.

– Всякая живность вздохнула... Вот оно что.

– Да, действительно, – согласился Никита и понесся через пойму на Коровий остров. Добежав до острова, он переполз через плетень и, не найдя Плакущева, пошел по влажной тропочке на берег.

На берегу под ветельником Илья Максимович, упираясь руками в песок, макал свою огромную голову в воду. С головы стекали ручейки, и волосы, падая на лоб, свивались мокрыми крысиными хвостиками.

– У-у, стерва, пра, стерва, – бормотал он зло. – Ну, я не буду... Я не буду глядеть. Я зажмурюсь. – Он на ощупь налил из бутылки самогонки в стакан, поднес ее к губам и опять зашипел: – Сволочь, пра, сволочь. Да тебя пить-то бы за золотые только деньги, паскуда вонючая! – и тихо, ровно уговаривая больного принять лекарство, продолжал: – А выпить надо. Надо выпить – ничего ты тут не поделаешь. Сдыхай, а пей; вся ведь утроба перевернулась. Ну, ты вот так, вот так – зажмурься, чтобы не видеть и не слышать. – Он крепко зажмурил глаза, зажал левой рукой нос и одним духом опрокинул стакан с самогонкой в рот, передернулся, глотнул ртом воздух так, словно вынырнул со дна глубокого озера, и вновь начал макать огромную голову в воду.

– Илья, чего это ты? Такая скандальная канитель на селе, а ты тут.

Плакущев тяжело повернулся, посмотрел на Никиту.

– Угорел. Вчера, нес толкнул, выпили малость на базаре. Вот теперь и откачиваюсь. Вредная какая, стерва! Ну, рассказывай, что там? – и, вцепясь руками в виски, приготовился слушать.

– Чего? Я, знашь-ка, – Никита чесанул рукой снизу вверх бороду. – Я, знашь-ка... Вечор, знашь-ка...

– Ну, не тяни, Христа ради!

Никита рассказал Плакущеву о том, как он ввязался в драку на Балбашихе, желая сначала поддержать племяшей, но, когда увидел, что Степан свалился у красного камня, а с горы бегут артельщики, – боясь, что все они могут обрушиться на него, он переметнулся и заставил вязать сторонников Чижика.

– Ну и перевязали племяшей-то, – закончил он и посмотрел на мокрую макушку Плакущева.

– Вот и ладно, – согласился тот.

Никита, зная, что Плакущев плутует, и желая припугнуть его, заговорил:

– Ладно, да не больно: подожгут.

Плакущев короткими пальцами потер виски.

– А мне Кирька, сукин сын, письмецо прислал. Его обстраивал, силы на него клал, а он мне: «Передаю, слышь, тебе в полное ведение жененку свою Зинаиду Ильиничну». Видал, как? Пожил, и прочь – отцу на руки. Загубил, замазал девку – теперь прочь. Где на то законы, а?

– Что теперь делать? – перебил его, Никита.

– С Зинкой?

– Да нет! Чего с Зинкой?! Молодца ей такого подыщешь – Кирьке пить даст. А вот я – вторился. Ты то пойми: теперь на меня войной племяши пойдут, и артельщики спуску не дадут.

Плакущев горько подумал:

«А до моей беды никому горя нет. Вишь ты – я справлюсь, а он, кобель маленький, не справится. Он не справится, а у меня инда в костях ломота, – и справлюсь. Ах вы, люди-человеки!» – и, чтобы скрыть от Никиты горечь, вновь окунул голову в воду.

– Подождут, бай, родня Чижика, – продолжал Никита. – Поднимутся и сожгут. А ведь с меня огонь и на других кинется. Вот и тужу.

– А ввязываться надо было?! Стоял бы в сторонке.

– Да ведь...

– Что «ведь»? Вот теперь и крутись... а выкрутиться не легко.

Они долго молчали.

Дрожал испариной солнечный день.

На гору Балбашиху, шлепая теплой грязью, потянулись коровы. Сторонками, тропочками шли бабы и мужики в поля глядеть хлеб. Сторонкой, извиистой тропочкой пробежала через Крапивный дол Катя Пырякина. Платье развевалось на ней, и вся она как-то распахнулась, покраснелась от быстрого бега. И Никите и Плакущеву показалось – бежит она из бани.

– Чего? – чуть спустя заговорил Плакущев. – Надо теперь так – жулика, мол, головореза Шлёнку Огнев взял под защиту, а честных людей, народ трудовой – в ре-станку. А я, мол, их из драки отвел, потому и велел вязать родню Чижика. А так – Огнева бы первого в Сосновом овраге на осину повесить. И всех повесить, – как-то неожиданно закончил он и на четвереньках пополз в кустарник: – Уйди! Уйди ты-ы!

Обратно он вышел, обтирая зелень на однобокой спутанной бороде.

– Уф! Айда – пошел!

Поднялись в гору. Никита, чувствуя, что Плакущева испугом не растревожишь, – изгибаясь, забегаая вперед, начал с другого конца.

– Ты как теперь насчет «Брусков»-то, Илья Максимович? Время совсем подходящее: Степка сколупнулся, пес его возьми-то. Хи-хи... И не убивай его – сам сколупнулся. А на тех – дунь, и разлетятся... А то еще бают – совхоз за Балбашихой

хотят поуничтожить. Вот золотая ямина!

Плакущев шел молча, опустив голову, и только когда Никита легонько толкнул его в плечо – поднял голову. По лицу пробежала тень, глаза сузились, затем широко раскрылись – большие, белые, как у загнанной коровы:

– И для кого, скажи на милость, жилы тянуть? Для кого?.. Эх... прощай!

Он пересек улицу, вышел во двор. В сених навзрыд плакала Зинка.

– Над письмом, чай, над Кирькиным. Не уберегла сокола... ласку свою на свечки тратила. Вот теперь и скули, – упрекнул он Зинку и несколько секунд в нерешительности стоял на пороге, затем раскачался, взмахнул руками, ровно спугивая со своей головы шершней, – пересек двор и взобрался на сеновал.

Никита же долго топтался в переулке и не знал, что ему предпринять. Он даже хотел пойти к Огневу, броситься ему в ноги и сказать: «Спасай: в огонь попал» – и тут же передумал: «А Степка скажет: забирай свой шурум-бурум да иди – спасайся в моем монастыре».

– Ах ты, елки-палки, – пробормотал он и, завидя идущую из сельсовета Стешу, кинулся ей навстречу. – Стешка! Степанида Степановна! Как житье-здоровье у Степана Харитоныча? Что? – переспросил он, не расслыша Стешу.

– Печаль-то, говорю, у тебя, как у волка к овце.

– Собака. Пра, собака. Ну, дай срок, я те хвост-то прикручу, – пригрозил еле слышно Никита и опять стал, замер на месте, думая о том, как ему избежать удара от племяшей и от артельщиков. «Разве так... к Кириллу в город махнуть? Так и так, мол, племяша, тесть твой бывший, Плакущев, тебя – вором да жуликом... И то...» – он обрадовался такой мысли и, вбежав во двор, крикнул сыну:

– Илья! Заложи-ка Воронка... в город по надобности.

Через некоторое время он уже пылил на Воронке по дороге в Илим-город. Проезжая базарами Алая, услышал оклик. Повернулся. Из окна арестанки, держась за ржавые прутья решетки, кричал Чижик:

– Никита! Дома будешь – накажи, чтобы за пчелами присмотрели. Пускай хоть Маркел Петрович Быков. Погибнут пчелы. А-а?

– Ладно, бай.

– Вот она слобода-то, – позавидовал Чижик. – Сел и покатыл... – и, прислушиваясь к соседней комнате, где сидели племяши, застучал в переборку: – Племяши, братики! Слобода-то, мол, ау!..

– Пес старый!

– Что? Аль не нравится сидеть собаками в конуре?..

– Смолкни! – взвизгнул кто-то за переборкой.

По визгу Чижик определил: это самый младший, Петр. Он зимой только женился. Чижик было жаль Петра, но в то же время ему хотелось над кем-то поиздеваться. Он завизжал таким же голоском, как и Петр.

– А ты скули-и. Бабу бы тебе молодую в рестанку, вот не скулил бы... А теперь... Паранька-то, чай, поди, кхы... чай, поди с другим мужиком, кой постарше, не такой

сопляк, как ты. А? Чего?

– Смолкни, баим, гнилой черт! Выйдем – сломим тебе башку.

Дверь отворилась. Вошел милиционер и первым вывел Чижику. Чижик умиленно заговорил:

– Племяши, а вы не робейте, и на меня не след в обиде: жалеючи по вас и злоба.

4

За столом, против юного голубоглазого следователя сидел Яшка Чухляв. Следователь допрашивал Чижику мягким, почти девичьим голосом. Когда он хмурился, на лбу у него появлялась нежная складка, и это придавало его лицу что-то прямо-таки детское. Яшка смотрел на следователя и завидовал ему – его умелому подходу к Чижику.

– Как же так? – спрашивал следователь, чертя карандашом по столу, точно разговаривая со своим давнишним знакомым. – Как же так, дед, ты напал на Василия Пискунова?

– На Шлёнку?

– Ну, по-вашему – на Шлёнку.

– Лошадь-то, мил человек, Васяркина – племянника моего – где сыскалась? Ни в поле, ни где, а у его двора.

– Да ведь она могла подойти и к твоему двору? Тогда, стало быть, ты зарезал Василия?

– Что ты, что ты? – перепугался Чижик. – Разве я подниму руку на племяша?

– Но лошадь-то могла быть у твоего двора? Как же это?

Сбитый с толку следователем, запутанный всеми событиями, горя о том, что на селе остались без присмотра пчелы, Чижик размяк и тупо уставился на карандашик.

Яшка посмотрел на Чижику – маленького и седенького – и сам задумался. До этого он был уверен – убийца действительно Шлёнка, и даже порывался несколько раз предложить забрать его, но после того как следователь заговорил о лошади, у Яшки у самого закралось сомнение. Яшка хотел отыскать на селе убийцу племянника Чижику и не мог. Отвлекало совсем другое.

«Ясное дело – она теперь к Николаю ластиться будет беда как. Бабы народ хитрый. К нему будет лезть, а обо мне думать, – усмехнулся он, представляя себе, как Катя виснет на тощей шее Николая Пырякина. – А ведь что выходит? Николай-то совсем, стало быть, неспособный... Пустой, как выбитый колос...»

Он вспомнил, как Катя, обхватив руками согнутые в коленях ноги, жаловалась ему на свою тоску:

– Уж что я ни делала, и травой его поила, и от себя гнала – неделю-другую не спит со мной. Сил, мол, Коля, накопи. На меня сила нужна. Нет... После этого – опять пустая. А за что жить-то? Жить-то за что... Яша? Вот и не сержусь на тебя: в тебе силу

почуяла.

Яшка улыбнулся, радуясь тому, что Катя признала за ним силу и эту силу носит в себе. Он, гордо выпячивая грудь, посмотрел на следователя, на маленького Чижику, и тут же решил, что ему нельзя радоваться в то время, когда в Широкое лежит больной Степан Огнев. И он еще помнит: когда вошел в избу, Стеша даже не улыбнулась ему, как будто его совсем не существовало на свете. Она подошла к Шлёнке, который с забинтованной головой сидел на пороге, и проговорила:

– Дядя Вася, шел бы домой – уснул бы.

А Шлёнка ответил:

– Не пойду: караулить Степана Харитоныча надо. А то нонче ночью все кто-то ходит под окном. Вы спите, а я слышал – ходит и ходит.

– Мерещится тебе, – проговорила Стеша и кинулась к отцу, а на вопрос: «Кто это там на пороге сидит, собака, что ль?» – тихо ответила: – Шлёнка... дядя Вася... сидит всю ночь.

«Да, Стешка... что же с ней-то? И она может узнать про... сосняк, – но Яшка почувствовал, что, несмотря ни на что, он не может не радоваться сегодняшнему дню. – Да, Стешка, что же с ней-то? Что ж она?» – чуть не вслух проговорил он и опять унесся на Шихан-гору – в сосновый бор, ясно слыша, как аукает Катя – протяжно, призывно и трепетно.

В это время на пороге камеры появился Шлёнка. Он потрянул рукой и, зажав в кулаке записку, ударил по столу:

– Баил, не я... сволочи... Вот... Удавился. А вы, сволочи, на меня.

Яшка быстро прочитал записку – она была адресована на имя Степана Огнева. Писал Петька Кудеяров – коряво и вразброс:

«Совість съела, Степан Харитонович, зарезал Василя я. Вот и не сыщу места, утоплюсь где».

Следователь вслух прочитал записку и, так же улыбаясь, проговорил:

– Ну, что ж... поедемте, посмотримте на месте.

У Чижику разом онемело все, он потянулся к Шлёнке:

– Шлёнущка!.. Мил ты человек... да ведь...

– Уйди, блоха! Смажу вот – мокренько останется. Ухо-то вот мне приставь, – и повернувшись к Яшке, расплылся в улыбке... – Степан Харитоныч приказал – ослобонить этого, – он показал на Чижику и племяшей. – А я к вам на «Бруски» собрался, а?

– Хорошо, хорошо, говорю, – пробормотал Яшка и за следователем вышел из камеры.

Обратно подводы катили быстро...

...У Гнилого болота на сучке ветлы тихо покачивался Петька Кудеяров. Веревка сорвалась с горла и, обхватив шею на затылке, врезалась в нижнюю губу. Висел он, плотно приложив по швам руки, точно готовясь что-то крикнуть, а голые ноги вытянул, выпрямил к земле. Пальцы с длинными ногтями, от легкого покачивания

всего тела, гладили сочную травку-резучку. У его ног голосила жена, Анчурка. Платье на ней было местами залатано разноцветными заплатками, сползло с плеч – широких и выпуклых. Она вскидывала над собой руки, хлопала в ладоши, словно уничтожая мошкарку, и причитала:

– У-у-ух! Рученьки твои ледяные, ноженьки бездвижные... Кормилец ты мой... У-у-ух!..

Около нее толпились широковцы – бабы ближе, мужики поодаль. Стеша первая подошла и тронула Петьку за ногу – нога чужая, холодная: будто кочан. Стеша с отвращением отряхнула руку и отошла в сторону. Кто-то из баб было заголосил, но быстро смолк: всем казалось, Петька повесился понарошку, вот сейчас он снимет с шеи веревку, тряхнет босыми ногами, наденет сапожный фартук и опять начнет городить околесицу. Казалось, что и Анчурка плачет нарочно, шутя... Хотелось всем поскорее утешить ее.

– А ты не убивайся, Анна, – посоветовала Катя Пырякина.

– И то правда – чего убиваться-то? – слышались бабьи голоса.

– Без него-то лучше проживешь!

– Какой он тебе кормилец? Горе одно!

– Колодкой по башке бил. Кормилец!

– И народ не надсаждай. Что это ты?

– Знамо, какой он тебе кормилец? – согласилась Катя и посмотрела на Яшку Чухлява, раскрыв губы так же, как они у нее раскрывались, когда она сидела под березой и аукала.

Яшка стоял у ольхи – на пригорке. Думая о том, как ему сообщить Стешке, что случилось с ним сегодня, и надо ли об этом ей говорить, он в то же время не сводил с Кати Пырякиной своих глаз с большими зрачками. Издали казалось – в его глазах вовсе нет белков, а есть только зрачки – и эти зрачки приводили Катю в трепет. Она отрывалась от них, но через миг снова поворачивалась к Яшке и тихо шевелила губами.

Николай Пырякин заметил, как вспыхивает она. Вначале его только удивило это, но потом, когда он увидел, что Катя не только вспыхивает, но и, улыбаясь, тянется к Яшке, он отвел ее в сторону и, кособочась, затискал руки в карманы.

– Ты чего, дура, как глядишь... при народе?

– Как?

– Эдак!

– Я и не гляжу... на тебя только.

Катя через зыбкую мокреть кустарника утянула Николая на гору в орешник, издали кивнув Яшке головой.

За спиной Яшки со смехом проговорил Митька Спирин:

– Глядите-ка, коммунисты чего делают – все вдвоем. Вот чего дождик настряпал... Я и то нонче со своей Еленой ворковал, – захлебываясь в смехе, добавил он и удивился, глядя на Анчурку: – И как это он ее бил? Она вон какая – столб воротный, а

он с чирьшек.

– В книгах священных сказано, – пояснил дедушка Катай, – жена да убоится мужа своего. Вот сила придавалась Петру. А так, знамо, где бы ему: ногтем она его могла сколупнуть, как таракана.

Следователь распорядился, чтобы Петьку Кудеярова сняли и отнесли в сельсовет. Широковцы, двигаясь к сельсовету, как-то незаметно столпились у двора Огнева.

– Молитесь богу за Никиту Семеныча, – делая серьезное лицо, посоветовал Митька Спирин и обвел рукой племяшей. – Не он, не сносить бы вам головы... а то, вишь, ко время велел вас перевязать.

Все знали – Митька лебезит перед Никитой, но не согласились с ним, только младший племяш Петр – рябоватый и сморщенный, как изъеденный червями стручок, забормотал, скрываясь среди остальных племяшей:

– А ты сам-то... сам-то какую бучу в пойме поднял?.. Думаешь не через тебя Степан-то лежит? А? Что наделал?

– Что я наделал? Это, что я наделал – со всяким мотет быть... а что Павла Быкова там в грязь замаяли, тому я не виноват, и ты мне не указ, – отрубил Митька.

– Истина. Истина, – согласился с ним Чижик и, плача, взвизгивая, как кутенок, которому хочется есть, пошел в калитку к Огневу.

Мужики молча преградили ему дорогу.

– Вы что? Вы что? Не драться! А душу, душу выложить хорошему человеку, Степану Харитонычу... Эх, люди... зверюги!

Мужики пропустили Чижика и облепили окна.

– Да-а, вот одной человеческой жизни и нет. Одному голову свернули, другого с села согнали, – жалостливо проговорил дедушка Катай.

– Кого это согнали? – встрепенулся Митька, считая, что дедушка Катай намекает на его поступок в пойме. – Старик, а орешь не знай чего!

Катай посмотрел на Митьку, на его разрезанную губу и весь задрожал, тыча руками перед его лицом:

– Кого? Не помейшь, кого? Забыл! Тебе не губы, а башку бы срезать – вот бы и не забыл... Кирилл Сенафонтыча Ждаркина. Вот к нему Никита Гурьянов с жалобой на тебя поехал.

5

Кирилл Ждаркин каждое утро по привычке вставал на заре и, не зная, что ему делать, шатался по заводу, спускался на берег Волги и всегда видел: на камне, сложа руки и бросая от себя на гладкую поверхность реки взлохмаченную тень, сидел человек. В ногах у него торчали удочки, но он, казалось, не замечал их: поплавки метались из стороны в сторону, удилица клонились к воде, а он сидел так же неизменно, глядя куда-то в сторону. Кирилл несколько раз порывался предупредить этого лохматого человека о том, что на крючок попалась рыба, но всегда сдерживала

робость, и он, дивясь, поднимался в гору – к заводу, шел в машинное отделение.

Машинным отделением заведовал Сивашев.

– А-а, – басил он, встречая Кирилла, – ты – как курица: чуть свет на ногах.

– Привычка, – отвечал Кирилл, пожимая широкую руку Сивашева. – Все не привыкну по-людски жить.

– А-а-а! Привычка, брат, вещь крепкая.

В машинном отделении, сам высокий, рядом с огромным Сивашевым и тремя лакированными дизелями, – Кирилл чувствовал себя маленьким и, глядя на дизеля, всегда переносился мыслями в деревню.

«Девять тысяч лошадиных сил в них, – думал он, – а у нас по всей волости восемь тысяч лошадей, да ведь за ними восемь тысяч мужиков гуляют, а тут один да два помощника... Вот сила!»

– Что? Опять глаза лупишь на машину? – прерывал его мысли Сивашев. – Гожи, нечего сказать, – и тут же начинал журить: – И какой шайтан тебя понес на завод? Теперь такие люди в деревне нужны. Читаешь газеты? – вдруг неожиданно спрашивал он и пристально смотрел Кириллу в глаза.

– Читаю.

– Хорошо. Газеты читать всегда надо.

Потом Сивашев шел к дизелям, что-то крутил, подвинчивал, кричал помощникам, вновь подходил к Кириллу – огромный, виляя ногами, точно верблюд на скользкой дороге. Кириллу казалось, что Сивашев просто хочет спровадить его с завода, и он однажды не утерпел, сказал:

– Я же ни у кого кусок не отбиваю. Не меня, так другого в бондарный цех возьмете.

– Мужик же в тебе... Думаешь, из-за куска с тобой говорю? Чудак! – И Сивашев ушел за дизеля.

– Товарищ Сивашев... да ты...

– Иди... Лошадь!

Кирилл, смущенный, злясь на себя за то, что сказал дурное, вышел из машинного отделения и весь день ходил так, словно что-то украл и об этом все узнали, но молчат до поры до времени. Наутро он не шатался по заводу, не спускался на берег Волги, сидел дома и вместе с Улькой готовил завтрак. И только когда Сивашев, обтирая паклей руки, направился на квартиру, Кирилл вышел во двор и неожиданно столкнулся с ним.

– Эй, обиделся? – окликнул Сивашев. – Ты не обижайся. Приходи. Гуляй сейчас ко мне! – взяв его под руку, силой повел к себе.

– Вот, – засмеялся он, проходя с Кириллом через столовую в комнату. – Семья одиннадцать человек, и никого нет. Отцу завтракать надо, а их нет! – Высунулся в окно и закричал: – Эй! Постой-ка! Никак Маша? Эй, ликвидаторка! Оглянись-ка, Маша! Есть ведь хочу. Зови всех.

Сивашев скрылся на кухне. Пока он там умывался, Кирилл еще раз, чтобы «посмотреть, как живут люди», крадучись обошел комнаты. В первой комнате стояла

кровать с потертой, пожелтевшей никелированной спинкой. По тому, что на шишечке кровати висела шляпа, он определил, что эта кровать принадлежит Сивашеву.

«Как спит на ней? – подумал он, трогая кровать. – Я и то не улягусь... Разве на полу?»

Во второй комнате, смыкаясь углами, стояли три кровати, письменный стол, на стенах висели картины из времен французской революции и фотографическая карточка. В центре группы сидел Сивашев в сером костюме, рядом с ним его жена, дальше сыновья, дочери, внучки, в ногах У жены вздыбилась кошка, а чуть в стороне припала к земле собачонка.

«Орава большая... съедят, ежели одному работать», – подумал Кирилл и перешел в третью комнату.

Третья комната как будто ничем от первых двух не отличалась. Тут стояли такие же кровати, такие же картины висели по стенам, но в ней было уютно, она располагала Кирилла к тишине, и он сжался, заслышав скрип своих сапог, и на носках вышел в столовую, решив, что эта комната принадлежит девочкам.

В столовой он столкнулся с Машей. Она, тонкая, в синем поношенном платье, похожая на молодой дубок, стояла в дверях и смотрела на Кирилла. У нее был почти такой же нос, как у Сивашева, только тоньше, меньше, он всему ее лицу (почти безбровому) придавал живость и решительность. Было еще в Маше что-то такое, что Кирилл никак не мог уловить, но что тянуло его к ней, и он, не видя, как Маша подает ему руку, сам пошел навстречу.

– Здравствуйте, товарищ, – сказала Маша и длинными, цепкими пальцами сжала протянутую Кириллом руку. – Вы, кажется, к нам на завод недавно поступили? Фу, что спрашиваю! Конечно, недавно, – продолжала она, не дожидаясь ответа. – Вы грамотный?

– Маленько грамотный, – Кирилл засмеялся, чувствуя такую простоту, как будто он рос вместе с Машей и уже не один год знал ее.

– А жена?

– Жена...

Кирилл не договорил. В столовую вышел Сивашев. Вытирая рябоватым полотенцем лицо, отбрасывая со лба волосы в сторону, он показал на Машу:

– Она у меня молодец... ликвидирует... Учится. Доктором хочет быть. Теперь на отдых приехала, а пролетариату еще не время отдыхать, ну и ликвидирует... Кто неграмотный – подавай ей свои мозги, азы учить будет.

– Теперь, папа, азов не учат.

– Ну-у? А как же без азов?

– Слова учат. Так у вас жена как?

– Жена? Жена плоха! – Кириллу стало неприятно от того, что Улька неграмотная, он вначале хотел этого не говорить, считая, что если он скажет – «она неграмотная», то этим унизит Ульку, но, видя, что Маша смотрит на него в упор, он решил – та уже все знает. – То есть совсем плохо. Как это сказать... ну, совсем не знает... ни аза в глаза, как говорят у нас.

Маша вынула из кармана тетрадь и быстро маленьким карандашиком записала Ульку в число неграмотных.

Кириллу понравилось то, что она не упрекнула его за Ульку. Он посмотрел на ее выпуклый лоб и только тут догадался, что тянуло его к Маше.

«Умная... Голова умная. Вот бы такую жену: учить может, – подумал он и покраснел, боясь, как бы у него и сейчас (как это часто бывало) не выступил! обильный пот на лице. – Вот неладное – платок забыл», – обозлился он и отошел к окну на ветерок.

В столовую вошла жена Сивашева, потом три сына – под плечо отцу, девчата... Когда они расселись за столом, Сивашев отрекомендовал сыновей:

– Вот мои орлы. Гожи?

– Гожи. Скоро отцу пить дадут, – ответил Кирилл и посмотрел на Машу, спрашивая ее глазами, так ли он ответил, и удивился тому, что обращается к ней, а не к кому-нибудь другому.

– А этот кусок, – показывая на Кирилла, продолжал Сивашев, – железный кусок, да заржавленный... Топор выходит, а? О-г-о-го! А ну-ка, мать, чайку налей. – Он подвинул к самовару огромную пузатую чашку и, заметив, как Кирилл осматривает ее, сказал: – Дивишься, чашки-де большие. Нам других нельзя иметь, мать замучим: ей только наливай, а эту нальет и спокойна.

За завтраком у них и разгорелся спор. Сивашев временами останавливался, щурил большие глаза и, скрывая на репчатом лице усмешку, выкрикивал:

– Голова у тебя не на месте. Да, да, право слово, не на месте. Голова умная, а дураку дана... Ты не обижайся.

Кирилл напрягал все силы, доказывая, что с деревней ничего сделать нельзя, порывался рассказать про то, как он, желая показать мужикам «путь к здоровой жизни», корчевал пни на Гнилом болоте и как потом ему самому довелось бежать на завод.

– Мужик – зверь... Зверь, – говорил он. – Каждый норовит только себе. Ему и милиция не нужна, и власть не нужна, а был бы кто-нибудь такой, кто и налоги бы с него не брал, и его бы охранял, позволяя ему своего же соседа обворовывать. А ты хочешь мужика в одну кучу стянуть... Не выйдет.

Сивашев широко открывал рот, дожидался, когда Кирилл кончит, и бухал:

– Ты голову, молодец, где потерял? Пришел на завод к пролетариату, и ему же говоришь: «Зря ты, пролетариат, в руки власть взял – все равно тебя мужик съест с потрохами».

– Этого не говорю, – злился Кирилл, – этого не говорю.

– Ого! А у нас вот свидетели – сынки. А ну, давайте его по косточкам разберем.

– Вы и разберете, – Кирилл неожиданно засмеялся, – у вас вон руки-то какие. Слоны!

– Да и у тебя, молодец, руки-то ничего, а вот – голова... Голова не тем концом привинчена. – Сивашев загибал палец. – Страна наша большая? Большая. Одна шестая часть света. Кто у нас в стране?

– Не выйдет, – прерывал Кирилл.

– А мы говорим – выйдет! Вот завод у нас стоял – тоже каркали: «Не выйдет». – Сивашев поднялся из-за стола и, глядя в открытую дверь на дымящий завод, широко разводил руками и через дверь, будто обнимая завод, грохотал. – А он – во-он он... гремит. Гремит, милый, гремит. А-а-а. И деревню вот так возьмем, перевернем вверх тормашками, сроем все ваши сарайчики, избенки и построим... завод построим, хлебную фабрику... Вот так, возьмем за шиворот и встряхнем, – он протянул вперед большую руку со вздутыми жилами, сжав в кулак, дернул ею.

Кирилл ушел от Сивашева с еще более глубокой ненавистью к деревне, унося только одно – радостное и теплое чувство к Маше.

Дома его встретила Улька. Она со всего разбега повисла у него на шее, заглянула в потускневшие глаза.

– Киря, что?

– А, да так... думы все.

– Ты засмейся, все и пройдет.

Кирилл обнял жену, ощутил под платьем здоровое тело, затем поднял ее и осторожно положил на кровать. И, целуя, завидуя ее спокойствию, ее радости, сам рассмеялся и поцеловал ее в чуть вздутый, но еще упругий живот.

– Сына, – прошептал он, – сынка давай.

– А если дочь?.. Вот такую... маленькую?

Улька притянула его голову к своей груди и, крепко сжав, закачала ее, как ребенка.

И завод, и Сивашев, и Маша-ликвидаторка – все отодвинулось от Кирилла, заслонило одним – Улькой-матерью. Он бережно, словно огромную стеклянную вазу, поднял ее, понес к столу, боясь, как бы она не выскользнула из его рук.

– А ты, Киря, не разлюбишь меня, когда я буду?.. – Улька обвела руками около живота, рисуя его большим, выпуклым. – Смотри... Утоплюсь...

И побежали дни – беспечные и теплые, как солнышко после дождя. За эти дни несколько раз бывала Маша. Она останавливалась на пороге квартирки и чуть не плача жаловалась Кириллу:

– Товарищ Ждаркин, не хочет ваша жена учиться.

– Она не может, – отвечал Кирилл, почему-то при Маше непременно коверкая язык, и гладил Улькину голову. – Вот погодьте, она еще будет.

– А у вас кровать новая?.. Да вы и картин накупили. А это что? – Маша смахнула с детской кровати простынку. – А это зачем вам? – спросила она, переводя с Ульки глаза на Кирилла.

– Зачем?.. Как зачем?.. – Кирилл растерялся. – Чай... Как зачем?

– А-а... – догадалась Маша и на бегу, дрогнув, как ветерок, поцеловала Ульку.

С тех пор она больше не заходила. И Кирилл, умываясь по утрам над эмалированным тазом, глядя на свое отражение в воде, видел, что у него под глазами сгладились морщинки, а шея, до этого – словно скрученное мочало, налилась, и он,

хлопая по ней ладошкой, в шутку говорил:

– Если я так поживу с полгода, тебе, Улька, доведется другую кровать покупать: растолстею – на одной-то ты со мной не уляжешься.

– Растолстею? Растолстел один такой, – смеясь отвечала Улька и брызгала холодной водой ему за ворот рубашки. – Вот взбредет опять что-нибудь в голову, и пошел хмуриться.

– Нет, уж пет... будет... наелся.

И ему показалось – он нашел то, что ему надо: у него есть Улька – жена, которая скоро будет матерью и которую он любит, у него есть квартирка, он получает жалованье, и главное – у него есть спокойствие.

Но как-то раз Сивашев, ведя под руку заведующего клубом, сам пришел в бондарку.

– Вот этот, – сказал он, показывая на Кирилла. – Ему кто-то не тот гвоздь в голову вбил. Так ты его оборудуй: мякину из головы повытряси и предоставь мне его чистеньким.

В тот же вечер Кирилла утянули в клуб, усадили в кружок по политэкономии...

– А-а, – встретила его Маша. – Притащили вас, притащили? Ну, теперь держитесь. Здравствуйте, товарищ Ждаркин.

Кирилл во второй раз почувствовал, какие цепкие пальцы у Маши.

И сейчас, сидя за столом против Никиты Гурьянова, он вспоминал слова Сивашева о деревне и заводе, глядя на то, как Никита грязными пальцами с длинными загнутыми ногтями таскает из тарелки помидоры себе в рот, думал:

«Вот она, наша матушка-деревня: вилки лежат рядом, а он пальцами, – и усмехнулся. – Подмечаю уже? А ведь сам недавно оттуда... И в самом деле, почему бы ему вилок не есть? И руки бы вымыл. Вон вода... в тазу».

Никита ел жадно, чавкал, у него булькало в носу, как у голодной лошади. Он ел и думал, как ему натравить Кирилла на Плакущева.

– Живете вы – ой, гожа, – начал он, – не жнете, не сеете, а зернышко клюете.

– А кто вам не велит так жить? Советская власть и вам советует жить в чистоте и без тараканов.

– Ху-ху! – заржал Никита. – Ты уж совсем в ту сторону качнулся. Советует? Мало советовать – ты устрой. А-а. А она, советская-то власть, нэпу давным-давно объявила: вот, слышь, тебе, мужичок, отдушина. А она, нэпа-то, с лапой оказалась – давай только.

– Чудак... Ты не обижайся, Никита Семенович, – спохватился Кирилл, видя, что Никита на слово «чудак» зло моргнул.

– По дружбе не обижусь – валяй. Теперь я поел. А то утрось ко мне ваш сторож пристал, а я голодный. Ну, отчего, отчего плохо живем? – Никита сунулся грудью на стол. – Отчего?

Кирилл подумал и то, что эти дни носил в себе, выложил перед Никитой:

– Вот отчего: две дороги есть у мужика. Первая дорога – это была моя дорога, в одиночку. Я на этой дороге больно спотыкнулся. Вторая дорога – это дорога Степана Огнева.

– И Степан спотыкнулся, – возразил Никита и почувствовал, как у него под столом задрожали ноги. – Вот и нет дорог. Без дороги, а вроде в лесу глухом. Кругом куриная слепота.

– Нет, погоди, не торопись. По первой дороге можно бегом бежать, только не всем, а вот таким, как ты, и то до поры, до времени, да ежели можно будет продать и купить землю. Этого у нас нет да и не будет. Стало быть, первая дорога никудышная: дышать на ней трудно. Значит, ставь тут крест, – Кирилл крест-накрест провел по столу пальцем.

– А вторую давным-давно перекрестили, – победоносно заявил Никита.

– Нет, не перекрестили. По второй дороге, придет время, и ты побежишь.

– Ху-ху! – Никита заржал и, вскочив из-за стола, обежал его кругом. – Ульяна! Ты своего мужика спрыскивай, а то он... – и смолк, видя сердитые глаза Ульки. – Да вы, пес вас возьми, оба в коммунисты полезли. Ну, ну. Давай, давай дальше. Это и я вооружусь... – он засучил рукава, будто собираясь с Кириллом на кулачки.

Они долго спорили. Никита горячился, надувал губы, выбрасывал поток перепутанных слов, вскакивал из-за стола, кружился петухом, налетал на Кирилла, а Кирилл исподволь наступал, улыбаясь, забирал Никиту, как удав кролика, и Никита не выдержал.

– Ну, кажи, кажи, как рабочему живется. Кажи. Ему труднее нас? Ты мне песенки-то не пой с улыбочкой. Ишь, улыбочку здесь приобрел, квартиру, чаек да леденец. Ты вот кажи мне, где рабочий страдает? Кому супротив нашего труднее? – и, наискось накинув пиджачишко, он первым вылетел на улицу.

6

Цементный завод «Большевик» дымил, вырисовываясь на синем небе черными губами труб. Дым поднимался, перекидывался через Волгу и уходил в даль степей. Над заводом дрожала прозрачная пыль. Вправо на горе рабочие, белые, как мучники, ломали мел, оттуда бежали вагонетки, опрокидывались у завода и, повизгивая, катили пустые обратно, мелькая над постройками. Прямо за дорогой высилась бондарка – из бондарки слышался визг пил, струилась легкая древесная пыльца, напоминая Никите гумно во время молотбы хлеба. За бондаркой, налезая и давя ее, выделялись еще корпуса – длинные, широкие, с железными крышами. Из корпуса, что тянулся вдоль берега Волги, рабочие катили на пристань цементные бочки, оттуда же бежали темно-серые вагонетки, похожие на простые крестьянские кошелки. И весь завод – в грохоте, скованный кабелями, рельсами, – дрожал, как огромное живое существо.

Кирилл ощущал мощь завода и подходил к нему с легким волнением, которое старался сдерживать, скрыть от Никиты, но все равно волновался, как крестьянин, показывающий только что купленную им лошадь... Никита же сосредоточился совсем на другом. Заметь, как с Волги от плотов грузчики выволакивают бревна и складывают

их на берегу в яруса, он, морща лоб, соображал:

«Хорошо бы десятка два на конюшню спереть. Чай, воруют. Вот и ладно бы нашармака купить... Не продадут, псы... Своим продают. А уж, чай, где не воровать? Ночью взял вон да бережком и отволок в сторону парочку, а там на телегу их – и пошел в гору».

Так же спокойно, думая, главным образом о том, как и что из заводского имущества можно было бы приспособить в своем хозяйстве, он пересек двор и Еошел в машинное отделение.

В машинном отделении Сивашева еще не было, и объяснения стал давать Кирилл.

– Вот эти машины – в них девять тысяч лошадиных сил, – начал он, желая поразить Никиту, но, заметив на лице у того насмешливую, недоверчивую улыбку, продолжал с меньшим жаром: – Они и двигают весь завод.

– Это ты зря, Кирилл Сенафонтыч. Зря слепых на бревна наводишь, – с достоинством произнес Никита. – Может, то и правда – лампочки от них горят, а чтобы завод двигать – это ты зря... Убей – не поверю.

Кирилл, чтоб не сказать ему чего-нибудь грубого, засмеялся, повел его дальше.

Они побывали на карьере, в механической мастерской. Кирилл показал Никите то место, где сваливается мел, и как мел и глина перерабатываются в бассейне, перетираются в баках. Никиту ничто не поражало. Его всюду встречали рабочие и с криком, обращенным к Кириллу: «А, земляка приволок!» – хлопали по плечу, стараясь провести в цехе по безопасному месту. Никита чувствовал себя в центре внимания. Это ему нравилось. Он надулся, старался шагать тверже, заявляя, что если бы на пашню послать рабочих за бороздой ходить – тогда бы ног таскать не стали, и не замечал, как ему вслед долго смотрели рабочие и, покачивая головой, тихо говорили:

– Вот так уродина!..

Кириллу, потерявшему надежду чем-либо удивить Никиту, под конец стало с ним тоскливо, и он с легкой досадой повел Никиту по остальным цехам, объясняя ему то или иное нехотя, на бегу. Они подошли к последнему корпусу, где обжигался цемент, и Кирилл обрадовался уже тому, что это последний корпус. В корпус они попали сверху. Вдоль корпуса в сумраке вращались длинные и широкие, в рост человека, четыре печи. От них пахло легким жаром.

– Тепло, – сказал Никита и чуть-чуть удивился тому, как это такие махины вертятся на весу. – Кто их вертит? – спросил он.

– А вот те самые машины, которые я тебе показывал, – отвечал Кирилл. – Хочешь посмотреть, как обжигается цемент?

Кирилл взял синее стекло, вделанное в дерево, открыл дверцу печи и сам первый посмотрел внутрь, став от печи на расстоянии метра. Никита, не дожидаясь того, когда Кирилл передаст ему стекло, считая, что Кирилл на заводе уже зазнался: «Вишь ты – очки придумал», – из-за спины Кирилла простыми глазами посмотрел в печь – и быстро, точно на него плеснуло кипятком, отшатнулся, крепко зажав глаза ладонями, чувствуя, что не в силах сдвинуться с места.

– Что ты? – Кирилл с силой рванул Никиту в сторону. – Не лопнули? Ну-у! Отдерни руки-то, черт бы тебя побрал!

Никита тряхнулся и открыл слезящиеся глаза.

– Чудак! – Кирилл посмотрел ему в лицо и успокоился. – Без глаз хотел в Широкое отправиться. А ты не лезь, когда тебя не просят... Вот, через стекло надо глядеть. Герой! – добавил он со злобой и пошел в сторону, к выходу, думая, что Никита не захочет теперь смотреть в печь даже через стекло.

– Ты дай-ка... – Никита потянулся к стеклу и стал перед печью так, как и Кирилл, напряженно всматриваясь в огненную, но уже не такую, какой он ее только что видел, а красноватую, с синими оттенками лаву.

Лава вращалась, пыхала, оставляя на стенках печи огненные потоки, – и Никита смотрел на нее не отрываясь, с каждой секундой все сильнее вздрагивая, шевеля пальцами левой руки. Кирилл не трогал его, хотя и видел, как от замасленного пиджака поднимался легкий пар. У него вновь появилась уверенность в том, что завод непременно победит Никиту, заставит полюбить себя так же, как полюбил Кирилл.

Никита, моргая, проговорил, рассуждая сам с собой:

– Ну, жара... Вот жара... в аду... так... непременно, – тихо засмеялся. – Аль про ад-то нельзя!.. Ну, чех!

– Какой чех?

– Ну, как это... чех, стало быть.

– Цех, – поправил Кирилл и свел его вниз под печи. Печи вертелись над головой метра на полтора или даже, может быть, выше, но пораженному мозгу Никиты казалось, что они вертятся совсем близко. Представляя себе огненную лаву внутри печи, боясь, что она неожиданно может вылиться на него, – он выскочил во двор через первую попавшуюся дверь, не слыша, как громко и раскатисто засмеялся Кирилл. Выбежав на волю, опомнился, застыдился и заторопился.

– Кирилл Сенафонтыч, бежать мне надо... Забыл с тобой, пес возьми... Воронка-то я ведь не поил... Побегу...

И, не дождавшись ответа, побежал, минуя корпуса, к белому каменному дому, где жил Кирилл.

На крыльце домика стояла женщина в розовом, с большими синими цветами, платье. Грохот завода, яркие цветы не дали Никите разглядеть ее лицо, и у него мелькнула только одна мысль:

«Вот разоделась... Баб бы наших так!»

– Никита Семеныч! – окликнула женщина.

– А-а, Ульяна, – обрадовался он. – А я... Вишь ты, как гремит кругом... Перепуталось все у меня, – и тут же, озлобясь, подумал: «Вот, дуреха, стоит... Еще подметит оторопь мою и... Кире своему навертит про меня...» – Коровок держите? – заговорил он, заглядывая в хлевушок. – Конечно, каждому молочка охота!

С цементного завода Никита выехал тихо, вцепясь руками в телегу так, словно

боялся, что голова перетянет и выкинет туловище на наклейку.

«Так, так, сшиб, значит, – думал он, – совсем, значит, в трещину, как клопа, загнал».

Никогда Никита не сопоставлял своей жизни с чужой. Иногда только завидовал тому, у кого сусеки распирались от хлеба, у кого кони были быстрее, завидовал и учил сыновей:

– Человек должен быть, как заяц, – одну дорогу избрал и иди. Тебя толкнут в сторону, а ты назад – прыг. Опять столкнут – опять прыг. Прыгай, мотайся, а все на свою дорогу норови. У тебя, Илья, – хвалил он старшего сына, – голова крепкая на плечах – дорогу норови избрать такую, чтоб по ней бегом можно. Задом только не петься, а шагай – громко шагай. На кого сила есть – приналяг, нет – обожди, подкопи, скопится – приналяг.

Младшему сыну Фоме он никогда ничего не говорил. Младший сын Фома был тих, и этой тишины боялся Никита.

– Вылитый мать, – ворчал он, – губы надует и ходит индюком. Да что! Все не по сердцу, что ль, ему? В библию вцепился: все читает и читает. Эх, ты-ы!

– Ты, тятя, махни на него, – прорывалось у Ильи. – Управимся. А он, может, в монастырь.

И Никита видел – в этих словах сказывался Илья весь.

«Еще только бороденку отрастил, да и ту бреет, а уж у брата кусок рвет, – хвалил про себя, слушая Илью. – Ладный мужик будет: обухом не сшибешь. А тот – сопля».

А после того как он обошел завод, квартирки рабочих – у него раздвоилась его заветная дорога: на одной – его двойные, точно лохматые шапки, сараи на крепких дубовых сваях, вечная боязнь пожара, вора, бед; на другой – грохот завода, чистые квартиры рабочих, чистые женщины.

И к Никите стали забираться совсем другие мысли. Они заглушали в нем звериную любовь к своему – к сараям, к амбарам, к лошадям. Эти думы казались ему тяжелыми, словно густая грязь на колесах. Он старался отделаться от них, а они наворачивались, тяжелели...

И вдруг ему стало совсем не по себе.

Увидав в задке телеги кончик кровельного железа, он беспокойно крутнулся. Железо он стянул у бондарного цеха, когда один шатался по заводу, и – будто так, шутя – легонько размахивая листом, тихо гремя им, перешел двор и, озираясь по сторонам, сунул лист под солому в телегу. Теперь Никите неприятно было от этого, и еще больше оттого, что в кармане перекатывались, оттягивая полу пиджака, шайбы. Шайбы он почти у всех на глазах спер в машинном отделении.

«Зачем? Вот она, правда-то Кирькина, – и, выхватив из кармана шайбы, он метнул их под кручу в Волгу. Шайбы вперегонку с шумом забулькали в воду, делая круги – круги росли, ширились и таяли. – Эх, а увидят?» – спохватился Никита и дернул Воронка.

Воронок побежал быстрее. Телега утопала колесами в пыли – белой, пухлой, как толченый мел. Никите попадались на пути сады, сплошь объединенные червями,

окутанные куделью-паутиной. Никита жалел сады, но в то же время думал совсем о другом – о заводе, о деревне, о себе, о своем сыне Илье и о тихом Фоме. Он начал припоминать, что Фома читает не только Библию, но и какие-то еще книжечки и часто заходит в школу к учителю – и тут, словно кто кол острием наставил ему в глаза, он отшатнулся, припоминая, что Фома давно богу не молится.

– Э-ге-ге! Да что же это? У Кирилки икон в избе нет, и Фомка... Вот те тихоня! А-а? Как же это? Может, Фома-то, – и не договорил, замял мысль, как паука в пыли.

– Никита! Эй, никак Никита?

Никита повернулся. Вправо по дороге спускался с горы Митька Спирин.

– Митрий! Ты чего? В город по каким делам? – У Никиты по телу пробежала дрожь: Митька напомнил ему племяшей, Чижика, и он разом ошетинился, как кот перед собакой. – Чего, говорю, несет тебя?

Митька подъехал ближе:

– Да вот, – с самохвальством начал Митька, – Илья Максимович доверил: «Поезжай, говорит, в город, разузнай там, как насчет обмежевания группы и насчет земли тоже – совхоз-то прикрыли, бают». И лошадь вот доверил.

Никита разглядел – Митька действительно ехал на Серке Плакущева.

«Стало быть, сдался опять», – подумал он о Плакущеве и хотел спросить про племяшей, но Митька сам объявил, что после отъезда Никиты у Гнилого болота на ольхе задушился Петька Кудеяров и что именно он «прирезал племяша Чижика».

– Врешь?! – Никита от неожиданности крякнул.

– Пра! Следователь приехал – дело в разборе. Да еще дождик прошел у нас страх какой.

Никита еще крякнул:

– Вот те раз! Запутался, стало быть, я...

– Что? Что баишь?

– Это я про Петьку Кудеярова, – Никита отмахнулся. – Человек-то, мол, какой хреновский был, а канители наделал на все село... Чай, пришел бы ко мне, я – и то дал бы восемь-то пудов. А то крови сколько.

– Знамо. У хорошего человека всегда найдется.

– Ну, айда-пошел. – Никита подхлестнул Воронка. – А Огнев Степан? Глядит, аль все слепой?

– Бают, – в грохоте колес прокричал Митька, – гляделки не работают... Ослеп. А мне вот нет-то ничего! Ткнул ты меня лопаткой в зубы, а мне нет-то ничего.

– Вы такие – и в огне не горите, провалиться бы вам, – проворчал Никита, стараясь отделаться от Митьки, боясь, что тот начнет у него что-нибудь клянчить.

Из-за мелового выступа показался пассажирский пароход, дал свисток, долгий, протяжный, и, выйдя на середину Волги, завернул к пристани.

Никита чуть придержал копя:

– Митрий! Я пошукаю, нет ли кого довести. А ты кати в земотдел. Заеду, ежели

что.

И, не расслышав ответа Митьки, свернул влево и городской улицей, гремя шинованными колесами, покатил к пристани.

У пристани толпились торговки, с горы из города мчались легковые извозчики. Никита, повернув Воронка, заметался у подмостков, выкрикивая навстречу идущим с парохода пассажирам:

– Нет ли кого? Кому на Широкое, на Алай кому? Могу! Конь овсяной, сбруя крепкая, – молнией отомчу. Кому?

С пристани сошел человек, в сером легком пальто, в шляпе и сам тоже какой-то легкий, подтянутый. Ему на вид было лет тридцать, тридцать пять, но шел он с пристани так, как будто все ему были подчинены: твердо, уверенно.

Никита кинулся к нему:

– Могу, могу, гражданин-товарищ. Вам куда?

– В Широкий Буерак.

– Ждать никого не будете?

– А кого же еще ждать?

– Может, кто еще подойдет?

– Нет, ты уж давай скорее!

«Эх, и не торгуется, – подумал Никита, укладывая чемодан. – Митьке бы только мигнуть – поехал, мол. Мигнешь – промигаешь тут».

– Ну, трогай!

«А, пес с ним!» – закончил свою мысль Никита.

Когда Воронок выбежал на гору, Никита пристальней посмотрел на своего пассажира.

– Вы не по следственным делам?

– Нет.

– А у нас удавился один, – чуть погода добавил Никита.

– Ну-у! – нехотя протянул человек и отвернулся от Никиты, глядя вправо на сосновый бор.

Четырнадцать лет тому назад он выехал из Широкого Буерака – тогда сосенки были маленькие, кудрявые. Теперь они вытянулись, порыжели, и от этого ему стало приятно. Приятно ему было и то, что Воронок бежит быстро, встряхивая головой от наседающих мух. Ветер заносит его пушистый хвост в сторону, кособочит и рыжую, чуть с проседью бороду Никиты Гурьянова. Молча они проехали Кормежку, молча выехали на Долгую гору, молча спустились на алайские поля. Никита затянул старинную песенку. Песенка была однообразная, монотонная и напоминала о временах нашествия Батыя. Тянул ее Никита вплоть до того, как они въехали в окрестности Алая. Тут Никита повернулся к своему пассажиру и словно не ему, а кому-то другому сказал:

– Вечер уж... и дома скоро... – помолчал и затем: – Как звать-то вас, товарищем

аль как?

– Зови как хочешь.

– О-о! Хороший, стало быть, человек вы есть, коли велите звать, как хочу... Трудно нашему брату, мужику: едет к нам народ всякий, а звать – и не знай как. Иной прямо и обрежет: «Зови меня товарищем», а другой: «Какой я тебе товарищ?»

– Ты о чем хотел спросить?

– Да ведь вот – везу, мол, товарища, а за что про што едем – не знаю, и чей такой, не знаю. Любопытство. Бают, оно только у баб, а вишь, и у мужика сыскалось.

Пассажиру не захотелось открывать себя.

– Еду отдохнуть. Большое село у вас?

– А-а, стало быть, из ученых, – прицепился Никита. – Бывало, к нам наезжали инженеры, агрономы и всякие там. Бор у нас сосновый на Балбашихе, славный. А село? Село большое... беспокойное... – Никита заерзал. – Вот недавно зарезали одного, другой удавился...

– За что зарезали?

– За кусок хлеба. Коли мужик чует – нет куска, в поле голо, – он норовит другому горло перекусить. Да-а! А вот ученым хорошо быть.

Никита начал расхваливать ученых. Пассажир несколько раз прерывал его, хотел узнать, кто повесился и кого зарезали в Широком Буераке. Никита увиливал, отвечал односложно и вновь перекинулся на ученых:

– Ведь мы что: слепыши. Ночью глядим на небушко – светлячки, мол, а бабы свое – ангелочкины глазки. А оно в самом-то деле солнышко-то, – он показал кнутником на солнышко, – вон с дом будет, звезды – по кошелке. Вот ведь как. А мы – гвоздики. Ученые, они все знают, а мы – тьма.

Пассажир не поддавался на похвалу Никиты, но то, что Никита считает солнышко с дом, звезды с лукошко, втянуло его в разговор, и он осторожно начал поправлять Никиту, рассказывая ему про законы природы, про то, что в дальнейшем ожидает крестьян, и в такой беседе не заметил, как въехали на базар Алая.

Никита сказал:

– Вон ведь чего, – затем остановился, тяжело перекинул ногу через наклеску, слез с телеги, пошел к лошади. И было непонятно, к кому относятся эти слова, к лошади или к тому, что рассказывал пассажир. – Вон ведь чего, – еще раз проговорил он и начал ковыряться у хомута. – Да-а, народ ученый – хороший и добряк, скажу я вам от чистого сердца: он уж человека не обидит – накормит, напоит за милу душу.

Пассажир не слушал Никиты, смотрел на порядок изб, вспоминал, как однажды (они вместе с отцом Степаном Огневым плотничали в Алае) он, маленький Сережка, бегал здесь рождественским утром – славил Христа. Вон шатровый дом. В нем тогда жил агроном Дуничев. У Дуничева Сережке дали гривенник. Дала гривенник девушка в коричневом платье. И вот теперь он, уже не Сережка, а Сергей Степанович Огнев, агроном, член коллегии Наркомзема, ясно вспомнил девушку – небольшую, с чуть вытянутым лицом, а на лице – матовом – большие глаза. После рождества они с отцом делали у агронома какие-то клетушки. Теперь Сергей знает – это были датские

кормушки. Сергей тогда часто смотрел на дверь дома и ждал – не выйдет ли оттуда девушка в коричневом платье. Не дождался. А когда робко спросил у агронома, агроном, погладив его по голове, ответил:

– Уехала в город. Она учится в гимназии.

С этого и началось у Сергея. В следующее воскресенье он сидел у учителя, говорил с ним о том, что хочет учиться. Учитель, зная, что Сергей способный паренек, уговорил Степана отдать сына в учебу – и вот два года Сергей не брал в руки топора, два года сидел над книгами и на третий выдержал экзамен в сельскохозяйственное училище – в том же городе, где училась девушка в коричневом платье.

«Где-то теперь она?» – усмехнулся он и посмотрел на Никиту.

Никита кружился около лошади, щупал под хомутом холку, одергивал хвост и восхищался учеными.

– Что же – едем! – поторопил Сергей.

– Может, чего купить надо?

– Да, нет, ничего не надо. Едем скорее.

Сергей еще раз глянул на дом Дуничева и только теперь заметил, что над парадным крыльцом висит вывеска:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВИННАЯ ЛАВКА № 163

Никита дернул за тяж, крикнул, полез в телегу нехотя, тяжело, словно у него одеревятели ноги. Взял вожжи, зло заворчал:

– Н-но, ученые, – и громко ударил себя ладонью по шее. – Ученые – вот где они у нас сидят. Ну, пошел, Воронок, пошел скорее. Им скорее все.

Это поразило Сергея – он весь собрался, посмотрел на Никиту, на его грязный затылок, на порядок и задержался на вывеске. Дверь винной лавки отворилась, оттуда вышла баба, пряча под фартуком две бутылки русской горькой, – и Сергей расхохотался громко, с выкриком:

– Ну! Вот комплект! О-ох, ты-ы!

– Чего ржете, товарищ? – Никита не трогаясь с места, посмотрел на него. – Знамо дело... как ученый... так...

– Ох, ты-ы! – вытирая слезы, проговорил Сергей и тут же подумал: «А может, уступить ему, посмотреть, что из него будет?» – быстро вынул кошелек и, подавая деньги, сказал: – На. Да ты бы прямо и сказал – выпить, мол, охота.

Никита улыбнулся:

– Да я и не это... А уж ежели сами хотите – могу.

Через несколько минут он выбежал из винной лавки, пряча в карманах две бутылки. Сунув Сергею сдачу, тронул Воронок и всю дорогу, вплоть до Широкого, говорил про урожай, про село, про мужиков.

– Есть у нас народ такой, мил человек, кой хочет всех вверх тормашками. Я

признаю – тилифон там, завод аль что. А то вот едем мы с вами честь-честью, а поставь телегу вверх тормашками – и не поедешь. А они так и хотят, особенно Степка Огнев, – всю жисть перекувырнуть, и ходи вверх ногами. Вот ведь оно чего! А вразумить и некому. Таких бы к нам побольше, как вы.

Воронок, вбежав в Кривую улицу, устало заржал.

– Куда заночевать думаете? Может, ко мне? У меня место найдется... и сын Фома наукой, пес, промышляет... Не молится, – удивленно добавил Никита. – Пра!.. Подойдет к иконе – шир-мыр рукой и в сторону... Ровно это ему в лужу плюнуть. Пра-а...

– Нет, у меня тут знакомый есть, – сдерживая смех, ответил Сергей. – Степан Харитоныч Огнев.

– Урк, – проглотил Никита и пристально глянул на Сергея. – Вы что, ему родственник, что ль, доводитеесь?

Направо, рядом с домом Плакущева, точно кому-то кланяясь и прося прощения за свой плохой вид, стояла избенка Огнева. У Сергея по телу пробежала дрожь, он чуть не крикнул Никите, чтоб тот ехал скорее, но Никита, и сам волнуясь, круто завернул Воронка и застучал кнутовищем о раму окна.

– Эй, хозяин, принимай гостя!.. Мужик ладный, – добавил он тише, обращаясь к пассажиру. – Мовет принять. Только тесновато у него.

Со двора выбежала Груша. Она посмотрела на Сергея, посмотрела пристально. Пыльный, рыжий от пыли костюм, шляпа с широкими полями, а Сережа уехал совсем пареньком, в отцовском картузе, в штанах с заплатами на коленках... И пробежала по лицу у Груши тревога: чужой в телеге.

– А ты не кричи, – удержала она Никиту и, повернувшись к Сергею, добавила: – Больной он, Степан-то.

Из-под полей шляпы на нее смотрели большие серые глаза, над глазами свисали густые, точно налитые свинцом, брови, – и Груша дрогнула, закачалась:

– Сереженька!.. Милый!.. Батюшки, не узнала!

Сергей выпрыгнул из телеги и, целуя мать, поднял ее:

– Вот и я. А отец?

– Не ждали... Не ждали, – засуетилась, обливаясь слезами, Груша. – Степан! Степа!

Из избы, цепляясь руками за косяки двери, вышел Степан.

– Ух, Сергунька! – выдохнул он. – Аль Сергей Степаныч, а?

Никита заерзал в телеге:

– Степан Харитоныч, от Кирилла Сенафонтыча вам приветец.

– Это что у вас за дипломат? – спросил Сергей, доставая из телеги чемодан. – А?

– Этот? – Степан посмотрел на Никиту. – Вьюн... Вьется и около дряни и около хорошего человека... Середняк, по-вашему.

Никита, как будто не расслышав слов Степана, заговорил, обращаясь к Сергею:

– А и не говорил мне, кто ты есть. Вот за то и не возьму с тебя за дорогу. Что!

– Отдай, – Степан сморщился. – Отдай, Серега... У меня сейчас нет денег, да и вообще.

– Не надо. Говорю, не надо, – Никита отшвырнул пятерку.

– На-ка, на! – Груша подхватила пятерку и сунула ее Никите. – Поезжай-ка ты...

В калитке стояла Стешка. Чуть выставив вперед руки, она не решалась – кинуться ли ей на шею Сергею, как в детстве, или просто, как со старым знакомым, поздороваться за руку...

А вечером Никита бубнил Плакущеву:

– Приехал... Сергей, чай, Огнев. Ну и ферт... На башку напялил какое-то коровье дерьмо – шляпу. Подъехал ко двору – барин в шляпе, а без порток... Да и не все у него тут в порядке, – постучал ладонью по голове, – баит, а что к чему, и не разберешь.

– А ты не городи, – прервал его Илья Максимович. – Слышал о нем и в газете немало читал: умница. Молод, а уж член Наркомзема. Теперь уши-то и нам на время придется прижать да помалкивать пока что. Он, чай, дорогой-то играл тобой, как мячиком, а тебе не знай что показалось... Дескать, ты над ним мудровал.

Никита обозлился:

– А я Кирьку видел... Живет припеваючи.

– А не интересно мне, – Плакущев нахмурился.

– Тебя вспоминал. Я, говорит, от него все отберу: на суд хочет. Что? Чего ты баишь?

Плакущев, ворча, поднялся и ушел в избу.

– Вот те и не интерес! – И Никита тихо засмеялся.

Звено второе

1

Сергей Огнев жил в Широком Буераке уже вторую неделю.

Весть о его приезде на село разнеслась в тот же вечер. Весть эту особенно старательно разносил Никита Гурьянов: он боялся, что Сергей расскажет про то, как Никита «выщыганил» у него на водку, и он, стараясь опередить такое, бегал по избам, выкрикивал:

– Приехал. Слыхали? Чай, хахаль этот – сын Степки Огнева, – он не мог сказать «дурак», говорил мягче. – Не в себе, истинный бог. А водку хлещет, страх. Чай, силой заставил меня в винную лавку забежать, – и удивленно разводил руками. – И не заплатил... За водку. Истинный бог.

Последнему никто не верил: все знали, у Никиты со двора бесплатно не возьмешь лопаты снега в глубокую зиму, а где уж там, чтобы он сам на водку дал. Удавится.

– А вот, говоришь, в шляпе? Это чудно есть. Шляпу, говоришь, на башку напялил? – И Маркел Быков, прогнувшись, положил руки на живот, как это делает поп Харлампович после сытного обеда.

– Шляпу, – утвердительно и смело ответил Никита.

– На самую башку?

– На башку.

– Вот это да-а-а.

И люди по вечерам украдкой подглядывали в окна избы Степана Огнева, рассматривали Сергея на улице, вежливо раскланивались и потом долго смотрели ему в спину, – одни с завистью, другие подмигивая, третьи с величайшей ненавистью.

Люди рассматривали Сергея, а Сергей рассматривал их. Он лет четырнадцать не был в деревне, и представления о деревне у него, во-первых, были еще детские, во-вторых, более очищенные, нежели сама жизнь. А теперь, когда он столкнулся с действительностью, многое ему показалось странным и даже непонятным.

В первый же день приезда его потянуло на места детских игр. Он помнит, они всегда играли за гуменниками. Там была огромная ямина, в которой прятались целые полки солдат-ребятишек. Но когда он теперь подошел к этой ямине, то был весьма удивлен: ямина уже не представлялась такой огромной, наоборот, она была очень мала, настолько мала, что Сергей перепрыгнул ее. От этого почему-то стало грустно. А несколько дней тому назад он видел, как мужики шли в луга. Было их человек четыреста, и у каждого за плечом блестела, переливаясь на солнце, коса. Шли они на заре, через долину – парами, гуськом, молчаливые и сосредоточенные. Сергею даже показалось, что издали доносится звон кос, такой – с завыванием, с хрустом, – какой бывает, когда идешь к лесу по пересушенной траве. Да, это была замечательная картина, и она, наверное, осталась бы навсегда в памяти Сергея, как начало трудового дня, если бы потом он не узнал, что лугов было всего шесть гектаров, что мужики полдня делили эти луга, ругались, чуть не подрались, а к вечеру каждый привез к себе во двор вязанку сена... и тогда красочность этого шествия утерялась, появилась горечь, досада и желание как можно скорее уничтожить косы.

И когда Сергей эту свою мысль кое-кому высказал, про него сказали:

– Видно, Никита Гурьянов прав: не в себе парень. Уничтожить косы велит. А тогда чем траву-то? Зубами, что ль?

А совсем недавно он попал на дележ земли. И тут особенно поразила его бессмысленность подобного акта. Земля, когда-то пропиваемая стариками, под названием «Винная поляна», размером около сорока гектаров, из года в год засеивалась рожью. В былые времена она считалась лучшей землей, а теперь покрылась солончаками и кустарником. Мужики разбили ее на два поля – яровое и озимое, в каждом поле отвели паек на едока в четырех местах и ныне делили эту землю только потому, что у опушки имелся недавно раскорчеванный Захаром Катаевым клочок, или, как по-местному называли, – ланок. За этим ланком и гнались все: каждый желал, чтобы его доля выпала на этот ланок, и у каждого дрожали руки, когда вынимали жребий. Ланок достался группе Гурьяновых, и мужики, хмуро поглядывая на то, как Никита кинулся делить ланок уже между своими, сгрудились около Сергея, ругая частые переделы.

– Действительно, – согласился со всеми Никита Гурьянов. – На кой пес мы передел каждый год производим. Закон бы такой издать: не смей, мол, мужик, делиться, бросай эту хреновину. Две бабы родят, мы опять – передел.

– Такой закон есть, – ответил Сергей, понимая, что Никиту беспокоят не частые переделы, он просто боится, как бы в следующем году мужики снова не поделили Винную поляну, тогда ланок может не достаться Никите.

– Есть такой закон? А мы и не знали. Вот с сегодняшнего дня твердо и ввести его. Мужики! А-а-а! – выкрикнул Никита.

– Бес хитрющий, – тихо проговорил Захар Катаев и отошел в сторонку.

Да вот еще – Захар Катаев. Умный мужик? Да, очень умный. Но ведь он весь иссох. Он года три тому назад купил у прогоревшего торгаша каменный дом на четырнадцать окон, крытый черепицей, но без кладовок и конюшен. О, Захар не может жить без кладовок и конюшен. Он построил кладовки, сарай. Черепицу с крыши дома перекинул на сарай, а дом покрыл белой жостью. Захар совсем стал хозяин. Но у него маленькая беда: черепицы не хватило на сарай, остался угол, покрытый соломой, – и это жжет Захара.

– Как чирый на пупе, у меня этот угол, – жаловался он Сергею. – Выдавить его, а силенки-то и нет: присосался я ко всему, как пиявка. И понимаю вот, а силенки-то и нет.

И он сохнет: никак не натянет черепицы на угол. Что-то лопнуло в его хозяйстве, что-то остановилось: хозяйство поедает само себя. И у Захара совсем затерялся нос в курчавой бороде, торчат только толстые, как пышки, добрые губы.

Но зачем это все ему? Этот дом с большими комнатами, где только мухи жужжат, кладовки, в которых по стенам висит рухлядь – поломанный хомут, ржавая проволока, веревки, дуга, подобранная им во время разлива на берегу Алая; пустые, горбатые, купленные им с торгов сундуки, облепленные изнутри бумажками от конфет, от чая. Зачем все это ему? Ведь сыновей он уже отделил – оставил в старом доме, а в новый перешел сам, с женой и дедушкой Катаем. Ведь ему надо жить. Жить так, чтобы радоваться, а у него один только раз была радость, когда он подобрал чужую дугу на берегу Алая, – а потом приобрел дом, рысака, и хозяйство заело его, заставило ползать на четвереньках да оглядываться, как бы кто колом не долбанул по хребту.

Но Захар еще силен, он еще канителится. А вон дедушка Пахом Пчелкин. Он совсем недалеко от Винной поляны допахивает свой загон. Он, одинокий, длинной палкой бьет по сухим ребрам лошадь. Она, сторбленная, мучительно тянет соху, а за ней шлепает лаптишками Пахом и беспрерывно матерится.

К вечеру он впряг лошадь в телегу и долго в раздумье стоял перед сохой. Соху надо было положить на телегу, а у деда нет сил.

– Эх, все равно, класть надо, – проговорил, рванулся и вскинул сошонку.

Сергею показалось, что дед сейчас же развалится, как надтреснутый глиняный горшок от удара палкой. А дед не развалился – сел в телегу и, свесив ноги в разбитых лаптишках, поехал в Широкое. Только в глазах у деда туманилась грусть, непомерная усталость... и желание отдохнуть, поваляться бы где-нибудь на припеке. Ведь он уже стар, семьдесят восемь ему. Да, семьдесят восемь, вот сколько. Все его сверстники

давно уже истлели, а он вот... отдохнуть бы... с внучатами пошалить, поворчать бы на них – так, любя.

– Страшная доля то, – сказал Захар, глядя на деда Пахома. – У него, Сергей Степаныч, два сына. Один отделился. Теперь на отца и не глядит, другого Карасюк прикончил. Вот остался дед один, со снохой-вдовой... И тянет. Ничего не поделаешь: упади – замнут. Вот и тяни до последнего духа, а потом ползи сам на могилки и зарывайся.

Да. Жутко.

Но это все старшее поколение. А что с теми – со сверстниками Сергея? И он вспомнил, что у него в детстве был друг, вихрастый паренек Епиха Чанцев. Епиху тогда дразнили «Тигр-волк» за то, что во время одной игры, выбирая названия, он сказал: «Я буду тигр-волком».

– Вот к нему-то и надо сходить, – решил Сергей.

– Не ходи, – отсоветовал ему отец.

– Почему?

– Да так просто...

Но Сергей не послушался, пошел. Оказалось, что Епиха уже не живет в Кривой улице, а на Бурдяшке – место, куда перекочевывали те, кто «не всегда ел свой пирог». Входя в маленькую избенку Епихи, Сергей стукнулся о верхний косяк двери и попятился.

Прямо у печки возилась бабушка. На ее тощем теле колыхалась домотканная пестрая рубаха. Выставив в стороны локотки, бабушка укладывала на деревянной обгорелой лопате девчущку.

– Бабушка. Что это вы делаете? – спросил Сергей, видя, как бабушка лопатку с девчущкой сунула в жарко натопленную печь, где еще тлели угли.

– Калю, милый, калю, – не поворачиваясь к нему, встряхивая локотками, ответила бабушка. – На Нюрку собачья старость напала. Вот я ее и калю, Нюрку.

Подержав Нюрку над тлеющими углями, она вынула ее, положила в люльку, пряча от Сергея ее тоненькие руки, сморщенное, как пересушенное яблоко, личико. Нюрка, похожая на маленькую старушонку, сурово посмотрела на бабушку и запищала. Бабушка, запихав ей в рот тряпицу с нажеванным хлебом, сказала:

– Татарин у нас тут был. Баил, кутенка надо убить и в его шкуру Нюрку завернуть. Завертывала я, да нет-то ничего, светыньки мои. Знамо, мать бы была жива. Разве мать бы допустила до такой казни дитю свою. А то и мать, как былинка, истлела. Доченька моя... Епих! Епихка! Слезь-ка, – неожиданно громко и повелительно крикнула она. – Вон к тебе человек пришел.

Епиха, точно краб, сполз с печки. У него «окостенели» ноги. И он, ерзя, выставив их вперед, как две рогульки, подполз к Сергею, протянул ему руку в ранках и забормотал, захлебываясь:

– Узнал те я. Сразу узнал. К окну ты подошел, а я гляжу – ты. Чай, помнишь, как бывало мы с тобой у попа кур воровали? Удочками? Червячка на крючок, кура-дура цоп ево, а ты ее к себе. Она и не пикнет. А теперь вон ты какой стал. А я вот. Ноги

потерял. Видишь? – и снова заерзал, сдувая со скамейки пыль, давя ладонью мокриц, приглашая Сергея присесть.

– Да что у тебя с ногами-то? – спросил Сергей, боясь присесть.

– С ногами-то? – Епиха достал кисет с табаком и закурил – с треском, жадно. – С ногами-то? Лес рубили. Плакущеву, Илье Максимовичу. Знаешь ведь его?. Ну, сосна упала, и меня по ногам. Вот, видишь, какие стали... – и сам засмеялся. – Загогульки какие, как рога. У-у-у, запыряю. Видал? – и трогая ноги, он снова подполз к Сергею.

Не зная, что сказать и как утешить Епиху и надо ли его утешать, Сергей проговорил:

– Шел бы в артель, Епиха. Милый. Ну, что ты тут?.. И ребенок у тебя.

Епиха как-то весь надулся, точно паук, и, пыхнув дымом, с полной гордостью ударил ладонью по скамейке:

– Нет уж, мил друг, Сергей Степаныч, тут кака-ни-кака, а своя изба. Тут я сам сее хозяин: захотел поесть – поел, не захотел – погодил.

– Поесть-то только сроду нет ничего, – добавила бабушка и заворчала на Нюрку: – Да не хнычь ты, не хнычь.

Епиха покосился на бабушку:

– Дура. Не подохнешь, – и опять к Сергею, надуваясь, как паук. – Своя, Сергей Степаныч... Кака-ни-кака, а своя изба. Грач вон, к примеру, птица негодная, и та свое гнездо вьет.

А сегодня на заре Сергей сидел на берегу реки Алая и видел, как по гумнам, по огородам, по заброшенным местам, будто бездомная собака, лазил Никита Гурьянов, собирал все, что попадалось ему под руки, – палки, хворостины, перепрелые пни – и тащил это все к себе на гумно. На гумне у него добра такого целые яруса. И глядя на него, Сергей грустно усмехнулся:

– Грачи. Действительно, грачи. В каждой хате, в каждой халупе свой грач. – И когда совсем рассвело, он подошел к избе Никиты Гурьянова, решив поговорить с ним.

Никита сидел под окном, смотрел на улицу. Лицо у него было сонное, глаза тусклые, усталые.

«Ночку-то помучился как», – подумал Сергей и заговорил с ним о коллективе.

Никита долго молчал. Вначале у него глаза загорелись и лицо даже как-то помолодело, и он буркнул:

– Гожа бы. Всех стащить – гожа бы, – и опять смолк.

Но тут за него, из-за его спины, ответила остроносая, веснуцатая Елька – сноха, жена Ильи. Она по-бабьи всплеснула руками и, будто старуха, сказала, явно повторяя чьи-то слова:

– Нет уж, мы век-то прожили, слава те господи, не учамши (то есть не учились, – так понял Сергей).

– Это так, – подхватил Никита. – По миру не ходили, чужого сроду не брали, в тюрьме не сидели. – А я разве говорю, что надо чужое брать, по миру ходить, в

тюрьме сидеть?

Но Никита уже сорвался. Выкинув в окно руки, он задергал пальцы.

– Вот, хоть по пальцу подергай, а в коммуны я не пойду: леригия там нарушена, – и крепко закрыл окно.

– Ага, – сказал Сергей. – Это крепость. Мужичья, грачиная, – и чуть не бегом перебежал улицу.

В избу к отцу он вошел, громко хлопая дверью, стучая каблуками по деревянным приступкам, и, уже не думая о том, как ему звать отца своего: «тятей» или «Степаном Харитоновичем», выложил перед ним все то, что накопилось за эти дни.

– Отец, – сказал он. – Ты прости меня, что я начинаю советовать тебе. Ведь ты тот человек, вернее, один из десятков тысяч тех людей, которые расчистили нам путь для жизни – настоящей, полнокровной.

Степан слушал сына и вначале ничего не понимал, а Сергею казалось, отец на что-то сердится, и поэтому он продолжал с еще большей страстью:

– Ты понимаешь, ведь у нас немало людей, которые современный строй принимают только, как закрышку, или, вернее, прикрытие. Это не только в деревне, но и главным образом в городе. И не только среди политиков, ученых, философов, но и среди, например, литераторов, композиторов. Человек подберет другие слова на мотив «Боже, царя храни», и ему даже аплодируют, говоря: «Вот как прекрасно осваивает классическое наследие». А тут что – в деревне? Это же грачиные гнезда. И если эти грачи укрепятся в своих гнездах, то нам придется потом их выбивать из этих гнезд пушками. Спрашивается, зачем было пролито столько крови, зачем пало столько людей, если мы жизнь начинаем строить на тех же началах, которые мы ломали пушками. Надо пойти широким фронтом...

И Степан Огнев приподнялся с кровати. Сергей видел, что отец смотрит на него сурово и даже как-то зло. Сергей перепугался этого взгляда, даже подумал: «А может, и отец такой же грач, как и все?» Но Степан, приподнявшись, подал ему руку и тихо проговорил:

– Серег. Спасибо тебе... За поддержку спасибо... Я ведь духом было пал... А вот теперь... Ну, спасибо.

– Прости меня, отец, если я не так сказал.

– Нет. Именно так, Сергей Степанович... Степанович? Чудно. Я ведь Степан-то, а ты Сергей... И горжусь я тем, что ты Степанович.

И Степан, несмотря на свою болезнь, поднялся с постели и вместе с сыном пошел в наступление «широким фронтом».

2

В избе синими струйками клубился дым. Дым шел из печи, лез в глаза, неприятно щекотал в носу. Через окно, задернутое дерюгой, солнце изрезало стену тоненькими, робкими полосками. На кухне у печки возилась Стеша. Она часто шарилась в печи

ухватом, кочергой, вставая на цыпочки, изгибалась. От быстрой работы у нее разгорелось лицо. Черный, с рыжим отливом, клок волос назойливо сваливался на лоб. Рядом с ней, держась рукой за ее платье, маленькая Аннушка хворостиной дразнила кота. Старый кот прыгал и всеми четырьмя лапами падал на пол.

– Не попал! Мама, опять не попал!

– Тише, Анна. Дядя Сережа спит.

– Спит? Он маленький – спит?

Стеша тихо рассмеялась. Сергей, скрывая от Аннушки, что он уже не спит, посмотрел на нее, на старого кота, на Стешу, на солнечную дрожь – и ему стало хорошо. Хорошо оттого, что вот есть у него такая жизнерадостная, красивая, здоровая сестра, маленькая Аннушка, что он каждый день видит отца, мать, односельчан, что они вместе с отцом и Николаем Пырякиным уже приступили к разрушению «грачиных гнезд».

– Селёза спит, а глаза глядят, – Аннушка засмеялась и хворостиной показала на его лицо.

– Проснулся? – Стеша выглянула из кухни и ласково улыбнулась. – А у нас нонче дым. Как ветер с Волги, так у нас хоть из избы беги: труба погнута, все собираемся поправить.

– А вы бы старика заставили... Егора Степаныча, – предложил Сергей, слыша, как за перегородкой Чухляв что-то проворчал.

– Ну, заставишь его!.. Он рад будет, если у нас в избе головешки полетят.

– Ты встал, а Банка спит, – и Аннушка удивленно развела руками.

– Ванька? Какой Ванька?

– Да этот... Не Никитин, а наш.

– У Штыркиных, ровесник ей. Она вот поднимется в рань, а я ей и говорю: «Ванька еще спит, а ты уже глаза продрала». Ну, а она – тебе.

– О-о, ты меня с Ванькой равняешь! Так вот я тебе... Сергей вскочил с кровати, подхватил Аннушку и закружился с ней по комнате.

– А у меня нашли три вошак, – сообщила Аннушка, почесывая затылок.

– Что ты! Разве об этом говорят? – упрекнула ее Стеша.

Сергей поел и вышел на улицу.

– Сережа! Ты куда? – окликнула Стеша.

– Вот с Анчей на гумно, посмотрим молотилку.

– Утрось Захар был Катаев; тебя спрашивал, – и опять улыбнулась Стеша, очевидно, зная, что ее улыбка нравится Сергею.

«Хорошая какая она у меня...» – залюбовался ею Сергей и тут же нахмурился, вспомнив о Яшке.

В Яшке ему не нравился развязный, доходящий до фамильярности тон, суждение обо всем с наскока, излишняя уверенность в себе. Посадив на шею Аннушку и думая о том, что же в Яшке нравится Стеше, Сергей завернул в переулочек и столкнулся с

Чижиком.

– Миленький Сергей Степаныч! Вот Степану Харитонычу, – он протянул глиняный кувшин. – Вылечиться ему надо, а он не берет. Продай, говорит. А я разве могу душу продать? За его добро добром хочу, а он – продай. Он как нас всех отхлопотал, на свободе мы все как есть... а тут – продай.

– Что это у тебя?

– Мед. Мед-кормец. Это лекарство первосортное. Степашке вылечиться надо. Вот и помоги.

– Да как же я помогу, если он не хочет?

– А ты урезонь. Уломай.

Яркое утреннее солнышко. Прозрачной дымкой стелется марево. Пахнет соломой, гумнами. Аннушка на плечах. Чижик, сморщенный, готовый расплакаться... И Сергей махнул рукой.

– Иди, отдай Стеше... Скажи, что я купил. Да только так и скажи.

– Эх, вот и лазейка, вот и лазейка! – Чижик подпрыгнул и побежал в избу.

«Всюду вещь», – подумал Сергей.

Когда он вышел за околицу и слепящим от солнца берегом Волги направился на «Бруски», ему вначале попалась Катя Пырякина. Она, растрепанная, с выбитыми из-под косынки волосами, на ходу застегивая ворот серенькой кофточки, то и дело оглядываясь по сторонам, бежала изволоком. Вслед за ней выскочил Яшка Чухляв. Заметив Сергея, он, точно ошпаренный, метнулся обратно и кинулся вверх по оврагу.

«Что это такое? – подумал Сергей и остановился. – Ах, да, да, – догадался он. – Вот сволочь! Шешка только о нем и думает, а он... Ну да, конечно...»

Поднявшись на возвышенность, он посмотрел на «Бруски». На «Брусках», ближе к Волге, почти над обрывом стоял старый, полуразрушенный, из толстых сосновых бревен, бывший барский дом. Крыша дома покрылась зеленым мхом, коробилась, местами была залатана новыми светлыми досками. Этот дом вызвал у него воспоминание о барине Сутягине. Но как ни старался Сергей представить себе барина – никак не мог: вместо барина в памяти всплывала стая лохматых, злых собак. Дальше, за бывшим барским домом, тянулся парк – дубовый, вперемежку с березами. Дубы были старые, ноздрястые, иные уже лысели с верхушек, таращась во все стороны оголенными рогульками, иные еще крепко держались, сумрачно поглядывая густой зеленью листвы. В парке же, ближе к берегу Волги, зияли овраги, заросшие молодыми побегам, курослепником. А в стороне от парка, прислонясь к стене землянки, выпятив вперед сошники, как рога, стояла соха и, казалось, собиралась пырнуть всякого, кто приблизится к ней.

Около парка рядом с трактором виднелась молотилка.

– широкая, с разинутым ртом. И за эти дни, пока Николай Пырякин собирал молотилку, Степан Огнев, жилистый, сухой, носился по селу, сколачивал тех, кто желал молотить хлеб машиной. Но мужики, разводя руками, пятились от Степана, словно им предлагали нырнуть в омут.

– Да, Степан Харитоныч, – говорили они. – До жнитва еще палкой не докинешь, далеко, а ты уж молотить. Вот постой, хлеб с поля свезем, а там видать будет. Да еще бают, машиной хлеб прокоптишь.

– Балбесы. Ну, и балбесы, – сцепив зубы, процедил Степан и через Крапивный дол махнул в Заовражное, к Захару Катаеву.

Захар Катаев, обозленный переделом и тем, что у него на Винной поляне отняли раскорчеванный им ланок, несколько дней не вылезал из сенника. Вышел он к Степану лохматый, весь в соломе.

Степан набросился на него, и, советуя ему сбрить густую бороду, подсмеиваясь над недокрытым углом его сарая, занес его группу в список на молотьбу машиной.

– Ты вот это допрежь давай, а я пошел.

– Да ты это... Степан! Степашка! Постой-ка! Рысак... Степан убежал.

Таким же прытким Степана ловил иногда Чижик и изливал перед ним «душу».

– Надоело, – отрезал ему раз Степан. – Ты поешь много... и то, и другое, и жизнь-то мы свою усдобили... Ты иди к нам... Вот тогда тебе и поверю.

– Да, Степашка... у меня ведь... хвост ведь в землю ушел. Я-то пойду, а старуха?

– Подавай заявку... Разговору больше не может быть, – и Степан снова побежал по улицам, тормозил широковцев, отбирая тех, кто побывал на фронте. Вскоре около «Брусков» сбилась группа в шестьдесят два двора. А под конец и Чижик подал заявление в артель, прося принять его с бабушкой и сорока двумя ульями пчел. За Чижиком потянулись его племяши, родные... Это ошарашило широковцев, это докатилось до Полдомасова, где у брата лесничего и торгаша Петра Кулькова гостил Плакущев. Плакущев тайком прислал записочку Никите Гурьянову, и Никита, заложив Воронка, укатил в город. Вслед за ним укатил и Степан Огнев.

Все в этом видели какую-то азартную игру, но никто Степану не перечил, только Панов Давыдка, кружась около молотилки, покачивая безволосой головой, ворчал, стараясь сбить на свою сторону и Николая Пырякина.

– Как бы опять он не сорвался, Степан-то. Вон ведь сколько народу нагнать хочет. А что с ним, народом, делать будешь? Он, народ, хуже скота. Мне скота дай сто голов – управлюсь. Мы тут все разодрали, а они на готовенькое идут... Ты, Коля, ближе к нему стоишь, обратай-ка его, скажи: у всех нутро воротит от его дел.

– И чего ты, дядя Давыд, нос повесил? Вот постой, заиграем во все колокольчики... – Николай посмотрел крутом и еще раз проговорил: – Сейчас скучно, а тогда во все колокольчики заиграем.

Давыдка нахмурился.

– Заиграешь, когда зубы на полку положишь.

Степан вскоре прислал из города телеграмму, вызвал Николая. Прошло несколько

томительных дней. За эти дни Давыдке удалось сбить на свою сторону Ивана Штыркина. Завозился и Чижик с племяшами.

– Действительно так. Зря, пожалуй, пошел Степан, – глухо гудел Штыркин, царапая короткими пальцами затылок, и тут же добавил: – А может, и не зря? Нет, по всему видать, зря...

В субботу под вечер Николай Пырякин приехал из города на грузовике и привез три жатки.

Навстречу Николаю вылетел Иван Штыркин.

– Ну! Откуда такой подарочек, Коля?

– Сорока на хвосте принесла. Сымайте жатки! Чего рты разинули?

– Хе! Команда какая у тебя, Коля, явилась, – и, подозвав к себе Давыдку, Штыркин прочел на металлической доске, прибитой на боку грузовика: «От рабочих цементного завода «Большевик» сельскохозяйственной коммуне «Бруски». – Коммуне? – удивился он, топыря пальцы. – В коммуну нас, псы, превратили. Ну, теперь заработаем, держись!

Все некоторое время молчали. Бабы стояли в ряд, пряча руки под мышками, мужики смотрели то себе под ноги, то на грузовик, то на ребяташек, бегущих из Широкого по пыльной дороге.

– Все это денежки ведь, – Давыдка Панов сморщился. – За это за все платить надо.

– А ты бери, – Штыркин широко загреб руками. – Коли дают – бери.

– «Бери»! Проберешься, пожалуй.

Но люди уже хлынули, и Давыдка Панов не в силах был удержать поток этот.

4

Изба у Чижика большая, просторная, с вензелями, с замысловатыми завитушками на окнах. Строил ее Чижик на семерых, а прожил один: не принесла сыновей старуха. И часто, когда худой кот мурлыкал в горнице и вздрагивали тени от лампадки у окон, падали на белые половики, на широкие воскового цвета лавки, находила на Чижика тоска. Глядя в окно на гору Балбашиху, на пчельник, на улицу, на то, как там ребяташки возятся в пыли, он тихонько говорил старухе:

– Хоть одного бы... парнишку аль девчонку. Куда теперь все добро пойдет? Эх ты-ы, не даровал тебе господь...

В такую ночь старуха до зари стояла на коленях перед образами, шептала, всхлипывала, будила своими причитаниями Чижика. Проснувшись, он шипел:

– Наперед бы надо просить... А теперь хоть лоб разбей – молодой не будешь. Ложись-ка ты.

А сегодня потухла лампадка перед иконами. Табачный дым густо вьется под потолком, въедается в занавесочки над окнами, синей пеленой ложится на белые половики. Нарушилась тишина, монастырский покой избы Чижика, и сам Чижик,

приглаженный, причесанный, словно собираясь открыть свадьбу родной дочери, широким ножом режет мед, раскладывает его на глиняные тарелки, приглашает:

– Откушайте, Сергей Степанович, Степан Харитоныч... Все, братики, товарищи вы мои дорогие... Дорогие вы мои, собрались-то ведь по какому случаю?.. Жили-жили, а теперь сызнова... Таких случаев...

Жадные глаза у мужиков и у баб до сладости, как у малышей. У Шлёнки пальцы на руке складываются, раскладываются, взял бы Шлёнка кусину меду, съел бы со вкусом. В углу, рядом с Николаем Пырякиным, стоит Груша, робко посматривает на мед, на Стешу, раскрасневшуюся, со стянутым с головы на шею голубым платком, на Яшку, держащего под мышкой потертый портфель, на тех, чужих еще, кто пришел к Чижику в первый раз, с кем еще не сжилась она. Смотрит она и на Захара – Захар изредка шевелит толстыми губами, тихо колыхается, точно под ним качается земля, но он уверен – она не вырвется из-под его ног. Молча и все остальные смотрят на мед, слушают Сергея... У Сергея нос и глаза – Степана... Волосы русые. У Степана волосы мочальные, жесткие – золой пересыпанные, у Сергея волосы вьются, да и весь он какой-то не деревенский – чистый, нежный... А ведь кровный ее – Грушин. Смотрит она на него, а в памяти всплывает далекое, горькое: участок Чухлява Егора Степановича, скирды. Под скирдами в муках и корчах родила Сережу. Тогда она губы сжала, на людей глянула тоскливо. Это удивляло соседей, а больше всех Степана, и он не раз, лаская, спрашивал ее:

– Отчего молчишь все? Груша?

– Пройдет, Степан, пройдет.

И часто непонятный страх поднимал Грушу с постели, заставлял подолгу всматриваться в беленький лобик Сережи. А потом, куда бы она ни шла, что бы она ни делала, всегда перед ней мелькали беленький лобик и скирды... Много скирд, бородавками они усеяли поле, и под ними, обкусывая губы, в муках и в корчах, в пыльное колючее жнивье рожают бабы... Груша вздрагивала, бежала в избу и склонялась над Сережей.

И сейчас, глядя на Сергея, на его вьющиеся волосы, на кулак, которым он взмахивает, когда говорит, Груше хочется радостно крикнуть:

«Он ведь знает!.. Он ведь скирдом испытан... не смотрите, что он не похож на вас... Наш он!»

Дверь легонько отворилась, и на пороге, вызывающе смахнув с головы потертую рыжеватую фуражку, стал Илья Гурьянов, старший сын Никиты Гурьянова, следом за ним протискался Митька Спирин и, прислонясь к косяку двери, замер.

– Могу присутствовать? – со смешком проговорил Илья.

– Конечно. Садись вон там, – предложил ему место Сергей против себя, продолжая: – ...Как же вам отбиться от нищеты, зажить по-хорошему? – И Сергей вывернул всю мужицкую жизнь, показал ее дыры, заплаты, заявляя, что надо приблизить к себе землю, овладеть ею, победить стихию, а для этого необходимо объединить труд, построить хлебную фабрику, коллектив.

– Круто берете, круто, – не выдержал Илья. – Слово прошу, прошу слово.

– Твое слово потом, – оборвал его Степан.

– Вот козявка какая, – тихо проговорил Захар, – козулька. Слыхали его тысячу раз. Говори, Сергей Степаныч, говори.

– О-о, вот такие угробят советскую власть. – Илья ткнул рукой в Захара. – Им все говори да говори.

Поднялся галдеж. Сергей нагнулся к Степану и что-то ему шепнул. Степан улыбнулся, потряхнул сидящей головой:

– Правда, пускай Илья выскажется... А то у него вроде понос: не терпитя.

Илья встал со скамейки, вытянул свое сбитое, на коротких ногах, тело; лицо бритое, круглое, побледнело, резче выделился на нем круто обрубленный, трубкой, нос.

– Вы, граждане... – он передохнул, глядя грудь. – Тут вам Сергей Степаныч на словах нарисовал райскую картину, а на деле – забирай штаны да беги в знойную пустыню...

– К Серафиму Саровскому? – вставил Захар.

– Хотя бы и к нему, – оборвал Илья и еще больше подтянулся. – Октябрьская революция, товарищи-граждане, с корнем вышвырнула бывшего царя Николая Романова со всей его дворней, и русский парод навсегда освободился от векового гнета, под которым он находился триста лет, и в настоящее время ему дана полная свобода слова и религии. Так что бояться нечего... можно говорить...

– Вали, вали, не навали только... убирать самому придется, – бледнея, вскрикнул Николай Пырякин.

– У Николая Пырякина язык востер, да не то место лижет, – и Илья сунул кулаки в карманы штанов.

– Сволочь, – прошипел Николай и отвернулся.

– Но в настоящее время, несмотря на тяжесть налогов, рачители коллективов стали петь нам песенки о райской жизни в коллективах, а на самом деле они хотят быть председателями, аль там чем, вроде старых помещиков: ты, Митька, иди работай, а я руки в карман: председатель!.. Да какая радость в коллективе? Кто побывал там раз, – Илья посмотрел на мед, – медом потом не заманишь. Вон Митрия Спирина возьмите... Он побывал на «Брусках»... Верно, что ль, говорю, Митрий?

Митька Спирин приложил ладонь к уху:

– А? Чего? Не расслышал я.

– О коллективе он говорит, – слышалось из толпы. – Тебя зовет.

– Пойдешь, что ль? Аль погодишь малость?

– Пойду. Знамо, пойду.

– Хо-хо! А он байт, медом тебя не заманишь.

– Конечно, не пойду.

– Хо-хо!.. Пойду, не пойду... Фефела.

У Степана под столом дрогнули руки. Он пристально посмотрел на Илью, на его короткую, крепко сколоченную фигуру и вспомнил Карасюка, такого же вот круглого,

как Илья. Карасюка поймали за Широком Буераком, привели к Степану в штаб. Что с ним ни делали – он молчал. Так и расстреляли.

– За примером далеко не надо ходить, товарищи-граждане, – уже совсем вошел в колею Илья, – за примером можно сходить, вроде до ветру, за околицу... на нашу знаменитую артель... Да. Вот в прошлом году, несмотря на хороший урожай... Ведь на хорошем корму и кляча повезет, а у них там земля-то, ой-ой... Так вот, несмотря на хороший урожай, у них молотба до снегов затянулась, просо в поле на корню осталось, и все они перецарапались.

– Врешь ведь, – не вытерпел Степан.

– Не надо, – остановил его Сергей.

– У вас всё «врешь». То – врешь, другое – врешь... Говорить не даете. Вы дайте нам высказаться... к тому советская власть нас призывает. Мое предложение, – выкрикнул Илья, – дать всем беднякам по лошади...

Мужики загудели, заволновались. Глаза у них заволокли той нежностью, какая бывает у крестьянина, когда он гладит любимого коня.

– Действительно, действительно, – и Митька Спирин отлепился от косяка. – Ты дай мне лошадь... Дай мне сто целковых, и я умным буду. Дай! Дай, а там и я покажу.

– Ты что там «покажу». Ты вот здесь покажи, – произнес Захар.

– Слободу дайте, слободу...

– Ты ведь глупый, Митрий, – сорвалось у Степана. – Ты что это понимаешь под свободой? Что это такое?

Митька обвел всех посоловелыми глазами и, глядя на Илью, выпалил:

– На отруба нас пусти... Землю вот к одному месту... вот чего.

– А-а-а-а, вон какую свободу! Ты так же думаешь о свободе? – Сергей повернулся к Илье.

– Нет, – отрезал Илья.

– Как нет? – Митька кинулся на него. – Ты мне баил... Сейчас с тобой шли... Ты мне баил, через отруба в коммунизмию. Что второй раз я на смеху от тебя? А вы не ржите. Ну, ну, пошли, шиши!.. – Он замахал руками на артельщиков и сел на пороге.

– Что есть отруб, товарищи? – приналег Сергей. – Это, допустим, печурка. Вот есть десяток печурок, а сто человек на них желают погреться. Забрались на печурки десять молодцов, вот таких, как Илья, потирают ручки и поют: «Все на печурки собирайтесь – тепло тут, и все такое». А печурок-то только десять... Вот и заберись, попробуй.

Мужики засопели. Радость, которая появилась у них при упоминании о лошадях, стала вянуть, как трава у костра.

Илья вскочил, пошел к дверям:

– Говорить не дают, а потом и начинают тебя и так и эдак. Пойдем, Митрий...

– Нет, ты постой, постой ты! – Захар вцепился в рукав Ильи. – Такая, стало быть, у тебя свобода – кому коровы, а кому и другое – вши... всё скотина? Эх, мужики, для себя мы не делаем хорошее – одни по темноте, а другие по злобе. Илья вот – по злобе.

Сергей посмотрел на мужиков, на баб, – все они выкрикивали что-то, шли на Илью. Илья вертелся во все стороны и в гаме что-то кричал, отбивался... и Сергею показалось, что Илья сбит, что теперь осталось только ударить по рукам и завтра же всем двинуться на общую работу.

Радуюсь этому, он поднялся и, улыбаясь, сказал:

– Ну, так вот, товарищи, говорили мы долго и много. Мой совет – не откладывать решения, а сейчас же записаться в артель и завтра же всем двинуться на «Бруски». Давайте с этим кончать, да и за мед примемся, а то хозяин в обиде.

Присутствующие разом смолкли. Некоторые потянулись за картузами, бабы за платками. Кто-то завозился, легонько открывая дверь, кто-то горестно вздохнул.

– Не расходиться! – взвизгнул Чижик и перепугался своего визга, тише добавил: – Мед-то надо съесть. Кто там дверь-то трогает?

– Да это я, – подал голос Иван Штыркин. – Воздух пускаю: больно надымили.

– Так как же, мужики? – тревожно спросил Степан. Илья вновь было выдвинулся, засунул руки в карманы, сдерживая смех, упорно посмотрел на Сергея.

– Бабы! – неожиданно крикнула Груша.

Все посмотрели на ее бледное лицо с синевой около губ, а Степан подался вперед.

– Бабы! – и, набрав в грудь воздуха, Груша заговорила, путаясь, перепрыгивая с одного на другое: – Да вы подумайте... об себе... Душу бы вот вам свою выложить... поглядеть душу... Души-то у нас одинаковы... А ведь он... Сережа знает бабью душу. Да, бабыньки, кругом страда. Мужики наши вечно горб гнут, а мы: родить ведь неколи. Вот что. Кто не родил, тому...

Груша захлебнулась, разинув рот, – хотела что-то еще сказать, махнула рукой.

Степан посмотрел на нее и просветлел, видя, как около Груши плотно столпились бабы.

– Хо-хо, – засмеялся Илья, показывая крупные зубы. – Эдак... Эдак...

– Что ржешь? – оборвала его Анчурка Кудеярова. – Ржешь, как жеребец...

– Прошу не выражаться. А то ведь и власть можно пригласить.

– А-а, власть! – Анчурка вскинула большие руки, замахала ими над головой, ровно собирая с потолка тенета. – Как тебя заденут, так власть тебе, а как власть зовет, так тебе чего-то все не так... Вон портки-то спустить да напороть тебе – вот тебе и власть-сласть... Бабы, чего молчите?

Это выбило из оцепенения мужиков. Они посмотрели на Анчурку, на своих баб.

– Эй, бабы, вы и правда не отколотите Илью! Пра, ей-богу. Вот сорвутся, – искривляя глазами, произнес Захар Катаев.

– А и на вас бы сорваться, – грубо, обратясь к мужикам, выкрикнула Анчурка. – Стоите, мошны развесили, вспотели, дакаете, бакаете, а как до дела дошло, так на попятный двор. Хлюсты!

– Вот пес-баба! Да ведь у тебя все добро – юбка. Взяла под мышку и пошла. А ведь нам... Трудно сразу, Степан Харитоныч. Я так мекаю, исподволь надо чирей-то

резать...

Захар смолк, зарылся среди мужиков, но они его, подталкивая, выдвинули к столу:

– Бай.

– Говори, в ногу ты с ними?

– В ногу? Оно, пожалуй, что и так... Но ведь я... Я ведь, граждане мужики, готов... Я хоть сейчас... Я вот в прошлом году реку переплывал, Алай. Плыву, из сил выбился. Слышу, кричат мне – тяни, дескать, тяни еще маленько. А чую, сил нет, рвет меня вода. Ну, думаю, капут пришел. Работаю и руками и ногами, до берега недалеко. Сил нет, опустился – а вода мне по колени. Вот и с нами так бывает. Опустить боимся.

– И рысака отдашь? – недоверчиво спросил Митька Спирин.

– А что же, на гайтан, что ль, мне его повесить?

– Врешь ведь, – Илья окинул его презрительным взглядом. – Душой кривишь на старости лет.

– Ты, Илья, – у Захара дрогнули толстые губы, – видно, все ждешь, чтобы тебе кто легонько по шее стукнул, вот тогда цену своим словам будешь знать, а то... как глупый, треплешь хреновину. Я вот, граждане, – он повернулся к мужикам, – намеряясь толковать с Сергеем Стеланычем о своем хозяйстве и вообще... Мое хозяйство, что вон ведро, – он показал на ведро под столом. – Сколько ни лей в него воды, а поднял – все ведро.

– Это что за ведро? – думая сбить его, кинул Илья.

– Вот растолкую тебе, а то ведь ты, видно, еще совсем молокосос... Земли у меня в поле на три души – шесть, стало быть, десятин, в посеве – четыре. До сей поры я сымал землю, исполу, а там как: ребята со мной жили...

– Сымал... а? Влопался? Хе-хе! – поддел Илья, зная, что такое запрещено законом.

Захар зло посмотрел на Илью и смолк.

– Говори, говори, Захар, – Степан подтолкнул его. – Чую, дело говоришь, а коли дело – на чистую давай.

– Ну, землю сымал, четырех коней держал, а разделились – теперь коней позарез продавать, не прокормишь на своей-то земле. А на одном какая работа? А у многих ведь так. Ты ведь вот чего хорохоришься, – он обернулся к Илье. – У вас в семье одиннадцать душ, вот ты и тянешь на отруб... А ведь у нас, у большинства на селе – четыре, шесть душ. Как тут ни вертись, все ведро. Сил-то тратим много, а толку нет.

– Так, значит, все в коммуно желают? А?

– Не-ет, тебя, пра, рано мать от титьки отняла. Ведь дуровину плетешь и не видишь. Желают! Я бы вот желал свое хозяйство раскинуть, да ведь земли-то нет... Ее с небушки не достанешь... Она есть у нас, земляца-то, да мы ее раскрошили на ведерки, на кружечки... У меня хоть ведро, а ведь у иных прямо черепки – ничего не соберешь. Вот тебе и желание твое... У меня ведро-то заполнилось, а у других, видно, еще не набралось, с пальчик осталось места пустого, – он показал мизинец, – дольют и по той же дорожке двинутся, о которой я рисую.

Захар сразу понял, что зря произнес слово «рисую». Оно – это слово в деревне

носило то же отрицательное значение, как и «намалюю».

– Чем? Дегтем или дерьмом нарисовал-намалевал? – крикнул с улицы под окном Илья Гурьянов и захохотал.

Степан Огнев, понимая, что Захар, желая выразиться «по-ученому», неудачным словом попортил дело, решил, однако, поддержать друга, потому встал, хлопнул растерявшегося Захара по плечу и твердо произнес:

– От души истину сказал Захар Вавилович: все в общий котел.

Но Захар глубже знал крестьян. Степаном зачастую больше руководило его личное желание «скорее переправиться в коммунизм». Захар тоже был не против того, чтобы «скорее переправиться в коммунизм». Но он видел, как и сейчас туго подаются присутствующие на то, чтобы «скорее переправиться в коммунизм»...

«А тут еще подвернулось это проклятущее слово «нарисовал», – подумал Захар. Затем он сел на табурет, корявыми ладонями провел по лицу, как бы умываясь, и глухо произнес. – С кровью ведь, Степан Харитонович, отдираем себя от ведер, горшочков, черепков. И теперь я сердцем чую: надо что-то сыскать, чтобы убежденно мы тронулись за вами.

Степан неохотно сказал:

– Тогда так давайте, мужики, пробу устроим... Нашими машинами сначала ваш хлеб в поле уберем, потом наш... Поглядим, что лучше. Покажется – тогда будем продолжать.

Мужики подхватили:

– Вот это ладно будет.

– Это куда ни шло.

– Так и давайте... Завтра и начнем.

– А может, допрежь с «Брусков» начнем? Там больше чего есть глядеть, – предложил Захар. – Денек-другой на «Брусках» давайте испытаем, дело пойдет – в кучу.

Мужики вновь остановились, засопели, вытирая ладонями пот на лицах.

– Медку-то, медку-то откушайте, – Чижик протянул на тарелках мед.

Первый кусок, точно обжигаясь о раскаленное железо, взял Шлёнка, откусил.

– Эх, сладкий!

– Ну-у? А ты думал, горький... горчица? – засмеялся Николай Пырякин. – А давайте, товарищи, и мы брать.

Руки потянулись к тарелкам. Нерешительно брали мед, прятались. Затем постепенно осмелели. Чижик не успел выставить ведро с водой на стол, как тарелки опустели, слышалось посвистывание, почавкивание, кто-то крикнул:

– Нам его сто пудов надо – меду-то. Мы как коровы!

– А у меня еще есть, про запасец держу, – Чижик выкатил из-под лавки вторую-кадку.

Вторую кадку меда запивали водой, ели быстрее, со смехом, с балагурством.

Митька Спириин, все время стоявший на улице под окном рядом с Ильей, не выдержал, вбежал в избу и потянулся к тарелке.

– Эй, эй, ты чего? – Шлёнка схватил его за руку. – Илья баил, тебя медом не заманишь. А ты вон что...

– Пусти-ка, пусти, – Митька дернул руку. – «Не заманишь, не заманишь», – передразнил он и, уничтожая мед, из-за тесноты сел в ноги у Сергея, тихо заговорил: – Я ведь тоже в артели был, Сергей Степаныч. И опять, может, собираюсь.

– Треплешься ты, Митрий, – заметил Захар. – Болтаешься, как щепка в проруби...

– Да, дядя Захар, они ведь, – Митька сморщился, – жмут. Жмут, аж не пикнешь... Вот ведь чего...

К столу подошла Груша. При тусклом свете лампы Сергей увидел на лице матери большие в блеске глаза, качнулся к ней, крепко взял ее под руку и вышел с ней на улицу.

5

Надвигалась страда.

Поля рыжели золотистыми пятнами, набухали колосья, словно груди молодой матери перед родами, и, тихо шурша, гнулись в одну сторону – к земле.

Кузнецы с утра и до позднего вечера зубрили серпы, а жнецы толпились на базаре, занимались и после найма пили магарыч.

Егор Степанович Чухляв, согнувшись, точно боясь, что его кто-нибудь может ударить воротним запором по сухому загривку, ходил по базару, высматривал жнецов, гневаясь:

– И чего как дорого? Пятнадцать целковых десятина! Да я, бывало, за день полдесятины уж как вымахаю! Это, почитай, восемь целковых в день... Аль семь с полтиной?

– А ты и крой, дедок, – отвечали жнецы. – Денежки в кармане останутся... Они, денежки-то, карман не протрут.

– Нет, вы ко мне идите. Десять целковых. Каша у меня, притом, с салом... Вот ведь чего. А к другому пойдешь, хоть за пятнадцать, может, аль там за двенадцать, а брюху-то, брюху-то и туго. Брюхо страдай: на сухарях иной пес держит жнецов да на квасе.

– Квас карош, – татарин с рыжей бородой затыкал в спину Чухлява серпом. – Квас карош... Огурец давай только.

– Оно да, – старался как можно ближе к уху татарина кричать Егор Степанович. – Оно да... А то и квасу нет... Это редко – квас, а то вода из лужи. Вот ведь чего. А у меня каша с салом... с бараньим салом, а не свиньи...

И дивился Егор Степанович: пачками разбирали жнецов. Не успеет он поговорить со жнецами, как их уже тянут в сторону, бьют по рукам, сажают в телегу и увозят. Егор Степанович отошел в сторону и, щупая у своей лошади в паху, злился:

«И куда берут?.. Пятнадцать – это воз хлеба. Сговориться бы всем нам и отрезать: шесть. Хочешь шесть целковых – иди, не хочешь – лежи на соложке... Пошли бы».

Он присел на край телеги, свесил тонкие ноги и задержался взглядом на татарине с двумя татарками. «Мои будут, – решил, – больно уж замухрышки... татарин губы развесил, а татаркам что – бабы... им бы поспать... И что это бабы спать как любят? Слаще меда им спать да в башках искаться...»

Из-за угла выкатил на Воронке Илья Гурьянов, – врезался в толпу жнецов, спрыгнул с телеги и, сложив кнут, закричал:

– Нанимаю! Пятнадцать... – чуть обождал, – серпов. А вы думали – цену такую? Пятнадцать серпов.

Кто хочет?

Прервался торг: жнецы кинулись к Илье, окружили его, наперебой потянули к нему руки с серпами.

– Цена? – закричал Илья, вытягивая свое сбитое тело. – Цена? Цена десять целковых с моими хлебами.

– Ого-го!

– Ты, купец, шутики не шути.

– Тогда наша цена двадцать.

– Тринадцать! – разрезал гам Илья. – Тринадцать... Ну, четырнадцать с вашими хлебами.

– У-ю-юй!

– Не по башке, так по маковке!

– Загнул!

– Ты, купца, давай... дела давай, – заговорил избранный Егором Степановичем татарин. – Вот что. Ты давай, моя берим, баб моя берим... Целковый моя бросай, твоя бросай, моя бросай, магарыч... каша, горячая каша. А-а?

Взорвались жнецы; слова татарина подхлестнули их, как застоявшихся коней, посыпались упреки:

– Чего цену сколачиваешь?

– Гололобый пес!

– Вали вон к себе, к татарам, там и сколачивай.

Татарин оскалил зубы:

– А-а, моя рука свой... Все народ равный. Вот – у-у, бери, бери, знаком, так бери, – разозлился он и полез в телегу к Илье. – Шалтай-болтай – не хочу.

– Садись, знаком, садись... Эй вы, куклы! – крикнул Илья татаркам. – Садитесь! Вот мой конь! – И двинулся к телеге.

За Илей, точно овцы, посыпали жнецы.

– Бери, соглашаемся... по четырнадцать.

– Ну чего ты?

– Обиды тут не должно быть.

– Нет, – крикнул Илья, сев в телегу. – Я и забыл, шут ее дери-то! Отец давеча уже нанял жнецов-то... И ты, может, знаком, слезешь? – Он повернулся к татарину. – А? Нет? Ну, пес с тобой, поедем.

И ускакал на Воронке с тремя жнецами.

Жнецы некоторое время тупо смотрели ему вслед, потом кто-то сплюнул, и все разбрелись, отыскивая своих прежних нанимателей.

«Эх, – догадался Егор Степанович, – ему только и надо было троих, а разбередил всех... хитер. Этот отцу пить даст сто раз», – и, повернувшись к жнецам, засмеялся.

– Хе-хе! Утер он вам рыло-то. Утер?

– Молчал бы, старик, – сказала молодайка, крепко зажав руки под мышками.

– А чего молчать? Не достался тебе? А парень-то – сок.

– Молчи, бай, а то песок из тебя посыпется в телегу, тогда лошадь до дому не довезет.

– Зубы-то у тя востры, вертушка, да ведь зря железо грызешь: зубы повыкрошишь, мужики глядеть не будут. А теперь, чай, ты сколько бы за одну ночку взяла? А-кхы!

– Чего, говорю, кобель старый с утра тут сидит и тревожит? Ты уедешь аль нет? – и молодайка позвала: – Федор, а Федор... Вот тут кобель старый...

Из толпы жнецов выделился здоровенный парень. Егор Степанович подобрал ноги, подумал: «Вот еще медведь прется».

Парень подошел к лошади, взял под уздцы, тихо проговорил:

– Валяй отсюда, старик.

– А ты... что? Жена она тебе? Ты что?

– Жена аль не жена, валяй... А не то... Валяй, говорю.

– Не трогай, не трогай! – закричал Егор Степанович, подбирая вожжи. – Не трогай, а то милицию кликну. Милиционер!

– Ого-го!

– Гони, гони, Федор, гони!

– Уйди, – взвизгнул Егор Степанович. – Уйди! Я и сам, я и без вас обойдусь. Хлеб-ат у меня, а не у вас...

Парень вывел лошадь на дорогу, пнул ее в живот. Лошадь шарахнулась и понесла Егора Степановича вдоль улицы.

– Без вас, собаки, обойдусь, – донеслось до жнецов.

– Обойдись-ка!

– Может, сам хлеб с поля на гумно прибежит.

– Пирогам!

Егор Степанович быстро скрылся за кооперативной лавкой: здесь он долго ждал –

не подойдут ли новые жнецы, и, когда наступил вечер, отправился в Широкий Буерак. К себе во двор он въехал совсем затемно. Клуни дома не было.

– Псы... сорвались, – ругал он жнецов и тут же подумал: «Так-то оно так, а ведь завтра жать надо. Она, рожь-то, ждать не будет: зерно из колоса на землю сбросит. Кого же вот, кого? Вдову Анчурку Кудеярову – раз, Пчелкину – два... Прийти погоревать – мужик-то, мол, у тебя пропал, как, а?»

Поставив лошадь под сарай, он заглянул к сыну Яшке во двор. У новенького плетня стоял кол. Егор Степанович легонько потянул его и быстро перекинул к себе, спрятал под сараем и побежал к Анчурке. По дороге узнал, что она у Чижика, – завернул к нему. В избу Чижика он вошел, никем не примеченный, стал на пороге и вздыбился старым котом: в углу на сундуке сидела Клуня и вместе со всеми ела мед, облизывая пальцы. Егор Степанович выскочил в сени, а когда мимо него в темноте прошли мужики и бабы, перехватил Клуню, зашипел:

– Дом бросила... Что? Аль медку захотелось? А?

Клуня согнувшись, кинулась по порядку, а Чухляв зло бросил во тьму:

– Медом занимаются... Медовичи...

Кто-то со стороны громко засмеялся, подхватил его выкрик:

– Вот именно, медовичи.

А наутро у церковной ограды красовался намалеванный сажей и фуксином плакат: на плакате стоял мужик, на спине у него надпись: «Огнев». Он протянул пригоршню с медом, к пригоршне лезли мужики и бабы. Позади – другой мужик с надписью: «Яшка Чухляв». Он ведет на поводу лошадей, коров. Под плакатом стихи:

Кто в коммуну пойдет,
Тому будет мед.
А Яшка Чухляв пройдет,
Всех лошадей заберет.

У плаката толпились мужики, смеялись. Первым из артельщиков увидел плакат Степан. Он подошел к ограде, мужики смолкли, а Илья Гурьянов сунул руки в карманы, сказал:

– Намалевали тебя, Степан Харитоныч, здорово.

– Ты и мне медку дай, – Митька Спириин протянул пригоршню. – А то тебе вчера Чижик целый кувшин принес. Что один ешь?

Степан, идя прямо, не сгибаясь, сорвал плакат и свернул в трубочку:

– Медку? Да, пожалуй, придется и тебя накормить медком... И не ври.

– Нет, не вру. Своими гляделками видал... Кувшин целый...

– Врешь ведь!.. Перевинчу я вот тебе голову другим концом – будешь знать...

– А ты чего сорвал? – Илья поднял брови. – Чего срывать-то? Сорвешь еще,

успеешь, ну, и дай поглядеть народу. Не заставляй еще раз зря трудиться.

– Правда, – поддержали Илью.

– Чай, не тебе одному глядеть!

– Не для тебя одного рисовано.

– Хо-хо!

– Медовичи! – выкрикнул Илья.

– Тятя, что там? – В окне показалась Стешка; у нее с плеча сползла сорочка, Стешка вздернула ее и правой рукой прикрыла груди.

– Якова разбуди.

– Титьки, титьки покажи отцу-то! – закричал, прячась за Илью, Митька Спириин. – А то меду наелся, теперь титек захотел, а то... – Митька оборвал.

Из мужиков никто не засмеялся, а Маркел Быков, проходя мимо, легонько прогнусил:

– Неположенное, Митрий, брешешь... Срамное.

Илья почесал затылок, промычал:

– Да-а-ам, – и быстро побежал к себе во двор.

За ним потекли мужики.

Степан подошел к окну и сунул Яшке плакат:

– Отыщи непременно маляра этого! Да быстрее. Что? Все страх тебя берет? А ты смелее. Будет, походил овечкой, волком становись.

И, глядя на то, как в раннем утре, поднимая пыль и виляя по колеистым дорогам, заскрипели подводы со жнецами и через гумна тропочками побежали безлошадники, или, как их попросту звали, кувшининки, – Степан тронулся на «Бруски». На «Брусках» у парка, светясь на солнце стальными зубьями, стояли три жатки, а в березняке на сучке висел баран, приготовленный Штыркиным на обед артели.

В это время в сельсовете гудились мужики. Они тихо перешептывались, глядя на сидящего за столом Яшку. Он чего-то ждал, затем развернул плакат:

– Ну, кто этих чертяков нарисовал?

Митька Спириин с улыбкой потянулся к плакату, точно первый раз увидел его:

– Да тут и не чертяки, Яков Егорыч. Тут люди-мыслети.

– Ты мне дурочку не строй, а то оглобли загну – не так запоешь. Ты мне говори: кто нарисовал?

– А откуда я знаю? Вот пристал! Пристал, прости господи, как банный...

– Ну! Это тебе ведь не трактир, а сельсовет... Секретарь, пиши протокол... Живей поворачивайся, ежели вообще не хочешь дома сидеть. Будет, поваландались с вами.

В сельсовет вошел Плакущев. Прислонясь спиной к печке, он посмотрел на Яшку. В глазах у Плакущева играл смех, как и у мужиков.

– Криком-то, Яша, не возьмешь. Не криком надо, а разбором дела, – сказал он.

– А ты чего притащился? Тебя звали? Прошу выйти.

Посторонних прошу выйти.

– Ты, Яков... – начал было Плакущев.

– Выйди, говорю! Что за безобразия!

– Я выйду, – Плакущев побледнел. – Я выйду, да как бы и тебе следом за мной... – проворчал он, переступая порог.

– Видали вашего брата, – бросил ему вдогонку Яшка. – Ишь, ходит, бука... Прошли те времена. Довольно. Ну, вы!

Мужики разом сжались. У Митьки Спирина забегали глаза, он подался к столу.

– Да ты, мил человек, Яков Егорыч, чего нас-то? Ты доищи, кто первый подошел к ограде... Вот чего доищи... А то ведь... Я подошел – я не первый подошел, могу обсвидетельствовать. Вот Маркел Петрович, – он показал на Быкова, – он обсвидетельствует: я не первый.

– А откуда отгадаешь, кто первый? Всех вас собрать надо. А кого ведь и нет. В самом деле – штука нехорошая, срамная штука, вроде как кощунство, – прогнусил Маркел и легонько потрогал плакат.

Яшка послал за Ильей Гурьяновым.

Десятник бежал ко двору Гурьяновых сломя голову.

– Иди... иди... председатель зовет... скорее.

– Эк, тьфу! – сплюнул Илья. – А жать-то нам кто будет? Он не будет жать? Скажи, не пойду. Ну, катись на четверке.

Илья двинул ногой, будто дал под зад пинка десятнику.

– Смотри, Илья, плохо ведь будет, – пригрозил десятник и кинулся со двора.

– Может, пойти надо? – вступился брат Ильи, тихий Фома, глядя на крышу сарая большими карими глазами. – Власть ведь зовет, а не кто.

– Власть? Чай, я ее... тьфу! – вновь сплюнул Илья и закричал: – Садись, эй, поехать надо!

– Верно-о! Мы ее выбирали, а не она нас. Мы без нее проживем, пускай она вот без нас... Пойдемте. – И Никита первый сел в телегу, тронулся со двора.

За ним выехали Илья с двумя снохами и Фома с татаринном и двумя татарками.

6

Иван Штыркин доделывал ворота, обращенные с «Брусков» на Широкий Буерак. Ворота вышли высокие, тонконогие, как журавль, а на самой верхушке – поперек – светилась на солнце гладко выстроганная доска. Иван Штыркин последний раз ширкнул рубанком и слез.

– Готово, Степан Харитоныч... Глаза слипаются, так и валит ко сну.

– Иди в березняк, поваляйся.

Степан привесил к поясу ведро с зеленой краской, взобрался на ворота и кистью начал старательно выводить на доске слова. Слова получались большие, раскосые, от слов книзу змейками ползли стёки. Степан торопливо подхватывал стёки кистью и клал краску на выстроганную доску. Когда он вывел: «Прочь все старое с дороги» – на «Брусках» из Широкого прикатил грузовик, везущий баб. Видя, как грузовик вышел из Широкого и, пугая кур, лошадей, поднимая пыль, помчался большой дорогой, Степан заторопился: ему хотелось всех, кто сегодня будет работать на «Брусках», во что бы то ни стало пропустить через эти ворота. Ему казалось, что если он не успеет сделать надпись, то что-то случится, случится какая-то непоправимая беда.

Грузовик остановился около березняка. Бабы, отряхивая юбки, платья, вылезли из кузова, а Анчурка Кудеярова, размашисто двигаясь по правому клину, подошла к воротам:

– Степан Харитоныч, принимай... Приехали на коне-скакуне.

– Рановато еще. Подите погуляйте немного... в парке. Груша, отведи их. Аль песню спойте... люблю песни. А ты, Коля, дуй за другими.

– Эх, господи, – вздохнул, прислонясь к воротному столбу, Давыдка. – Народу-то сколько Степан нагнал... Чего с ним будем делать?

– Господа уж вспомнил?.. И что это у тебя появилось – одному бы все? Боюсь я, Давыдка, как бы нам с тобой не расканителиться... Ведь помогают нам, вон грузовик рабочие дали, а Сивашев, вожак их, говорил: «Еще дадим, только стройте», а ты свое...

Степан хотел сказать и о том, что Кирилл Ждаркин первый сбил рабочих цементного завода на то, чтобы те взяли шефство над «Брусками», – но этого он не сказал, почему-то боясь создавать хорошее мнение о Кирилле среди артельщиков. Он последний раз мазнул кистью, проговорил:

– Ну, вот и готово! – Бросил кисть в ведро, кисть булькнула, брызги краски ударили ему в лицо, он смазал их ладонью и попросил Давыдку: – Отойти-ка в сторонку, почитай.

Давыдка нехотя отошел от ворот и, расставив дугой ноги, начал читать:

**ПРОЧЬ ВСЕ СТАРОЕ С ДОРОГИ, МОЛОДАЯ РАТЬ ИДЕТ
ПРИВЕТ НОВЫМ КОММУНАРАМ
ПРОСИМ ПОЖАЛОВАТЬ,**

В конце стояла большая запятая, похожая на головастика, – только эта запятая и запала в голову Давыдке Панову. Он подумал:

«Вот головастиков нагоним, лягушки из них появятся и заквакают. Как хлеб делить – так и заквакают».

– Ладно, что ль?

– Ладно, – отозвался Давыдка, думая о головастиках.

– Эх! – Иван Штыркин вынырнул со стороны. – За сердце слова хватают.

– Они на то и написаны, чтоб хватали.

– Да-а, напожалуют вот, и возись с ними, – закончил вслух свою мысль Давыдка. – Сто голов – сто умов, тыща порядков... И поползет все в разные стороны.

– А-а-а, вон что ты... Дыры замажем... цементом, вот и не поползет. Кого это ведут?

Степан быстро слез с ворот и, приложив козырьком руку ко лбу, посмотрел на дорогу.

По большой дороге два десятника вели Илью Гурьянова. Увидав, как из оврага на «Бруски» поднимается Яшка, один из десятников крикнул:

– Яков Егорыч, ведем непослушника! Брыкался. Вот мне руку ущемил. Куда его?

– Посадите пока... – дал распоряжение Яшка, глядя поверх Ильи. – Я скоро вернусь... разберемся.

Илья выступил вперед.

– Товарищ Чухляв! Это ведь... работа ведь в поле стоит... Я ведь давеча обещал – вечерком приду.

– Ничего не обещал, а так и баил, истинный господь, Яков Егорыч, так и баил: плюю я, байт, на власть и вообще! – закричал десятник.

– Товарищ Чухляв!

– Что «товарищ», «товарищ»? Товарищ теперь тебе стал... Герой – на печке-то у себя, рядом с бабой, а тут – «товарищ».

– Да что это, старый режим, что ли?

Илья рванулся. Десятники отлетели в сторону, но тут же вновь вцепились в него и поволокли в село.

Степан нахмурился.

– Ты чего это, Яков?

– Издалека видать надпись-то... Хорошо.

– Ты мне говори: что с Ильей?

– А-а-а! Послал я за ним, а он ирунду развел...

– Но ведь у тебя прав на то нет, чтобы сажать. За это ведь припрут. Ты что, староста, что ль?

– А я и отвечу за это.

– Не круто ли?

– Не круто. Они на меня в совет... все кинулись... не знай что норовили. Плакущев пришел – бороду раскинул... Ну, я его вытолкал.

– Кого? Плакущева? Вытолкал? И ушел?

– Ушел, как собака, проворчал: «Я-то, слышь, удалюсь, да как бы и тебе не удалиться...»

Огнев некоторое время смотрел на расписанную им доску.

– Да-а. Что ж?.. Поглядим, что из тебя такое выдет? Власть, конечно, не похвалит за арест. Я бы этого не делал.

Яшке был неприятен упрек, он стал оправдываться, говоря о том, что мужики хотели его поднять на смех, а кто-то даже полез драться.

– А перед ними только раз споткнись – они ходу не дадут.

– Да ладно уж... дело сделано.

По дороге, виляя разбитыми колесами телеги, ехал Егор Степанович.

– Нос-то как воротит! Если бы можно, наверно, воробьем перелетел бы это место, – проговорил Степан.

– Егор Степаныч! – закричал, подкатывая на грузовике, Николай Пырякин. – Мое почтение, мил друг... Эй, Егор Степаныч! Чай, глянь в окошечко... дам тебе горошечко... У-уй, ты...

Егор Степанович дрогнул, подстегнул гнедуху. Рядом с ним сидели Клуня, вдова Пчелкина и дедушка Пахом. Пахом тряс головой и, вцепившись руками в наклейку, кричал:

– А ты тише, пес тебя возьми, Егор! Егор, тише, бай... Тут кишки растеряешь...

Чухляв круто остановил лошадь.

– Тебе тут слезать? Слазь.

– Ну, тут. И тут, пожалуй, – Пахом обрадовался и, кряхтя, выбрался из телеги. – Я пешечком... Оно пешечком-то привычней... Чего это вы намалевали?

Чухляв поскакал в поле и скрылся в долу.

– Черт Железный! – кинул Яшка вслед отцу. – Мучит ведь и себя и мать.

– Ты это, Яша, с кем содомишься? – спросил Пахом и задрал голову: – Писано чего-то? Чего писано?

Яшка посмотрел на Пахомову пушистую бороду, подмигнул:

– Борода-то у тебя, дедок, так и топырится, ровно тебе и не восьмой десяток.

– Пес ее знает, что она, – гордясь бородой, заговорил Пахом. – Растет и растет, подлячка... и не чешу я ее, и не мою, а она – вишь ты.

– Ты не чешешь, бабы чешут. Бабы-вдовы бороду твою уважают.

Пахом, напыжившись, сердито проворчал:

– Эко ты-ы сморозил! Что, говорю, намалевано?

Яшка взял деда под руку.

– А это, дедок, дорогой ты мой друг, писано тут – всяк обретет царствие небесное, если...

– Что «если»?

– Если машиной молотить хлеб будет.

– Дуровину, дуровину напачкали. Нет, ты, малец, держись за соху, она, соха-то... – и не dokonчил, услышав взрыв хохота. – Ржете, жеребцы, а вот припомните мое слово... – и двинулся через «Бруски» в долинку, держа на плече серп.

– Чего мудришь над ним, Яков? – Давыдка нагнул голову.

– Хочу заставить его, чтоб машиной хлеб обмолотил... Как же, человек он какой – и друг мне, а не хочет... У меня ведь все старики друзья. Вот дедушка Катай. Здорово, дед, – он протянул руку Катаю. – Здорово, говорю!

– Здорово, Яша... Ты чего это разошелся?

– Ну, как, дед, корабль-то металлический в какое место с неба бухнулся? В Америке, говоришь?.. Эх, жалко... У нас бы... Американцы так и не раскололи его? Вот головы! Ты им не говори, – указывая на остальных, он подхватил Катая под руку и повел в березняк. – Друзья-то мы с тобой, дед, какие. Вот ежели бы все такие на свете были...

– Христос так и советовал, – донесся голос деда.

Яшка вошел в березняк и натолкнулся на Катю Пырякину. Она спала на отшибе у овражка. Две мухи сидели у нее на верхней губе, она во сне дула на них, мухи взлетали и вновь садились.

– Чудно как спит, – проговорил он и вспомнил: вчера встретил ее на берегу Волги в Сосновом овраге и она, бледнея, вся дрожа, отвела его руки от себя.

– Яшка, не нужен ты мне... полная я... тобой полная: вот, где ты, – и хлопнула рукой по животу.

«Чудной народ эти бабы, – рассуждал Яшка, пересекая березняк, отыскивая Стешу. – И не нужен-то я ей, а нужен, чай, Николай на сопливых ножках, а сама глазами меня ест, ко мне жметя... Утрось вон как глядела – на глазах слезы, а подошел – опять свое: полная я, да еще что-то...»

Он обошел спящих баб и под белобокими березами увидел Стешу. Сел на пожелтевшую траву.

– Спишь, Стешка, – прошептал Яшка и погладил ее черные, с рыжим отливом волосы. – Стешка, а Стешка!

Спала Стеша.

Внизу за белым меловым берегом расхлестнулась Волга. Она так же лоснилась на солнце, как в тот день, когда Стеша барахталась в воде, изгибала спину с сизой бороздкой на хребте.

Яшка нагнулся и поцеловал жену в высокий загорелый лоб.

Стеша потянулась. Юбка зацепилась за сухой сук березы, показалась икра – белая, покрытая розовыми точечками... Стеша открыла глаза.

– А, прискакал, Яша! Спала я как – и сон видела, – и она рассказала Яшке сон.

– Ну и спишь ты... так змея может укусить, – проговорил Яшка, не дослушав ее, обижаясь на невнимание к его чувству.

Ответ Яшки разобидел Стешу, но она сдержалась, только как-то далеко подумала:

«Какой он...»

– Змея что? Человек укусит – хуже! – и радостно шепнув: – Яша! – она робко глянула на спящих баб, и лицо у нее вспыхнуло, задрожали тонкие, в матовых ободках губы.

7

На общем дворе ударил колокол. Сначала ударил три раза медленно, словно раскачиваясь, потом часто, вприпрыжку закидал в утреннюю свежесть свой металлический зов.

– Нас ведь зовут, бабы, – Анчурка Кудеярова поднялась, отряхнула платье. – Нам бы сто часов спать, и то не выспимся, пра. Ведь всю жизнь на ногах, Катя, вставай.

– Товарищи! – позвал Степан. – Бабы пойдут за жатками рожь вязать, а мужики – конюшни ставить. Всем около жаток делов нет.

– Эх, Степан Харитоныч, на то мы не уговаривались, чтоб конюшни ставить, – проговорил младший племянник Чижика, Петр.

– Давай, все сделаем, – с упреком глядя на Петра, сказал Чижик. – Давай, давай!

– Через ворота! Через ворота! – закричал Николай Пырякин и, шагнув, затянул завывающим голосом: «Мы жертвою пали» – и тут же оборвал. – Аль не то? Не то, не то, товарищи! Не то! Ну, какой тут смех? И эта песня за сердце берет. Так вот я другую. – Он прокашлялся, но запеть уже не смог. – Шлётка! Запевай! Сорвалось у меня пес возьми!

Шлётка расправил грудь, вышел вперед и баском ударил:

– Вста-авай, про-оклятьем...

Вразнобой подхватили мужики, бабы. Пели путано, с выкриками, с визгом... Пение напоминало мотив какого-то церковного псалма... Но шли твердо, крупным шагом. И не успели до конца пропеть «Интернационал», как прошли ворота. Допевая, разделились на две партии: одна тронулась под уклон, другая в общий двор, к сосновым бревнам.

Впереди всех, рядом с Катей Пырякиной, шла Стеша.

– Мой-то, – заговорила Катя, – спутался, как запел. Вечор, когда пришли с собрания, с час, чай, все налаживался... а тут спутался. Вот посмеюсь теперь над ним. Он иной раз дома так затянет. Я ему и говорю: «Брось, мол, Коля, людей перепугаешь. Что ты, мол, как мирской бык?» А он мне свое: «Я теперь, слышь, не мужик, а тракторист – вроде рабочий. Ну, попаду когда к рабочим, а петь не умею». Вот и орет, и орет. А нонче смешался... – Она неожиданно тихо качнулась, прикладывая руку к сердцу, и, бледнея, передохнула, тихо прошептала, глядя куда-то вдаль, точно около нее никого не было: – Вот и хорошо... Хорошо-то как, а...

Стеша кинулась к ней.

– Катька! А ты никак родить хочешь?

– Угу... А то как же? Чай, коллективу работники нужны... Чай... это... – и Катя

побежала быстрее под уклон.

– Ух ты, дьявол, а молчала, – упрекнула ее Стеша.

– Молчала?.. Чай, об этом не кричат всем? – проговорила Катя и тут же подумала: «Ничего-то Стешка не – Какой месяц пошел?»

– Третий, – солгала Катя и поняла, что с этого момента ей придется многим лгать, скрывать от многих то, что лелеяла она по ночам, лежа в постели рядом с тощим, всегда потным Николаем.

Стеша в первый раз обняла Катю и, что-то нашептывая, пошла с ней к жаткам.

У Кати синева появилась под глазами, быстрый шаг пропал: она шла в ногу со Стешей, а ступала осторожно, ровно под йогами не пожелтевшая трава стелилась, а разбросанные горячие уголья. И спина у Кати чуть откинулась, но ядреностью, здоровьем наливалось, набухало тело, и в глазах горел яркий осенний день.

– Мальчишку бы, – шептала она. – Ты вот испытала... Как?

– Говорят, ежели первый раз в правом боку повернется – мальчишка, в левом – девчонка. Ты как?

– И-и, и не помню. Обезумела, как почувяла. Побежала сказать Коле, а он, помнишь, и трактор в поле бросил. Ругал его тогда Степан Харитоныч, а он только смеялся на это. Я ему: «Зачем, мол, смеешься? Рассердится Степан-то?» А он мне: «Ежели бы, говорит, Степан Харитонович узнал, отчего я трактор бросил, он расцеловал бы тебя в маковку». Ты только, Стешенька, никому ни гу-гу. А то сглазить могут. – Катя зарделась.

Бабы перешли ложбину. В долине дозревала рожь.

– Становись! – Николай Пырякин, пристально посмотрев на Катю, ласково погрозил ей пальцем и пустил трактор.

Яшка прицепил жатку ко второму трактору, взобрался на сиденье. Бабы – разноцветные: синие, голубые, зеленые, маковые косынки – стали в ряд. Три жатки – две за трактором, одна за тройкой лошадей, – три большие гребенки двинулись от дороги, затрещали, пугая перепелов и земляную мышь. Захрупала рожь и кучечками запрыгала с жаток на ровно подстриженное жнивье.

– Запевай! Эй, бабы, запевай! А то коня остановлю, – пригрозил Николай.

Вязали за жатками снопики, такие же пышные, как Катя, и веселая песнь стелилась над Волгой, неслась в луга и останавливала каждого, кто шел мимо.

Захар Катаев, без шапки, развевая волосы, торопливо подошел к воротам.

– Запоздал, – сказал он с грустью, – провозился со своей артелью.

Во дворе, золотясь на солнце сосновыми бревнами, высилась конюшня. На конюшне, точно муравьи, копошились мужики, а на самом верху маячил Степан... За правым же клином в долине хрупали жатки, переливалась бабья песня.

Захар взъерошил волосы и на бегу, не выдержав, крикнул:

– Ух, отряд-то какой!

– Захар! Захар! Министерская твоя башка! – позвала, смеясь, Анчурка. – Иди к нам.

К нам иди... Мужиков у нас маловато. Нам хоть тебя.

Захар подумал, потом быстро перебежал ложбинку, и тогда еще один густой, хриповатый голос врезался в общую песню.

Все это с горы из дубового парка видел Сергей Огнев. Ему самому хотелось пойти и стать в ряды жнецов, но на это он не решился, в чем потом и раскаивался не раз.

Звено третье

1

Из расщелин ноздрястого каменистого обрыва бегут прозрачные, холодные ключи. На обрыве растут липы, своими кудрявыми лапами они царапают каменистую лбину и большими лохматыми птицами покачиваются над Бездонным озером. Против озера, в скале, из-под красного камня таращатся черные зевы – ходы в пещеру. По преданию, в этой пещере жили семь братьев-разбойников. Именовались братья «царями»: чеканили они звонкую монету и сплавляли на Волгу.

Митька Спириин, макая кусок ржаного хлеба в воду, думая о братьях, совсем забыл о том, что рядом с ним сидит его жена Елена. Он медленно жует хлеб, мигает и тихо бормочет:

– Деньжищев, чай, у проклятых сколько было...

– У кого? – спросила Елена.

– У тебя! – Митька огрызнулся и, стряхнув с колен крошки, вскочил. – Идем! Расселась!

Гремучий дол – старинный дол. Гремучий дол зарос крапивой и репейником. Наверху по склонам гор тянутся березы, топырятся дубы. Широким обхватом лап дубы сплетаются над долом, укрывая в низине от солнца крапиву и дикую малину. В низине, разрезая заросли крапивы, бегут ключи, собираются в ручейки, растут, ширятся и гремят звонко. Рядом с речкой вьется тропочка.

По утоптанной тропочке несется с кувшином в руке Митька Спириин на Козырьки – семь верст. Следом за ним спешит Елена, переваливаясь, как утка: не успела Елена похоронить первого ребенка – Васятку, как уже стукнулся второй.

Елена невпопад тыкала ногами, не чувствуя их, а Митька злился. Он с легкостью борзого кобеля перепрыгивал через канавки, рытвины, бормотал:

– На Козырьках пшеница непременно под серп. Это у Кулебякского родника подкузьмила – за волосья пришлось драть. Сволочь! Рыжий черт, Никита, собака его заешь, напахал. Себе-то, небось, землю в пух разделал, а мне – огрехи да комья. Жалко, на поливе черту лопаткой башку не снес.

– Чего?

– Жалко, мол, Никите Гурьянову на поливе башку лопатой не снес. Ничего бы не

было – в драке, мол, и все... Вон за Пашку Быкова никого в суд не потянули...

С Елены лил пот – крупный, соленый. Тянуло лечь под куст в траву и уснуть крепко, непробудно. Она крепилась, шире ставила ноги, стараясь не сбиться с узенькой тропочки, а ноги тыкались, как деревяжки.

...И Гремучий дол со своей прохладой, со своими колокольчиками, песенками остался позади... А ведь это был тот дол, где она впервые поцеловала Митьку...

Выйдя в поле, Елена и Митька увидели, как недалеко от опушки, Плакущев на клину дожинал загон. Рядом с ним Зинка – кургузая, в серенькой юбке.

– Во-он Плакущев – жнет. Сроду, чай, не жал, а вишь, и его приперли. И эта – Зинка. Соломенная вдова. Кирька-то теперь с Улькой, поди-ка, в городе мармалад едят.

– Чего?

– Да что ты, оглохла, что ль? Сто раз все – чего?.. Здорово, Илья Максимович! – крикнул Митька, низко кланяясь и, не дожидаясь ответа, побежал дальше.

Вот и обширное поле, усеянное скирдами. На полосках – таких было больше – скирды тяжелые, будто свинцом налитые, желтобокие, а на другой – хилые, пухлые, ровно пустые, а бока черные, землянистые. На таких полосках-загонах хлеб не жали и не косили, а теребили, как траву, руками.

– Видишь, не у нас одних теребок. – Митька ткнул рукой в сторону скирд с земляными боками. – А ты: «Только у нас теребок». Болтаешь все. Раз не уродилось...

– Ну, и слава богу, – машинально ответила Елена.

– Это за что «слава-то богу»? Э-э, дура набитая! Ты еще свечку поставь: «Дай, мол, господи, каждый год теребок». Сморозила. И пес меня с тобой связал... У других бабы-то...

С «Брусков» ветром кинуло песнь, рев трактора и щебет жаток.

– Поют... Пропоетесь! – промолвил Митька и, свернув вправо, побежал на свою полосу.

Там у дубка, помнит, в весну, дожидаясь Илью Гурьянова, он проспал до обеда. А когда приехал Илья и впряг лошадок в плуг, чтобы вспахать Митькину долю, Митька скинул самотканые серые портки, повесил их на сучок дуба и без порток, прикрывая рубашкой неудобное место, начал рассеивать пшеницу. Илья смеялся, а Митька уверял:

– Старики баили: без порток сей – уродится... Ты не гляди. Чего согнулся?..

– А поглядеть – есть ли у тебя? Не от чужого ли мужика Елена пухнуть начала?

Потом Митька часто заглядывал на этот, как ему казалось, свой загон. Пшеничка тут пыжилась зеленью, кудрявилась, и совсем недавно он видел – колос пшенички большой, от тяжести колос клонится к земле, а рядом на загоне Гурьяновых пшеничка низенькая, остроносенькая... Последний раз недели за две до жатвы здесь же Митька встретился с Ильей.

– Э-э, какая у вас хреновская пшеница, – проговорил он, сдерживая злорадство.

– Да-а. Тебе подвезло, – Илья чуть-чуть улыбнулся.

– Зло берет Илью... Он теперь, чай, меня разбить готов, – Митька повернулся к Елене. – Вот сама поглядишь, какая пшеничка: золото. Все загоны покроет.

Но, подбежав к дубку, он опешил: его загон быстро дожинали Гурьяновы.

– Никита! Никита Семеныч! – закричал он так, словно. Никита поджигал его избу. – Да ты что? Обмишулился? Зря. Зря мой загон жнешь. Мой! Твой-то вот, – показал на загон чахлой пшеницы. – Я ведь его теребить не буду. Свою надоело теребить.

– Да у тебя глаза-то где?.. – Никита пристально посмотрел на Митьку. – Ты погляди – метка какая.

Митька глянул на конец загона – угол загона был отрезан. Это фамильная метка Гурьяновых. Мелкая дрожь побежала по телу, в глазах зарябило. Ноги дрогнули в коленях.

– Видал? Угол резаный – наша родовая метка, Митька, сам не зная для чего, нагнулся, протупал борозду на углу и забормотал:

– Да как же это? В весну, и вот недавно... Илья! Ведь с тобой были, баил ты... я, то-исть... А ты, бай: «Ловко у тебя». А-а... Баил ты?

– Баил.

– Ну?.

– А я, мол: «Пускай помечтат». – Илья засмеялся и, свернув жгут, туго перепоясал сноп пшеницы, тряхнул им, твердо поставил на землю, глядя наливные колосья. – Пшеничка-то! Эх, сама рука с радостью жнет! А у тебя, Митрий, никак теребок?

Митька, глотая слезы, подошел к своему загону. Пшеничка на его загоне пыльными хвостиками вытаращилась из земли, а местами оплешивела, не успев взойти, согнулась завитушками и обратно ушла в землю.

Елена посмотрела на свой загон, затем на загон по другую сторону – на загон Маркела Быкова, спросила:

– А это чей?

– Чей?.. Чей есть... Кума твоего, вот чей!

– Их, у нас какая плохая!

– Молчи! – Митька развернулся. – Тебя спрашивают? Дам вот...

Теребили пшеничку.

От теребка поднималась пыль. Пыль лезла в горло, ела глаза. И солнце пекло спину Митьке. Положив живот на колени, он зло тянул за мелкие колосики пшеничку и поглядывал вверх.

– Тьфу, – плевался он, – как назло – ни одной тучки... Ну, чего палит?

Гурьяновы кончили загон, брякнули серпами, быстро стащили снопы. Илья начал складывать скирду. Снопы вертелись у него в руках проворно, легко, как игрушки, – и сам-то он был похож на комлястый, наливной сноп.

Никита, царапая ногтями ободранную о жнивье руку, подошел к Митьке, заговорил:

– Ну, вот баил я тебе – отдай всю землю... А ты – нет, половинку... Видишь, что у тебя?.. А вот гляди, – он отмерил две сажени от Митькиной межи. – Вот ведь – твоя земля. А хлеб какой был – серп ломался...

– Хоть и в штанах сеяли, – поддел Илья. – А если бы без штанов? Что бы тут было? Топором рубить довелось бы... Хо-хо! А у тебя теребок.

– А вы не мудруйте...

– Я не мудрую, дело говорю. Вон и озимый клин опять напополам хочешь. А я баю тебе: отдай всю, получай по пятнадцати целковых за десятину – и в кусты. Налог на тебя все равно не накинута... Сказать, что ль, ребятам, чтоб забирали твои загоны? Чего ты?

Жалко было Митьке расстаться с землей. Какой уж тогда он крестьянин? Тогда мужики и глядеть на него не будут. На сход не являйся. Ну, скажут: холостой-продувной явился... Ничего... Нынче не уродилось, на лето уродится.

– Нету. Подумаю.

– Ну, думай. Фома, давай лошадей-то сюда.

Сели Гурьяновы в телеги и поехали на другой загон.

– Хапуны, – буркнул Митька.

А у Елены сжималось все в утробе, точно кто-то большими клещами туго стиснул ей поясницу. Плакала Елена украдкой, охала. Митька сорвал колосок, растер – тощенькие однобокие зернышки уложились в морщинках ладони.

– Тьфу! Землю хорошую взяла, а дала что. Ты-ы! Опять, чай, скажи: «Ну, слава богу». Фефела! – и вновь положив живот на колени, затеребил пшеничку.

– О-о-ох, – Елена покачнулась и, обхватив живот руками, села на меже.

– Что охнула? Заохала! – Митька посмотрел на ее посиневшее лицо, на миг явилась жалость к ней, но тут же жалость задавила злоба. – Заохала, корова! Ну-у! Ты не родить ли на меже задумала? У меня и не думай... Ишь, нашла место!

И опять теребили...

– Тьфу, гадина! – Митька сбросил с руки зеленую саранчу. – Жрет то ж... Вон, жри у богатеев! – И тут же Митьке самому захотелось есть. – Давай обедать. Ты-ы!

...После обеда еле поднялась Елена: ноги затекли, они были, словно набитые песком мешки... И Митька еле поднялся – у него болела спина, слипались глаза, от жары чесалось тело. Не зная, на кого вылить злобу, он бурчал на Елену:

– Ты, раскоряка, чего сморщилась? Аль не нравится? Ва-асена!

Васеной звали покойницу мать Елены. И когда Митька хотел по-настоящему пронять Елену, он говорил: «У-у, Васена».

– Ты зачем матушку-то из гроба? Аль кости ее тебе мешают? – и Елена побледнела.

– Ма-атушка! Такая же вот была, любила под окошечком сидеть. Чай, бывало, щечки напудрит и сидит... Барыня... Барыня, а до ветру некуда ходить... И ты...

– Не тревожь... Матушку не тревожь...

– Не перевернется!

– А то ведь и я твою подыму...

– Молчи!

Брызжа слюной, трясая выцветшей бородашкой, Митька перетряхнул всю родню Елены, находя каждому обидное прозвище, и под конец сорвался:

– Брошу. Брошу, сволочь! Ва-асена! Брошу! Тереби одна!

– Брось, брось!

– А-а! – выкрикнул Митька и рубежом кинулся с загона.

Митька бежал, встряхивая головой, не замечая того, как у него из глаз катились слезы и путались в бороде. Он чувствовал одно – несусветную, неизмеримую обиду, и ждал, что его кто-то окликнет, погонится за ним и, догнав, непременно пожалеет, обласкает – тепло и нежно, как Жучка своего кутенка. Но за ним никто не гнался, и от этого ему стало еще горше. Подпрыгивая, точно его кто подхлестывал под коленки тонким прутом, он спустился в дол, выскочил на возвышенность, остановился, прислушиваясь к тому, как поскрипывает трепетными листьями осинник, и тихо засмеялся.

«Попал, нечего сказать, – подумал он, глядя вперед на поле, усеянное жнецами. – Тут идти – все равно что без штанов по улице».

Ему не хотелось бежать обратно и Гремучим долем пробираться в Широкое. Это было и далеко и неудобно: там вновь можно было столкнуться с Еленой. Она-то уж наверное идет в Широкое Гремучим долем. Но нельзя было идти и прямо через поле: здесь не оберешься расспросов со стороны жнецов. Он долго стоял и придумывал, что бы он мог ответить на расспросы жнецов. Но сдвинуться с места не мог: недалеко от него, в долине, бабы – во главе с Захаром Катаевым и Николаем Пырякиным – вязали снопы за жатками.

– Эх, дьяволы! – вскрикнул Митька, удивляясь, что две жатки захватывают и моментально сжинают такую полосу, как его загончик в поле, который он вместе с Еленой теребит весь день – без веселья, песен, радостей, только с глухой, давящей тоской. Вспомнив свои плешивые загончики, легкие снопы с черными комлями, он почувствовал, как у него снова заклокотала, давя горло, обида. Чтобы не закричать о своей обиде, он, глядя грудь, отошел в кустарник. Идти ему никуда не хотелось. Наоборот, хотелось запрятаться, пропасть, и Митька, сознавая, что такое желание появляется только у малышей, все-таки забился в чащу кустарника, лег и вскоре заснул, скуля, взвизгивая, кому-то угрожая во сне.

Сколько он спал, не помнит. Только когда открыл глаза, увидел: по дороге, верхом на сером меринке, покачиваясь в седле, опутив голову, то и дело потирая рукой висок, ехал Степан Огнев. И Митька, помимо своей воли, словно кто-то подтолкнул его, выскочил из кустарника, пугая меринку, и, сам не зная зачем, начал бить кулаком по пыльной дороге.

– Дядь Степа... Возьми... Ну, что ж, везде теребок.

– Постой-ка, глупый! – Степан посмотрел сверху, подумал: «А правда, чего бы его не принять?» – Постой-ка плакать, – заговорил он. – Примем... Только тебе задачу поставим... Вот поедем-ка со мной...

Митька уцепился за стремя и в ногу с лошадьёю, поднимая теплую пыль, пошел по

дороге.

2

С гумен от молотилки несся тревожный гвалт. Среди мужицких придавленных голосов звенели женские выкрики. Эти выкрики напоминали Степану стаю чаек, вьющихся со звонким писком над убитой подругой.

– Пусти, пусти, Митя! – освобождая ногу в стремени из рук Митьки, проговорил он. – Что это там?

На гумне Никиты Гурьянова шумели мужики и бабы. Вокруг них, ближе к плетням, золотились на солнце стога свежей соломы, а в углу рядом с током плотно прилегли три огромные, загнутые буквы «Г» кладки Никиты Гурьянова. В толпе на тракторе сидел Николай Пырякин, готовясь тронуться.

Никита Гурьянов, с развевающимися по ветру рыжими взлохмаченными волосами, вцепился руками в задок молотилки, разрезал гам:

– В список... в бумагу гляди... Моя череда... Такого порядку нет: государство вам дало молотилку не мудровать над нами.

– Уйди! Руки ведь оторву. – Николай вертелся на сиденье трактора и грозил: – Уйди, говорю, чудака-барин. Рвану – костей не соберешь.

Мужики грудились около молотилки, глухо гудели. Те, кому хлеб был уже смолочен, стояли в сторонке и негромко поддакивали Никите. А те, кому надо было молотить, – их было гораздо больше, – кричали громче, заглушая сторонников Никиты Гурьянова. Из гама неслось:

– Чего ты, Никита, пристал?.. Они – хозяйева. Чего хотят, то и делают.

– Чай, у тебя своя конная молотилка есть.

– Отправил он ее. К торгашу в лавку поставил, – объяснял Маркел Быков. – При мне поставил и байт: «Продай эту штуkenцию, за ненадобностью она теперь мне...»

– Вот и продал. Хо-хо!

– Теперь беги назад, выручай...

Степан засмеялся:

– Воюют, а... Вот, Митя, машина что делает.

– Эх, – Митька удивился, показывая на Никиту. – Этот уж тут... Прикатил. Пойду. Гляди, чего будет... – Он выскочил из-за угла риги, растолкал мужиков, подступил вплотную к Никите Гурьянову. – А ты, Никита Семеныч, – заговорил он ласково, поправляя пояс на штанах Никиты, – не так ты. Ты зубами вцепись в молотилку... Ты зубастый.

Гам оборвался.

– Пра, зубами, Никита Семеныч... Ее, проклятую, руками-то не удержишь.

Никита согнул голову, словно на него неожиданно навалили пятерик с мукой, – посмотрел сначала в ноги Митьке, на его истрепанные лаптишки, потом перевел глаза

на вихрастую голову, на жиденскую бороденку и, задирая брови, впился злыми глазами. Митька, сдерживая дрожь, улыбаясь, играя оторванной заплаткой на рубашке, цедил:

– Крепче. Зубами-то крепче будет. Пра.

– Ты! Собака! Рожа-то поджила у тебя? Цела рожа-то, а? – Никита оторвался от молотилки и, весь красный, выставив вперед кулаки, пошел на Митьку.

– Уй! Какой горячий... – Митька метнулся за мужиков, выхватил из стога тройчатку-вилы со светлыми острыми зубьями. – А ну-ка, тронь... Как барана, поддену...

А ну-ка, ударь! – выкрикивал он, шныряя среди мужиков.

Никита, не замечая ни вил, ни того, что мужики открыли с ним игру, попер на Митьку. Мужики давали ему дорогу, ловили Митьку, показывали Никите, как псу зайца, но, как только Никита приближался, Митьку выпускали из рук, и через миг его взлохмаченная голова уже мелькала в другом конце.

Мужики поддавали:

– Вот пес...

– Лядащий, а сила...

– Как оголец: скользит...

– Никита! Никита Семеныч! Вот он, бери...

Никита уже давно заметил, что мужики издеваются над ним, но, сознавая это, он, рыча, продолжал гоняться за Митькой, злясь уже больше на себя за то, что сделал непоправимую глупость. Под конец он совсем пришел в бешенство, стал как вкопанный, закричал, напирая на мужиков:

– Вы что озоруете, а? В толпе кто-то завыл:

– Эй, гляди... в клочья разорвет!

– Вяжи, вяжи его...

– Ты не дерись...

– Эх, кусается пес...

Сдержанный смех смолк. Николай воспользовался суматохой, пустил трактор. Трактор подпрыгнул, заревел, молотилка дрогнула, качнулась и поплыла за трактором, как большая разукрашенная ладья.

– Во-от как! – Никита метнулся и вновь вцепился в задок молотилки. – Не дам!

– Ого-го! – заржали в толпе.

– Упирайся, крепче упирайся!

– Ты, Никита, носом зацепись!

– Ломаю плетешок! – закричал Николай, направляя трактор на плетень гумна Чижика. – Ломаю дерьмо. Ах, жалко тебе дерьма такого?

И не успел Чижик кинуться к плетешку, как трактор тяжелыми колесами раздавил сухой хворост и перетащил молотилку.

– Судом пойду, судом, – пригрозил Никита.

Из-за риги выехал Степан Огнев и тихим шагом проехал там, где прошел трактор.

– Приехал... енерал, – бросил через плетень со своего гумна Пахом Пчелкин. – Баил я, баил, будет вам беда от машины, – он переложил цеп с одной руки на другую и потряс им над головой. – Вот цепом бы вас всех по башкам... И Митька к ним полез... Митька! – закричал он карабкающемуся на кладь Митьке. – Ты чего, голь бесштанная, к ним забрался? А? Вот огреть тебя, огреть, бай. Всех он вас затянул... всех... стрекулист этот, комиссаришка... Всех...

– Митька! – цыкнул Никита, и всем показалось, что он свистнул. – Митька! Подь!

Митька сжался и прыгнул с кладки, пошел с гумна за Никитой, что-то объясняя ему, лебезя, вертясь на ножках в самотканых штанах.

– Утек кутек, – кинул ему вдогонку Николай Пырякин. – Эй, приступай!.. Нечего время терять, бока почесывать. Воюй!

3

На гумне Чижика все были в сборе. Трактор, надрываясь хрипотой, шел вхолостую. Молотилка стояла наготове, разинув рот, дожидаясь первой охапки пшеницы. На макушке кладки маячил Яшка. Стеша стояла на подмостках у молотилки, рядом с ней Катя Пырякина. Катя перевязала рот платком, опустила косынку ниже на лоб. Из-под косынки на Сергея глянули черные, в блеске, как сливы, глаза.

У Кати еще совсем молодые, чуть закругленные выступы бедер, упругие, мускулистые, загорелые, точно выточенные из крепкого дуба ноги...

«И как это они стоят на работе вместе? – вдруг спохватился Сергей, припоминая утро, когда с Аннушкой шел на «Бруски». – Неужели Стешка не знает? А Катя действительно красивая...»

– Сережа! Сереженька! – перебила его мысли Стеша. – Сюда! К нам иди.

Она заметила, что Сергей хочет работать, и боялась, как бы мужики не загнали его туда, где он не выдержит, с его белыми руками.

– Ишь чего захотел, – засмеялся Яшка, – на бабью работу. Айда сюда вот... со мной...

– Кишка не выдержит, – прохрипел, широко разевая рот, Шлётка.

– Это у тебя она нигде не держит: худая... Цепляйся, Сергей Степаныч! – Яшка протянул Сергею черенок вил.

Сергей знал, что на него сейчас все смотрят, и от того, как он поступит, как сделает, – будет зависеть и то, чего он добивался. Он посмотрел на Яшку, вспомнил, как маленьким лазил по срубам, чуть отступил, разбежался – и мигом, царапая себе в кровь руки, взлетел на кладь.

– Эх! – крикнул кто-то. – Вот это да...

– Вот те комиссар!

У Сергея по телу пробежала легкая дрожь. Он посмотрел на Катю. Катя отдернула платок: из-под платка показался улыбающийся рот, тонкие, упругие губы, напомнившие ему надрез на незрелой груше.

«Добрая баба... ласковая... таких мужики любят...» – залюбовался он ею и нахмурился, уже сознавая, что она ему нравится.

– Ну, молодец, вот молодец, – загоготала, входя на гумно, Анчурка Кудеярова. – Вон откуда увидела. Иду, гляжу – ба! Кто это, мол, как кошка?

Сергей заторопил Яшку:

– Начинать давайте.

– Начинать? Не наше дело. Вон хозяин. Коля, скоро?

Николай Пырякин взглянул на Яшку.

– Аль неможется? – и пустил трактор.

Молотилка зашевелила колесиками, застучала ситами, побежали погоны, засвистели, и вдруг все загремело, запрыгало. Молотилка выдохнула соломенную пыль.

Первый сноп свил Яшки кувырнулся в воздухе и, как человек с крыши, хрястнулся на подмости. Катя резанула серпом соломенный жгут, двинула Стеше, ловя следующий, а Стеша взмахом руки толкнула распоясанный сноп в пасть молотилки, словно в прожорливую пасть зверя.

Сергей поднял сноп. Руки у него дрожали. Изловчился, хотел так же мастерски, как и Яшка, уложить сноп рядом с Катей, но промахнулся: сноп упал не плашмя, а комлем вниз, ударив Катю колосьями в лицо.

– Спасибо! Угостил! – игриво засмеялась она.

– Фу, черт! – проворчал Сергей, бросая второй сноп, укладывая его рядом со снопом Яшки.

– Вот ладно, – отозвалась Катя.

...Когда прошли второй ряд кладки, Сергей уже не следил за полетом снопов: снопы падали плашмя на подмости, ложились рядками и быстро пожирались молотилкой. Молотилка работала ловко. Она подгоняла людей. Люди еле успевали убирать солому, зерно, отгружать мякину. И Сергей с кладки видел, что все они – неотъемлемая часть машины, и даже Шлётка, всегда ленивый, здесь торопливо подставлял мешки для зерна. Машина всех подгоняла, заставляя делать все вовремя, и казалось – остановись кто-нибудь один, он задержит всех, нарушит весь производственный процесс. С кладки Сергею были видны и соседние гумна. На гумнах кое-где в кругу бегали лошади, а рядом за ветхим плетешком Пахом Пчелкин с вдовой Дуней стучали цепями. Глядя на гумна, на цепи, Сергей радостно подумал: «Вот через артель сюда, в деревню, уже пришел город. А там, на гумнах, в кругу, еще первобытная деревня». И он невольно рассмеялся, вспомнив, как перед его отъездом в Широкий Буерак на диспуте «О путях крестьянского хозяйства» выступил ряд агрономов, доказывая выгоду вола по сравнению с трактором. Сергей в своем выступлении назвал их «представителями бычачьего социализма».

«Да, надо ожидать большого боя», – подумал он и еще раз посмотрел на Пахома.

– Эх, приударь... Эх-ма! – Пахом вскидывал над головой цеп, но сил хватало только на взмах: на сноп цеп ложился вяло, скользя по колосьям. – Ты чего плохо? – журил Пахом Дуню. – Я все, один все. А ты, милая, сплеча бей... не бойсь... не расколешь.

– Пахом, дед ты мой ненаглядный, – дразнил Яшка, – золотой ты мой, прикрашенный, давай машиной... за полчаса ведь свободный будешь... Сколько у тебя? Десять телег?.. Ну, давай сейчас – и гуляй барином.

– Ну тебя! – отмахнулся дед. – Орешь не знай что. Давай, давай, Дуня, лупи! Э-эх-ма...

Все это приподнимало настроение у Сергея. Он работал быстро. Быстрее, чем Яшка, вскидывал снопы, укладывал их около Кати мягко, нежно, бесшумно. Яшка же работал медленно, не торопясь, перекидывался шутками с артельщиками, дурил со Стешей, бросая сноп на подмости не рядом с Катей, а в руки Стеше. Стеша вскидывала на него зеленоватые глаза, смеялась, а Яшка, подмигивая Кате, травил дедушку Пахома, издеваясь над ним. Его медлительность, шутки и подмигивания начали раздражать Сергея. Сергею хотелось, как это часто с ним бывало на работе, чтобы все крутилось, буйствовало, пело. Он был рад тому, что машина шла без перебоя. И когда с трактора слетел погон, а молотилка и люди замерли на месте, он нахмурился, хотел что-то крикнуть Николаю, но, глянув вниз, увидел: все, глубоко вздохнув, заговорили, присели, где кто стоял.

– Сережа, Сережа, – прислонясь грудью к клади, позвала его Стеша. – Уморился? Может, молока тебе привести?

Сергей вспыхнул:

– Ну, что ты! Зачем?

– Сергей Степаныч, как, мил друг, дела? – спросил Чижик, ласково улыбаясь. – Они, снопики, тяжелы...

– Ничего. Хорошо... Давно не работал, – ответил Сергей.

– Гожа молотит, – продолжал Чижик, хваля машину. – За два часа, гляди, что наворотили. Это на лошадях – день бы протоптался. Вот погон только у их... того... гниловат... Рвется. Да вон опять пошли.

Завыл трактор, молотилка дрогнула, все повскакали с мест и вновь приросли, сделались неотъемлемой частью машины.

Кладь низилась...

И тут, когда машина доедала восьмой ряд клади, Сергей почувствовал, что у него в плече появилась зудящая боль; она быстро перешла к локтевому сгибу, и рука неожиданно одеревенела.

«Что такое? – подумал он. – А, пустяки!» – и продолжал кидать снопы. Но боль усилилась, и снопы уже не кувыркались в воздухе, а чаще скользили по клади, ныряя на подмости.

Катя посмотрела на Сергея, улыбнулась.

«Заметила. Но что ж с рукой-то? Взять вилы в левую... Нет, нет. Так нельзя. Так работают женщины», – решил он, но руку начало ломить так, точно Сергей несколько

часов подряд держал на ней двухпудовую гиру. Он перекинул черенок вил в левую руку и тут же снова вспомнил, что так работают бабы и что если мужики увидят, то и этого будет достаточно для издевок. Он перекинул вилы снова в правую руку. Правая совсем не действовала: снопы, скользя, не долетали даже до подмостков, а тыкались колосьями в землю около клады.

Это было уже совсем неладно, и Сергей решил действовать левой рукой.

«Лучше бы, конечно, передохнуть», – подумал он и тут же решил, что если он остановится, то задержит всех.

А Яшка работал так же медленно, с прохладцей, и снопы у него ложились хорошо. Он балагурил с молотильщиками, даже вызвал на разговор, с дальнего гумна, Маркела Быкова. Маркел поднялся на плетень и, придерживая пальцами грыжу в паху, кричал:

– Когда ко мне-то? У меня-то когда молотить будете?.. Я вот маненько помну лошадям на посыпку, а там машиной...

– Когда Волга в обратную потечет.

– Нет, ты не шали, Яша, не шали... Степан Харитоныч, баил, мне будете молотить.

– Ну, жди... дождешься – ладно... Вот после деда Пахома к тебе...

– У деда, – огрызнулся Пахом, – будешь молотить, когда мерин ожеребится... Вот!

С Сергея уже перестал лить пот. Обдавал сухой ветер, неслась гарь от трактора, хотелось пить, и Сергей почувствовал, что он сделался сухим, высох, как завалящая в лавчонке вобла. И тут он подумал: «Как было бы хорошо, если бы машина остановилась, чтобы с машины хотя бы слетел погон. Нет, чтобы что-нибудь сломалось, тогда Сергей непременно бы спрыгнул с клады, напился бы, а может быть, успел бы сбежать домой и поесть. Ведь он не обедал со всеми в двенадцать часов. Он позавтракал в восемь утра, а обедать намеревался, как всегда, в пять вечера.

Но молотилка работала так же легко, так же быстро вертелись колесики, стучали сита, визжал погон, и урчал трактор, как сытый, вскормленный хряк.

И вдруг у Сергея заломило в пояснице, затем задрожали ноги, и он подумал, что может поскользнуться и полететь с клады: ноги уже не держались так цепко за скользкую солому, как вначале. И, бросая снопы, он стиснул зубы. Пыльное лицо его сжалось, стало сердитым.

Стеша посмотрела на него. По ее глазам было видно, что она понимает его и в то же время не может поощрить, чтобы он сейчас же бросил вилы и ушел домой. Но Сергею неудержимо хотелось сделать именно так: воткнуть вилы в снопы, спрыгнуть с кладки, сбежать на реку Алай, выкупаться в прохладной воде, потом – домой: там мать достанет из погреба кислое молоко, подаст пирог – белый, с золой на нижней корке...

Машина икнула, засвистела...

– Стеша, Стеша. Подавай ровнее! – закричал Николай.

Да, это Стеша загляделась на Сергея и не успела, а может быть, просто не захотела подать сноп в молотилку, оттого молотилка и завывала, словно голодный зверь, которого только подразнили мясом... Может быть, Стеша думала... Но у Сергея одеревенели плечи так, точно их кто-то железными скрепами стянул на лопатках, во рту стало совсем сухо, а в животе что-то ворчалось, вызывая тошноту. И он

глазами начал искать среди мужиков того, кто незаметно помог бы ему, освободил бы его хотя бы на пять-десять минут, чтобы передохнуть. И не находил такого человека. Степан вначале работал на конце тока – метал стога, чинил погон, петом сел на меринка и уехал на «Бруски», а все остальные были прикованы к своему делу и в работе совсем забыли о том, что на кледи рядом с Яшкой работает Сергей.

И он безумно обрадовался, когда на гумно вошел Захар Катаев.

– Захар Вавилыч, ноги подкашиваются, – поманив Захара, шепнул он. – Пошел сюда, не поел. Подвело все... Чую, не выдержу... Выручай.

– С непривычки, конечно, трудновато, – как-то совсем не обижая Сергея, проговорил Захар и громче, намеренно, чтобы все услышали, сказал: – Там, Сергей Степаныч, из волости приехали, тебя спрашивают. Поди-ка, я тут малость покидаю... Сроду на машине не работал... Дай-ка попробую...

Сергей спрыгнул с кледи, покачнулся и, будто защищаясь от сильной бури, согнувшись, пошел с гумна травной дорогой, провожаемый урчаньем трактора и завываньем молотилки.

«Нарвался, вот нарвался, – думал он, косо, невпопад тыкая ногами, чувствуя, что у него как-то отяжелел зад. – А-а-а, – засмеялся он, – вот отчего у мужиков зад тяжел: ноги не двигаются», – и, чтобы передохнуть, прислонился к плетню, посмотрел на Катю Пырякину, затем на гумно, где дедушка Пахом молотил цепом снопы.

– Э-ых! – взвыл Пахом, прикрывая голову ладонью, глядя на то, как цеп взвился и поблескивая на солнце, брякнулся у риги. – Вот те и дела, – проворчал он, подбирая цеп и приставляя к черенку. – Яша, нет ли ремешка?

– Есть. Только дай срок – домолотим.

– А сейчас?

– Сейчас никак нельзя. Брошу – все остановится. Ты погодь малость... отдохни. Пускай Дуня одна... ее такое вдовье дело, а ты погоди, отдохни малость.

Дедушка Пахом, прислонясь к плетню, посмотрел на молотилку. Он только теперь заметил, с какой быстротой она глотала снопы. И на лбу у него собрались глубокие морщинки.

– Ну, жрет, – сказал он.

Кладь низилась. Захар и Яшка добирали последний ряд. Вот и последний сноп хлопнулся с подмостков, нырнул в пасть молотилки, и... молотилка пошла вхолостую.

Яшка через плетешок поддел вилами сноп с копешки Пахома.

– Дедок... давай, мигом.

И не дожидаясь согласия Пахома, он перекинул сноп на подмости. Катя резанула пояс снопа, и молотилка проглотила его. Пахом кинулся на Яшку, на Захара, хотел вырвать у них вилы. Ведь он еще не сторговался, а сколько возьмут?.. Может, половина хлеба уйдет за молотьбу. Тогда... тогда Пахом сам, как-нибудь сам смолотит, на ладони все колосики обобьет... А может, прокоптится хлеб? Он топтался на месте, что-то кричал в гуле трактора и завывании молотилки. Мужики знали, что он против машины, что Яшка неожиданно подцепил его, и старались не слушать Пахома, не обращать на него внимания, делали все быстро, ураганом сметая копешку... И

Пахом сдался: он опустил на ворох мякины, держа обеими руками голову, точно боясь, что она расколется.

... Не прошло и тридцати минут, как мужики подхватили молотилку и двинули ее к другим копнам.

– Расхотели? – забеспокоился Пахом. – Чего расхотели? Яша! Ты что? Раз уж начали – кончай, кончай уж...

– Кончили! – крикнул ему на ухо Яшка.

– Как кончили?.. Зачем кончили?

Пахом метнулся за стог соломы и остановился, разводя руками: на месте копешки зияла приглаженная плешь земли, на пролежнях виднелись мышинные гнезда, в гнездах пищали мышата.

– Завелись уж, – смущенно проговорил он, кувыряя голый ногой мышат.

4

Прикладывая ладонь к глазам, Егор Степанович часто всматривался в работу молотилки. Его удивляло, что она слишком быстро переползала с одного конца гумна на другой. Вот совсем недавно она громыхала на гумне Чижика, а сегодня она уже гремит где-то в Заовражном, быстро съедая клады хлеба, превращая их в шелковистую солому. И какие-то несурзные мысли залезали в голову Егора Степановича. Он над ними тихо смеялся, чтобы показать самому себе, будто вовсе не боится их. Он видел, как грузовик стаскивал хлеб мужиков на одно гумно и этим стирал, нарушал грань между «своим» и «чужим».

– Вот, – ворчал Егор Степанович, – так и затянут. Оглянуться, дураки, не успеют, как там будут... На одно гумно молотить, а оно одно-то... – не договаривал, боясь, как бы и вправду не случилось то несурзное, что назойливо лезло в голову.

Но в то же время он понимал, что смехом это несурзное не зальешь, как не зальешь кружкой воды разбушевавшийся пожар. Теперь Егору Степановичу даже совсем не страшен стал Степан Огнев. Наоборот, он стал казаться простым, тихим, как и все, но гул молотилки, гул двух тракторов на широковских полях тревожил Егора Степановича. Бывает: крестьянин сидит во время пожара на крыше своей избы и держит в руках ведро с водой в ожидании, что огонь непременно перекинется и на его хату, проглотит ее. Так и Егор Степанович смотрел на работу машины и сгибался под тяжестью непонятного ему страха, шмыгал в калитку, стараясь больше не думать о молотилке, о тракторах, ругался с курами, с Клуней, заводил перебранку через плетень со Стешей, с маленькой Аннушкой.

– Ты, выродка! – шипел он на Аннушку. – Чего у плетня возишься? Еще подожгешь... Нонче бабы с твоих лет на курево.

– Малахольный! – кричала Аннушка. – Дед Бледный!

И Егор Степанович злился на Стешу, на Аннушку, на Клуню, главным образом за то, что вот его двор перерезали плетнем, что половина его собственного дома принадлежит теперь не ему, а Яшке. И когда он слышал, что Яшка думает свою

половину дома отбить и перевезти на «Бруски», то долго смеялся мелким захлебывающимся смехом: не верил ни Яшке, ни тихому стону Клуни. Но теперь и этому начинал постепенно верить. Верить не потому, что Степан подбивает Яшку, не потому, что Иван Штыркин уже перенес свою избу на «Бруски», и не потому, что на «Брусках» золотятся на солнце две новые сосновые конюшни, и даже не потому, что старый барский дом засветился беленькими новыми рамами, – а потому, что Степан Огнев в село приволок такую силу, перед которой все ломается, как под ногой коня сухой прут. Сила эта – железо...

«Увезут... увезут, – сидя под сараем на своем любимом чурбаке, думал Чухляв и, представляя себе однобокую избу, пустырь на половине своего двора, корчился, сдерживался, чтобы не закричать громко на все село. – Тела ведь кусок... мяса живого... с мясом, с костями оторвут, и слова не скажи, – и, нащупав под собой край чурбака, жаловался, как другу: – Вот только ты и останешься... родной... Может, с тобой еще поживем...»

А совсем недавно случилось что-то непонятное. В субботу вечером (хорошо, что это случилось поздним вечером) он мылся в бане на берегу Алая. Клуня вымылась скорее, чем он, и ушла, а он долго парился, потом вышел в предбанник, надел рубашку и никак не мог сыскать штаны. Помнил, что повесил их на перекладину, когда раздевался, но теперь их там не было, и Егор Степанович разозлился.

– Та, чай, грыжа утащила. Ходит – земли не чувствует, – ругнул он Клуню и долго выглядывал из предбанника, поджидая, что Клуня спохватится и принесет ему штаны.

Клуня так и не пришла. Тогда Егор Степанович одернул рубашку, стараясь прикрыть неудобное место, и, сожалея, что рубашка коротка, сторбленный, прошмыгнул через улицу. В избе накинута на Клуню:

– Зачем штаны утащила?.. Вместе с сынком, что ль, договорились, чтобы без порток меня пустить?

– Что ты, старик? Вон они – на руке у тебя висят.

В самом деле, штаны висели на согнутой руке Егора Степановича – так он с ними пробежал и улицей. Было это похоже на смешной анекдот, но это было именно так, и Егор Степанович, перепугавшись, решил превратить все это в шутку:

– Шучу я, – сказал он, натягивая штаны на тощие, безволосые, цвета воска, ноги. – Раз новое время – вот и я пример показываю: без штанов по улице. Хе-хе... – и тут же сжался, думая: «А ведь это ум за разум зашел... Так и сколупнуться можно враз».

И все-таки старался не падать на карачки, не ползти на четвереньках и не просить милости у тех, кого считал голяками, кого когда-то на руках носил, из-под кого вынимал мокрые пеленки, развешивал на солнышке. Вставал с чурбака, отодвигая его все дальше и дальше в угол сарая, шел в избу, садился за стол, раскладывал на коленях библию, гнусаво тянул псалмы Давида, а вечером торчал на гумне, осматривая скирды пшеницы, соображая:

«Вот этой самой молотилкой смахнут хлеб, тогда делов на селе не будет, лошади освободятся, тогда за гривенник в день пойдут ко мне молотить», – и радовался, предчувствуя дешевизну рабочих рук...

Поэтому его сегодня и видели на конце Кривой улицы. Кособочась, он миновал

кооперативную лавку и, повстречав кое-кого из лошадиников, тех, кому хлеб уже смолотили машиной, так, сторонкой, набрел на разговор о молотье своего хлеба... и сорвался: все просили с него раза в три дороже, чем артельщики брали за молотье машиной... И здесь Егор Степанович увидел ту силу, какую приволок Степан из города, – но не сдался, решил пообжидать. Вечером, когда Гурьяновы, Быковы, Плакущевы и все, кому артельщики наотрез отказались молотить хлеб, разводили с гумен усталых коней по дворам, он возился у себя на гумне, перекладывая с места на место снопы: любил, когда у него на гумне снопов было много. И, перекладывая, пряча колосики от воробья, ворчал:

– Какая птица... маленькая, а колосик сквозь растреплет... Мерзавка.

– Егор Степанович! Слово хочу сказать.

Егор Степанович вздрогнул. За плетнем стояла Клуня.

– А, чтоб тебя! Что ты, как кошка? Ну, говори. Может, раз в жизни умное слово услышу.

– Сегодня, бают, – начала Клуня, глотая слова, – трактором, бают, двести телег убрали...

– Ври?! – неожиданно вырвалось у него.

– Пра, – встрепенулась Клуня, – сама ходила, глядела. Ометы наметали страх какие... И Яшутка...

– Ну и что же?

– И нам бы. А то дождь, аль что, – робко предложила Клуня.

– Во-она чего захотела! У двора без дела сидеть. Ишь – птица! Вали-ка домой... Завтра на работу... Найму вон лошадей.

Жметя Клуня, хочется ей раз в жизни, так, по-дружески, поговорить с Егором, – слов на такой разговор не подберет... Сюда шла – были слова теплые, ласковые, такие же, как в девичью пору. А тут Егор распугал, как стаю галок с гумна, ласковые слова, остались всегдашняя скорбь и горечь.

– Ну, чего стоишь, ровно спутанная? Ступай, говорю. И пошла... в сумерках, переулком.

На улице у самого двора стоит Груша – чистенькая, беленькая, и платье на ней клетчатое, а перед Клуней своя жизнь: летом Клуня – снопы убирает, молотит, пироги печет, за коровами ходит, зимой – те же коровы, те же пироги, да еще на цыпочках перед Егором Степановичем стой, ублажай... А Груша чистенькая, беленькая... И сама не помнит, как заговорила с Грушей:

– Здравствуй, сваха. Что это ты нынче в наряде? – подошла, рукой воротник Грушиного платья пощупала.

– Здравствуй, сваха, – ответила Груша. – Да что нам? Мы, артельные бабы, отмаялись: не молотим, не жнем теперь, а так, помощь только маленькую делаем. Трактор за нас отдувается.

– У-у-у, – Клуня поджала губы.

– Ух, что это я? Иди-ка в избу, иди.

– Боюсь, матушка: узнает, из дому выгонит.

– Выгнал он так одну. А ты – иди.

И силой втянула Груша Клуню к себе в избу.

– Хотим вот в осень совсем из села... Помолотимся, тогда строиться начнем. На «Брусках».

– Дико будет.

– А ты вот в селе – не дико тебе? Он, Егор-то Степанович, при народе аль где – все бирюк...

Пили чай. Клуня тихо, осторожно ставила стакан на блюдце. Груша наливала в стакан рыжий чай, говорила: – Упрямыстый он у тебя мужик... упрямыстый... а бестолковый. Ты на меня, сваха, в обиде не будь, говорю я так... А то я тебе скажу, будто снова жить я начала, по-другому только, и все мы, бабы, будто воздухомдохнули... Вот раньше – и свет кругом был и воздух, а глядеть-то мы не глядели, дышать-то не дышали... И он, Егор Степаныч, что один делать-то будет?.. Шел бы.

Ниже склонилась Клуня над блюдцем, не перечила, но молчала, думала об Егоре Степановиче, об его криках по ночам, о пении псалмов, о столах под сараем...

Егор же Степанович, как скрылась Клуня из виду, невольно прошептал:

– Оно, конечно, гоже бы, пожалуй, и машиной катнуть, не возись две недели: за день убрался. Да и то, – глубоко вздохнул он. – Как это подойти-то?..

Долго думал, перекладывал снопики, а со снопиками и свои мысли. Над гумном прошмыгнули совы, а Егор Степанович все перекладывал снопики, укрывал колосики, обход искал.

Во тьме переулка задвигалась фигура.

«Видно, опять эта изжога идет?» – обозлился он, думая, что идет Клуня. Нагнулся, пристально всмотрелся.

Глаза у Егора Степановича ночью не хуже совиных: видит – идет по дороге Степан Огнев, несет под мышкой погон.

«Для машины, видно, несет...» – мелькнуло у Чухлява, и тут же он позвал:

– Степан Харитоныч, сватик! – Перескочил через плетень на дорогу. – Молотите, слышь, и день и ночь?

– Молотим, молотим. Чухляв прошел рядом со Степаном несколько сажен.

– Степан Харитоныч, мил человек, не сходнее вам будет у одного хозяина убрать телег сто... а может, и больше... чем кучечками-то, по телегам?

– Конечно, сходнее. С одним хозяином дело имей... Да ведь где такого мы хозяина найдем?

– А у меня. Степан остановился, на Чухлява удивленно посмотрел, даже чуточку растерялся:

– Да ты это... того, значит... Смех на весь округ три года назад пустил кто? Да и вообще... Вот видишь ли.

Егор Степанович, живучи на веку, повертишься и на ж... и на боку.

– Во-он что-о, – протянул Степан, оправляясь от первого впечатления. – Ну, что ж, поговорю с ребятами... Да не знай, как... Навонял ты лишков... теперь и самому не по носу...

– К чему говорить-то? – Чухляв заторопился. – Чай, кто у вас хозяин? Ты – хозяин.

– Кто хозяин? Все – хозяин.

И, перекинув через плечо погон, Степан торопливо зашагал на гумно, где урчал трактор и ори свете фонарей мелькали молотильщики.

Егор Степанович долго смотрел ему вслед, прислушивался к завыванию молотилки и вновь, как и утром, как и все эти дни, почувствовал на себе тяжесть страха, ползущего на него со всех сторон. Он согнулся и, ровно боясь, что вот сейчас кто-нибудь появится из-за риги, вскочит ему на горб и начнет колотить по седой голове, – побежал узкой дорожкой к себе во двор.

А наутро умер Егор Степанович.

Еще ночью он сдавленно кричал, вспоминая о барине Сутягине, крыл его самыми похабными словами, шептал о золотых столбушках, скрипел зубами, отплевывался. Но это у него уже давно вошло в привычку, и Клуня в эту ночь, вытираясь от плевков, ушла с кровати и легла на сундук. Утром она поднялась до зари, затопила печь, готовя Егору Степановичу любимые лепешки. Вскоре после нее проснулся и Егор Степанович. Он долго шептал молитвы, затем слазил в погреб, достал пару лещиков, сказал:

– Рыбки что-то захотелось... Свари-ка... Крысы, пес их возьми, в погребе завелись... Ты, как на досуге, керосином в дырки полей и зажги. Вот крысы и пропадут.

Клуня потом передавала:

– Сказал так ласково, сердечно, сроду так и не говорил. Видно, душа-то у него чуяла. А мне доски в ту ночь приснились.

Сварив рыбу, она вместе с лепешками подала ее на стол, сама ушла в кухоньку: надо было выгрести золу из печки, посадить пироги. В это время Егор Степанович крякнул за столом, потом закашлял, захрипел.

Клуня позвала:

– Отец, чего это ты там?

Егор Степанович не отозвался. Клуня заторопилась. От тревоги руки у нее дрогнули – тесто с лопаты свалилось на шесток в золу. Боясь, что сейчас в кухню войдет Егор Степанович и увидит ее оплошку, она сгрудила вместе с золой тесто и сунула в печь. А когда вышла из кухоньки, то увидела: Егор Степанович, скорчившись, почерневший, глядя прямо мутными, подзольного цвета глазами, разиня рот, сидел в углу и, казалось, намеревался что-то крикнуть.

– Отец! Батюшки! А ты не балуй! Не пугай, Христа ради! – со стоном произнесла она.

Егор Степанович даже не мигнул, и Клуня не закричала, не охнула, – ровно боясь расколоть что-то стеклянное, тихо опустила у порога и, глядя в мутные глаза Егора Степановича, в разинутый рот с пеной на губе, проговорила:

– Помер.

Весть о смерти Егора Степановича быстро разнеслась по селу. Широковцы привалили к его двору, уставились на врача и, когда узнали, что Егор Степанович подавился рыбьей костью, быстро разошлись. В избе остались родные да дед Катай и дедушка Максим Федунцов – он так и не получил зажиленной Егором Степановичем полтины, о чем шепотом жаловался Катаю.

Клуня, растерянная, молчаливая, ходила из угла в угол, иногда, останавливаясь где-нибудь во дворе, долго смотрела себе в ноги, потом, выпрямившись, тихо шептала:

– Помер... Помер... батюшка, мученик... беспокойник... Помер... – и снова сгибала голову, ходила, смотрела вниз, словно что-то потеряла.

Яшка суетился. Он случайно за образами в отцовской половине избы нашел сверток бумаги, пузырек с фуксином. На бумаге намалеваны были почти такие же фигуры, как и тогда на плакате у церковной ограды.

«Он, Железный, намалевал», – догадался Яшка и, не желая, чтоб об этом сейчас же узнали все, спрятал бумагу. Затем съездил в Алай на базар, закупил курагу, рис, сушеную грушу, мясо (не хотел отца провожать без поминок) и, вернувшись, заметил, как, оцепенев и опустив голову, бродит по двору мать.

– Гляди-ка, матушка-то, – шепнул он Стеше: – Словно лошадь, сроду в хомуте ходила... Теперь хомут сняли, и неловко вроде ей стало: голову повесила.

– Ты дров приготовь, Яша, – попросила Стеша.

Яшка ушел под сарай. Достал колун и, заметив в углу любимый чурбачок Егора Степановича, выкатил его на свет, поставил на попа, проговорил:

– Ну, теперь на тебе сидеть некому. Сжечь тебя.

Со всего плеча колуном саданул по чурбаку – и обалдел: в чурбаке что-то звякнуло. Развалясь на две половинки, чурбачок выхаркнул на навозную землю груды золотых монет царской чеканки.

Яшка, сдерживая дрожь, протирая глаза, прошептал:

– А-а, вот он где их спрятал... – и заторопился: за сараем у плетня заколебалась тень, послышались шаги. Яшка со всего размаха сел на желтяки.

Под сарай вошел Плакущев, пристально глянул на расколотый чурбак, улыбнулся:

– Что, отцовский трон брякнул? Конечно, ни к чему он теперь... – И медленным шагом, твердо ступая, пересек двор; скрипя приступками, скрылся в избе.

В избе, в переднем углу, в половине Яшки (перегородку убрали, от чего стало светлее) лежал Егор Степанович, обмытый, причесанный, покрытый суровым, холстом. Длинными ногтями на ногах он вздернул полотно.

Илья Максимович сел рядом, посмотрел ему в лицо и с грустью проговорил:

– И жил чудно и умер чудно...

1

Седые туманы ползали по долам и оврагам, путаясь лохмотьями в верхушках оголенных лип. Волга посерела в холоде, закудрявилась белыми, пенистыми гребнями волн. Сыпал мелкий дождь. Под дождем мокли, коробились, зеленея мхом, деревянные крыши, слизью покрывались остатки печей и хлам на пустырях в Кривой улице. Пустыри зияли между крепко осевшими на землю сараями, избами. Семьдесят три двора ушли на «Бруски», обезобразив Широкий Буерак.

Потом неожиданно выпал снег. Снег лег на землю, как сахар на огромный черный пряник, смешался с грязью, – дорога, улица, поле покрылись вязкой кашцей. Обычно в такие дни в улицах Широкого, кроме голодного пса, вряд ли кого можно встретить. В такие дни широковцы забиваются в избы, в землянки, под сарай, чинят сбрую, готовятся к санному пути и зимнему безделью.

В такие дни они живут, точно на островах, каждый у себя во дворе, изредка через плетень перекликаясь с соседом, спрашивая о новостях. А в эту осень, несмотря на слякоть и грязь, стравивая с бород капельки дождя и снега они кучились в сельсовете, в избах своих вожаков.

Вздуроражило их то, что в центральной газете появилась статья Сергея Огнева. В статье упоминались Широкий Буерак, «Бруски», Чижик, Захар Катаев, Епиха Чанцев, Илья Гурьянов. Сергей доказывал неизбежность быстрого перехода от индивидуального хозяйства к коллективному, причем такое заключение он делал, целиком основываясь на экономике крестьянского двора.

И дискуссия быстро разрослась, пошла через печать, через радио – сначала в Москве, в центре, потом перекинулась на фабрики, заводы, в областные, окружные города, в районы, села, деревни... В Широкий Буерак хлынули представители центра, области, округа, слали письма в сельсовет, на имя Степана Огнева, Ильи Гурьянова... и Широкое вздыбилось, треснуло, как переспелая дыня: по одну сторону сгрудились те, кто тянулся к «Брускам», – партия Захара Катаева, артельщики, по другую – во главе с Ильей Гурьяновым, рядом с Плакущевым – сторонники лозунга «через отруба – к коммуне». Илья Гурьянов, вырвав первенство у Плакущева, носился по селу, наскакивая на своих противников, как коршун на голубей, сминал, втапывал, вгонял мужиков в их старое русло...

И тут, когда Илья Гурьянов, приобретя гордую осанку, собирался тронуться в Москву, чтобы там выступить в защиту своей линии, первенство неожиданно снова перешло к Плакущеву. Илья Максимович лозунг «через отруба – к коммуне» обрубил с обеих сторон, затеряв где-то коммуну, оставив «отруба».

– На своей земле ты себе хозяин, – говорил он просто. – А там чего будет – коммуна али еще какой земляной рай?.. Я, чай, так думаю: мы не доживем, а костям нашим где ни гнить – все одно – гнить.

За Плакущевым от Ильи хлынули сильные, бородатые. Потирая руки, сладко жмурясь в ожидании своего участка, они напали на тех, кто остался около Ильи, на группу Захара Катаева, вырвав у него несколько семей. С этого дня бой потерял свою крикливость, с улицы перешел в избы, за стол, на полати... и с особой силой

развернулся в семье Никиты Гурьянова...

Тихий Фома, глядя в угол на иконы, скрывая на желтоватом лице улыбку, тянул:

– Вы в Христа верите? Ты вон, тятя, иной раз готов лоб перед иконами разбить, особо беда ежели какая.

– Ну и что жа? – ощетинясь бородой и бровями, строго вопрошал Никита. – Ну и что жа? А ты вот и лоб не перекрестишь.

– «Что жа?» А Христос велел сообща жить. Живете вы? Вы и Христа давно поделили.

– Суму тебе на плечо повесить да под окнами ходить, христосик! – ошарашивал Фому Илья. – Нам государство надо строить, а не христову молитву. А вы все за Христа держитесь да за Плакущева – ноги ему лижете... Лизуны!

Никита срывался с лавки, забирался на полати, оттуда бросал:

– Смолчать вам! Всем смолчать! Кто хозяин! Я хозяин. Илья-то Максимович что имел за плечами? Он старшиной был, участок имел. Вы вот сумейте-ка так прожить. Сумейте-ка...

– Имел, да имелку потерял... Хозяин! Участок! – дразнил Илья.

Мать лезла на полати к Никите, ворчала на сыновей, ворчала так, без злобы, желая успокоить Никиту, приглушить спор:

– Жили бы мирно, как мы вот с отцом... сроду чужого не брали.

– Насчет последнего-то и не бай, – тихо намекал Фома на то, как совсем недавно Никита из леса увез березняк Плакущева.

– Фомка! – гаркал Никита. – Ты чего! Читаешь все!.. Смотри у меня! Читарь!

И бой затягивался за полночь. Просыпались ребятишки, снохи, кричали в сенях телята, – на всех цыкал Никита, кутал голову в клетчатое одеяло, старался не слушать, а сыновья донимали, долбили. Иногда перед ним всплывал завод – с его грохотом, с вагонетками, Кирилл Ждаркин, Улька – разряженная, чистенькие квартирки рабочих.

«Вот ведь как живут!» – собирался он крикнуть сыновьям, но эти слова никак не вязались с тем, за что он держался: за свою землю, за отруб, за Плакущева, – и он кричал совсем другое:

– Архаровцы! Смолкнуть вам! Смолкнуть!

Но никто не молчал.

Плакущев тянул своих на бывшую землю совхозов. На эту же землю тянул своих и Илья Гурьянов. А Никита прибивался к Плакущеву и, видя, что в семье раскол, больше злился на Фому за его тихие разговоры о Христе.

– Поди ты с Христом-то... – раз бросил он и, перегнувшись, ушел под сарай, до вечера копался там, мастера сани.

Распиливая доску на задок саней, он опять вспомнил о заводе, о бондарном цехе, о вертящихся пилах. И что ни делал, как ни прикидывал свои думы, никак не мог их связать, словно перепрелую веревку.

В этот час к нему под сарай и вошел Плакущев. Никита удивился и насторожился:

Плакущев никогда у него во дворе не был. А Плакущев – весь какой-то расхлябанный, точно разбитый сноп, присел на сани, некоторое время молчал, как будто что-то припоминая, потом проговорил:

– Обдурили нас... Тихо обдурили.

Никита не знал, кто и как их обдурил, и, боясь спросить об этом, отвел глаза в угол сарая, где сидели и жались от холода куры, проговорил:

– Курам и то зябко, вот холод какой пошел.

После этих слов и ему и Плакущеву стало холодно и скучно. Крепко запахнув полы полушубков, они вышли за калитку.

– Степка Огнев обдурил, – сказал Плакущев и втянул голову в плечи.

2

Кто бы мог подумать, что Никита Гурьянов, проживший столько лет, как крот, в одиночку, сегодня пойдет по другой дорожке; что село треснет, рассыплется, и не в шутку, а всерьез в Широкое появятся три коллектива.

Верно, несколько дней тому назад радио у сельсовета прокричало:

«Совнарком утвердил пятилетний план!

– В течение пяти лет будет коллективизировано двадцать миллионов крестьянского населения!

– Строятся два мощных тракторных завода!»

Все это прокричало радио. Ну и что же? Мало ли что может прокричать эта черная труба? Мало ли о чем кричали раньше, а ведь Волга так и течет в Каспий, вспять она не тронулась? Да, а тут – видишь ты, что случилось... община треснула, рассыпалась... Мало того: смеются ведь. Третьему коллективу, в который вошли Плакущев, Гурьяновы, Быковы и прочие – все свои, – дали название «Необходимость». Плакущев намеревался было назвать «Красной звездой», а они назвали «Необходимость». Ну, что же? Может, это и так: силой потянуло, но зачем смеяться – вот вопрос? Назвали хоть бы так – «Неожиданность», что ль. Все бы не так ныло нутро, не казались бы все такими дураками.

А ведь это так и было – неожиданно.

В тот вечер, когда радио прокричало о пятилетке, только двое этому захлопали в ладоши – Степан Огнев и Захар Катаев. Они стояли в стороне от мужиков и громко смеялись. Ишь, маленькие! Смех им! Радость! Нашли, чему радоваться! Правда, дураку железку покажи – ему смех. И эти. А потом скрылись. Ушли на «Бруски», собрали всех членов в бывшем барском доме, устроили заговор, и наутро Заовражное – сто сорок восемь хозяйств – сбили в коллектив. Назвали коллектив «Передовым», подали заявку на землю бывшего совхоза, на Винную поляну, на Козловский участок. Земля эта считалась средней – не жалко, берите! У общества осталась лучшая земля – Бирючий овраг, Березовая гора.

Плакущев говорил:

– Пускай в коллектив идут... На Козловском участке полынь-трава, а у нас хлеб. Мы их на кусочек, как козлов, манить будем.

И еще он говорил:

– Я, впрочем, не против. Я пойду – только в коммуну. Лошаденка у тебя есть – в кучу, куренка там какая – в кучу, избу – в кучу, портки вон на тебе, Митрий, – обращался он к Митьке Спирину, – в кучу, и, видя, как хмурью наполняются глаза у мужиков, зная наперед, что от таких слов именно будет хмурь, нажимал: – Все равно ведь – нынешний год в артель, на будущий в коммуну... Идти, так уж сразу...

– Добить этого гада, мерзавца, – сказал Захар, когда услышал о речах Плакущева. – Ты, Степан, сам валяй на Бурдюшку. Там беднота, голь перекатная... Вот и возмись.

На разгром Плакущева вызвался Яшка:

– Дайте мне десяток дворов из артели – от Заовражного... с этим десятком я подаю заявку на Бирючий овраг, на Березовую гору.

Вначале все тупо уставились на Яшку.

– К чему это десяток тебе, Яшка? – спросил Захар.

– Эх, дельно, дельно, – подхватил Степан. – Так и надо. Подать заявку на хорошую землю, выбить из-под них ее – и побегут.

– Вот именно что, – ухмыльнулся Яшка. «Теперь и обо мне Сергей Степаныч пропечатаете газете!» – чуть не крикнул он, дожидаясь похвалы.

Но его никто не похвалил, а Панов Давыдка даже изогнул губы, собираясь плюнуть.

«Завидуют, – решил Яшка. – Вот поглядите, чего сделаю. Вам еще до меня кашу с пальчика надо семь лет есть. Только бы... с Плакущевым не столкнуться».

И наутро он ушел на Бурдюшку.

Стеша провожала его до околицы.

– Смотри, Яшенька, не сорвись. Первый раз ты за это дело. И так зла на селе не оберешься.

– И ты это говоришь, Стешка?! Ай-яй! Кто это тебя так перепугал? А?

Стеша смутилась.

– Сам знаешь, Яша.

– А-а! Ничего. Ты роди скорее.

Стеша засмеялась.

– Как это «скорее»? Чай, это не самовар поставить.

– Верно, – засмеялся Яшка и, обнимая Стешу на снежном просторе, ощущая приятный холодок ее бекешки, прошептал: – Не робей. Нам с тобой в гору шагать надо, громко шагать.

Сообщение Яшки о том, что на Березовую гору, на Бирючий овраг собралась группа крестьян, разорвалось на Бурдюшке, как бомба.

– Это к чему вы туда? – возражая, кинулся на него Митька Спирин. – К чему?

Козловскую землю забрали, ну и владейте... Этак и власти можно пожаловаться.

– Взяли и еще возьмем, а ты жалуйся да помои у Гурьяновых хлебай. Кто хочет? Пишись, пока не поздно.

Да, так вот и вышло. На Бирючий овраг, на Березовую гору записалось сто двадцать восемь дворов. Остальные не захотели оставаться на Орлах – на песчанике, создали свою артель.

– Иду! – кричал Никита Гурьянов у двора Плакущева, когда выбирали его в совет коллектива и хлопнул шапкой о стол. – Иду! А колхоз маменькой родной сроду не назову. Мачеха – и весь мой сказ.

– Необходимость, стало быть, идти? – спросил Яшка.

– Не-ет. – Никита растопырил пальцы. – Радость!

– Ага! Стало быть, так и назовем ваш коллектив: «Необходимость»... – сказал Яшка и вбил это название в третий коллектив, как без шляпки гвоздь в дубовый пенёк.

На селе остался только один вне коллектива – Илья Гурьянов. Засунув руки в карманы, вздергивая плечами, точно ему всегда было зябко, он ходил по селу и издевался.

– А ты уж не мути, – удерживал его Никита. – Нырнули, ну и поглядим. Может, на дне-то морском слаще.

– Как же... обтяпают вот вас, без штанов останетесь, ну, тогда и нырнуть неволя...

Да, все это знал Плакущев. Все это было ему ясно. Он не согласился быть председателем коллектива. Нет. Зачем? Председателем может быть и Митька Спиринов. Плакущев – уполномоченный по всяким делам.

И несколько дней Илья Максимович жил в тиши, посвистывал, что-то в одиночку бормотал. Было ему скучно. Он даже сам удивился тому: ничуть не трогает теперь, что на селе три коллектива. Раньше он не мог произносить этого слова. А теперь... Да вот, скучно. Можно было бы, конечно, зайти с другой стороны – со стороны Бурдяшки... Там ведь все уцепились за хорошую землю... Вся голытьба на хорошую землю села... Растревожить, разнести ее? Или Яшку ковырнуть.

– Ну, погодим, – позевывая, бормотал он. – Вода. Запруди – много ее нальется, и ежели нет проходу ей, пойдет через край и размочит запруды. Мужики – вода. Запрудили. Крепко, сукины дети, запрудили... Подождем. Через край не пойдет – копнем маненько, вот и пойдет, вот и хлынет... и Степку, пожалуй, снесет... Она, мужицкая-то вода, бурная...

И копнул.

Вскоре из города прискакали сотрудники угрозыска, напали на «Бруски», шарили по комнатам, по сараям, затем заперлись в конторе, долго беседовали с Яшкой и так же быстро ускакали в город.

С этого дня Яшка смолк, обвис, как мокрая рогожа на колу, тихо, украдкой от всех начал пить, таскаться по шинкам, по самогонщикам, не ночуя по неделе дома.

Степан Огнев, разъезжая по делам артели, как-то не замечал его, и когда Стеша пожаловалась, обещал как-нибудь поговорить, но время бежало. Степан крутился, а

Яшка оставался в стороне. И раз ночью, иди на «Бруски», Захар Катаев заметил у двора Плакущева две фигуры. В одной он узнал Плакущева, другую сначала не разгадал: она стояла совсем в тени, под воротами.

– Да ведь, Яша, – гудел Плакущев и ласково, по-отечески успокаивал. – Да ведь я не знаю ничего. Он, чай, Егор-то Степаныч, заживо, поди, их давно смотал куда. Да и были ли они у него? По-моему, тут болтовня одна... Да и то скажу, – тише добавил он, – ежели бы и знал, не сказал бы. Ради отца твоего и не сказал бы. Зря ты... Это запятели тебя на непосильное место, ты и споткнулся. А пьяному все в глаза лезет.

– А меня ведь тревожит, Илья Максимович. Расписку им дал. Вот до чего дошло... Ежели найдутся, тогда сажай меня. А вдруг, правда, где найдутся, тогда я отвечай?

– И кому надо донести? – Яшка не заметил: глаза у Плакущева в эту секунду блеснули, как у волка. – Вот люди пошли... А тебе, конечно, не резон было подписку давать. И к тому же слышал я, в партию ты пошел? Вот ведь какой... Зайди-ка ко мне, Яша... потолкуем.

И обе фигуры скрылись во дворе.

– Запутался! Эх, Яков, запутался, – прошептал Захар и, добравшись до Степана, рассказал ему о том, что видел.

А Яшка золото, найденное им в расколоте чурбаке, вмазал в боровок трубы и после этого только и думал о спрятанном золоте, чувствуя, понимая, что его это добро как-то сковало, отделило от народа, происходящих событий на селе. Он начал много пить, ходил сутулый, молчаливый, всегда злой, по ночам стонал, кричал, отплевывался. И Стеша, как Клуня при жизни Егора Степановича, часто по ночам от плевков Яшки сползала с кровати, ложилась в углу на деревянную лавку или садилась у Аннушкиной кровати, плача и тихо приговаривая:

– Не любит он меня... Надоела ему... Теперь таскается где-то... Наглохтитя и слюнявит всю ночь... Ох!.. Слово спросить нельзя – все с тычка да с рывка... Плохая я стала, – и на заре подолгу смотрелась в зеркало, видела, как поблек румянец на щеках, как зашершавились губы. И сильнее сжималось у нее сердце, обильнее катились слезы.

Она долго крепилась, молчала и на вопрос Груши отвечала, что у нее «болит под ложечкой, сосет». А вчера Яшку подобрали на Бурдяшке, пьяного привезли домой, втащили в комнату, положили на кровать. Стеша, как и всегда, не показала виду, что ей до тошноты противно, обидно видеть его вот такого мокрого, обрюзглого. Она смеялась, торопливо помогала втаскивать мужа в комнату, но, когда все ушли, – снимая с него мокрые вонючие штаны, проговорила:

– Эх, Яша, что ты делаешь?.. Сам не знаешь...

– У-уй-ди-и!

Ногой, жесткой, как дубовая колодка, он пнул ее в костяк груди. Стеша охнула и, задыхаясь, полуживая, опустилась у кровати. Крик сдержала, боясь, что на него сбегутся соседи, увидят ее избитую. Зажимая рот рукой, она еле поднялась на колени и, глотая воздух, в упор посмотрела на Яшку. Он лежал раскоряча голые, мохнатые ноги, открыв рот, и, казалось, спал. На углах губ у нее застыла больная, изломанная улыбка. Стеша покачнулась, ударила головой о лавку – сильно, со звоном, – и не смогла сдержать крик.

У Яшки разом прошел хмель, он вскочил, подхватил ее на руки и, целуя глаза, грудь, руки, обливаясь слезами, выл, как придавленный:

– Стешка! Стешенька!.. Да Стешка!.. Эх, ты-ы! Ву-у! Задушусь я! Задушусь!

И сегодня в ночь он ходил по улицам Широкого Буерака, из тьмы всматривался в окна дома Плакущева, шипел:

– Подох бы ты...

В эту же ночь Стеша рассказала Клуне про крик Яшки, про бред, стон, плевки.

Клуня сжала губы:

– Его, матушка... Егорово перешло. Егор, покойник, по ночам кричал страх как...

Стешка поднялась, расширила наполненные страхом глаза, пугая Клуню, и вновь повалилась на подушку, выдавливая со стоном:

– Е-го-орово-о?

3

Степан Огнев сменил быстрый бег на медленный, мягкий шаг. Чуть согнув голову набок, твердо ступая на хрупкий снег, смеясь, балагуря, он ходил по двору, по квартиркам. В квартирках было холодно: мороз сжимал стены, покрывая их серебристой пылью. В квартирах пахло угаром, плесенью, от этого ребятишки стали большеголовые, коммунары посинели и ворчали.

Шутками, остротами Степан разгонял на лицах хмурь и с нетерпением дожидался весны, того дня, когда коммунары выедут в поле на тракторах, когда заработают на селе коллективы и смогут доказать, что прав был Сергей, а не те, кто тянул на отруб.

И Степан часто стал вслух мечтать о баранине, о постройке каменного дома с большими светлыми квартирками, о клубе, о школе, о детдоме, о кино – и эту мечту всеял в коммунаров, бодрил их.

– И все это мы сможем, ежели дружно возьмемся. Главное – дружно взяться. Вон там на бугре построим дом, чтобы вид был на Волгу, чтобы дом наш за сто верст видать было. Гляди. Не жалко. Вот мохряки в какой дом забрались. Да флаг, флаг... Развевайся!

Вот таким бодрым, радостным он пришел к себе в комнатку, снял с ног подшитые валенки и, не раздеваясь, лег на кровать передохнуть.

Но не успел он уснуть, как в дверях появился Шлётка и заскорузлым пальцем поманил его:

– Степан Харитоныч, иди. Машка пороситься задумала, аль что. Бесится.

«Чего это он пристал? – подумал Степан, засыпая. – Машка? Пороситься? Ах да, я сказал ему, что сам буду принимать».

Вставать не хотелось. Он переборол сон и вместе со Шлёткой вышел из комнатки – в стужу и тьму.

– Время-то еще, видно, не позднее?

– Эх, страх глядеть, – заговорил Шлёнка, не отвечая на вопрос Степана. – Как человек: ляжет, встанет и давай кружиться. А то на меня посмотрит и вроде сказать хочет: «Больно».

...Маша – породистая свинья, любимица всей коммуны – уже давно была отделена в «родильник», небольшой хлев. До этого она – белая с желтизной – ласково хрюкает, ходила по двору, у квартирок, подбирала кусочки хлеба и с удовольствием разваливалась, когда с ней начинали шалить ребяташки, теребя ее сизоватые соски. Потом ее отделили в «родильник» и несколько дней ждали, что она за особое уважение к ней наградит коммунаров поросятами.

– Может, она так только... Нет еще ничего? – спросил Степан.

Но, войдя в родильник и видя, как Маша беспокойно кружится, тревожно хрюкает, склоняя на одну сторону голову, будто прислушиваясь к своему голосу, – решил, что час настал и надо торопиться.

Это и обрадовало его, и одновременно он испугался до этого ласковой и тихой Маши.

– Маша! Маша! – позвал он и хотел, как всегда, большим пальцем почесать у нее за ухом.

Маша оцетинилась и, цапая воздух ртом с длинными клыками (раньше Степан как будто и не замечал, что у нее такие длинные клыки), пошла на Степана.

– Эх, какая ты! – отступая, вскрикнул он, уже пугаясь того, что не справится с ней: он никогда не принимал поросят.

«Ее надо чесать поперек ребер, чтобы она потягивалась, так легче выскользнет из нее поросенок... Она может и одна опороситься. Но она первый раз опоросится и съест поросят», – припоминал он наставление дедушки Катая, удивляясь, что тихая и славная Маша может съесть своих поросят.

– Вася, – обратился он к Шлёнке, – чесать ее надо. Ты заходи вот с той стороны и чеши, а я с этой.

– Эх, укусит! Зубищи-то какие... хватит, и – полруки.

«Ну, что ж ты? На фронте был, а тут свиньи боишься», – упрекнул себя Степан и решительно пошел на Машу.

Маша вначале было опять оцетинилась, лякнула зубами, но, заслышав властный окрик, уложила на спине щетину, вся сжалась, хрюкнула, отошла в угол и развалилась на соломе. Но тут же как будто опомнилась, вскочила и снова начала кружиться, касаясь боком стен родильника, побеленных известью.

...Первое, что вышло из Маши, было что-то похожее на смятый серо-рыжий кошелек. В середине этого кошелька лежал совсем маленький, бездвижный, слепенький и чересчур вялый темный поросенок. Степан знал: как только выйдет поросенок, с него надо смахнуть пленку, вот так – пригоршней, особо с рожицы, затем оторвать пуповину. Он разорвал кошелек, пахнуло гнилью – едкой и горьковатой. На пол хлопнулся приплюснутый комок с четырьмя поросьячьими ножками.

– Неужели так и дальше? Вася, что это?

– Дохлый, – ответил Шлёнка. – Жирна, вот и придушила. Гляди, гляди, идет.

Маша потянулась.

Степан почему-то ждал, что и второй поросенок выйдет так же мирно, как и первый. Но второй – лобан-боровишка – выскользнул с невероятной быстротой: Степан еле успел очистить его от пленки, оторвать пуповину, как он, повизгивая, чуть шатаясь на слабеньких ножках, похожий на большую крысу, побежал к матери, сунулся рыльцем ей в живот, отыскивая сосок.

– Фу! Вот народец, – засмеялся Степан. – Проворный! Вася, лови, лови и тащи в лукошко подальше от матери, – строго и тихо приказал он, подхватывая руками еще одного поросенка.

Утром, когда проснулись коммунары, в родильном доме у Маши возились тринадцать поросят. Степан – руки у него были в крови – убирал за Машей, а Шлётка перекидывал перепутанные задки поросят. Поросятки, вытянувшись, тыкая мордочками, со вкусом, с почавкиванием тянули молоко из розовых сосков, и блаженно, с величайшим, казалось, удовольствием и непомерной гордостью хрюкала Маша – часто, как поршень насоса.

– У-у-у, ты, красавица... У-у-у, ба... барыня, – хвалил ее Шлётка, отодвигаясь в сторону, давая возможность ребятишкам наслаждаться небывалым еще на «Брусках» зрелищем.

Ребята стояли вдоль стены и напряженно следили за тем, как чмокают поросятки и как иногда Маша поднимает голову и осматривает свое потомство.

– Мой вон ентот, – сказала Аннушка и показала на лобана-боровка.

– Я ж сказал – мой, – возразил Ванюшка Штыркин.

– В коммуне дележу нет, – начал ласково журить их Шлётка. – Все наши...

– Нет, вон ентот мой, – настаивала Аннушка. – Мой, и все... Деда, – обратилась она к Степану. – Он не дает... Жадюга...

– Даст, даст, вот подрастут, и даст.

Панов Давыдка посмотрел в хлев и с обидой на Степана подумал:

«И зачем это ему самому?... Без него-то бы не сделали?..»

– Степан, – заговорил он, – наш-то хахаль сорокоуст справляет: сороковой день пьет.

– Кто это?

– Кто? Яков. Ну, и ропот: он, слышь, гуляет, а мы за него работай...

– А я совсем и забыл о нем. Надо приналечь. Где он?

– Где? Известно, где... Он ночи-то дома не ночует.

– Пойду, пойду, – вытирая руки о солому, заторопился Степан. – Ты, Вася, прибери тут.

– Хорошо.

– А ты, Давыд, заставь ребят семена почистить. Готовиться к севу надо. Скоро весна!

Пересекая поле, белое, в снежном пуху, – все еще ощущая горьковатый, резкий запах от Маши, – Степан решил круто напасть на Яшку, выбить из него блажь, и ругал себя за то, что, зная о проделках Яшки, как-то мало обращал на это внимания. Он считал, вся эта дурь у Яшки пройдет. «Вот пошумит и бросит. У кого этого не бывает в молодые годы». Но теперь Яшка зашел слишком далеко.

В сельсовете на лавке кучились мужики. Рядом с Плакущевым сидел Илья Гурьянов и, глотая слова, читал газету. При появлении Степана он, как парикмахер бритвой о ремень, шаркнул рукавом по носу и спрятал газету под себя.

– Дай-ка, пригодится! – Илья Максимович выдернул из-под него газету, сложил вчетверо, сунул ее за отворот шубы и вышел из сельсовета.

Вслед за ним поднялся Илья и на ходу, сдерживая смех, бросил Степану.

– Здрассте!

Присутствие этой кучки удивило Степана. Он посмотрел на Яшку и только теперь заметил: тот постарел, лицо у него иссиня-серое, рыхлое, как лежалая репа, а мокнущие глаза похожи на две ранки.

Яшка икнул и, не глядя на Степана, подал письмо за четырьмя сургучными печатями.

– Вот тут тебе гостинец.

«Мерзавец! – мысленно обругал его Степан, глядя на полуобмороженные пальцы, представляя себе, как Яшка этими пальцами трогает Аннушку, Стешу. – Хряснуть наотмашь по роже», – мелькнуло у него, и, чтобы сдержать себя, он, точно злясь на письмо, разорвал конверт, комкая, хрустя сургучом.

Письмо было от секретаря областного комитета партии Жаркова, того самого, который несколько лет тому назад был в Широком Буераке. А теперь он писал:

«...Товарищ Огнев. Ты член областкома и забыл о том, что сейчас надо заняться не только устройством коммуны, а и главным образом хлебозаготовкой».

У Степана запрыгал «буквы, он протер глаза.

«...Ныне стоит вопрос с небывалой остротой: или перелом в хлебозаготовках, или полный провал... Провал – тогда жуткие последствия... Провал – тогда массовое исключение из партии... Стране нужен хлеб, как в дни гражданской войны солдаты, а не болтовня... Хлеб у крестьян есть... Надо мобилизовать, встряхнуть себя».

Дочитав письмо, Степан выпрямился и потянулся к Яшке:

– У тебя как?

– Как? Барму жду... Да, того самого Барму, то есть Пономарева... К нам едет... Вот и мужики об нем же толковали... А где чего возьмут?

– Верно, Степан Харитоныч, – загалдели мужики.

– Где чего взять?

– Сами на сухой корке сидим...

– Ну, об этом поговорим на собрании. – Степан выскочил из сельсовета, сознавая, что еще минута – и он налетит на Яшку, тряхнет его, как мешок с мякиной.

На берегу реки Алая дымили бани. Это значило – там гонят самого. В конце Кривой улицы прыгали, метались мужики, визжали бабы.

«Да ведь уж свадьбы, – спохватился Степан. – Время-то как бежит!»

Он отвернулся от бань, пытаясь сосредоточиться на письме Жаркова.

Вот Жарков обращается к нему. Значит, с хлебом туго... А в банях самогон гонят, и Яшка об этом, очевидно, знает... Дурак! Не видит, как над ним мужики издеваются. Мерзавец. Та-ак... Жарков написал – туго, стало быть, с хлебом... Надо поднажать. Хлеб, конечно, у мужика есть: самогон гонят, свадьбы из двора во двор... Это неспроста...

Степан пересек гумна, вышел на снежную равнину и решил сегодня же вечером собрать коммунаров, перетолковать с ними, подсчитать, сколько у них хлеба, излишки погрузить на подводы и первым из села двинуться на ссыпной пункт...

Но при виде окутанных снегом «Брусков» у него появилась другая мысль, и эта мысль раздвоила его. Он знал, с каким упорством мужики будут держаться за хлеб: им теперь деньги не нужны. Вот черт! На что мужики будут тратить деньги? На штаны? Да они в прошлом году купили штаны и десять лет носить будут... И в то же время хлеб надо выгрузить. За хлеб государство привезет машины, пустит машины на поля... Тогда...

Степан остановился.

Государству нужен хлеб... Государство Степану было столь же близко, как и своя рука, голова. Он ярко представлял себе огромное пространство Советского Союза, изрезанное реками, горами, зеленеющей тайгой. Он помнил, с какой болью в дни гражданской войны он переставлял на карте красные флажки с городов, занятых белыми. Да, тогда вся карта Союза была утыкана красными и белыми флажками... И когда был сброшен последний белый флажок, – Степан это хорошо помнит, – они, командиры, пустились в пляс, как на свадьбе. Но это было тогда. Тогда он видел на карте города, заводы, земли, тогда все это было дорого ему, близко, полито его кровью, а сейчас он заметил на карте только маленькую, серенькую точку – «Бруски».

«Бруски» из маленькой серенькой точки вдруг стали расти, шириться, выпячиваясь своими одноэтажными глиняными домишками, сосновыми конюшнями, парком. В конюшнях заржали кони, замычали коровы. А вон и Николай Пырякин: всегда в замасленном полушубке, помахивая американским ключом, пересекает двор. Он, как и все, заглядывает в родильник и тихо зовет: «Маша! Машка! Ух ты, разбойница!» Около Маши тринадцать поросят. Тринадцать. Вот молодец какая – целый гурт принесла. В осень эти поросята превратятся в настоящих свиней, и на будущую весну Степану доведется принимать потомство не от одной только Маши... И эти поросятки – розовые и пухленькие, так и хочется взять и пошлепать ладошкой по задку.

И Степан почувствовал, что ему дороже всего «Бруски», что здесь, на «Брусках», в каждом кольшке, в каждой ямочке – он.

«Чай, не две жизни-то дано, а одна», – почему-то пришли ему на ум слова Груши, и он рассмеялся, затем зло отмахнулся: «А-а-а!» – и быстрее зашагал по снежной

дорожке на «Бруски», твердо уже зная, что, если бы ему сейчас предложили покинуть коммуны и переправиться в город в наилучшие условия, он не покинул бы ее. Он даже тревожно оглянулся, будто на «Бруски» кто-то хочет кинуться, нанести им неизгладимый удар. Руки у него из карманов выскользнули, ладони сжались в кулаки, а глаза сузились.

«Это мое! Я сделал! – думал он. – А вы? Вы там сидите, пишете, митингуете, а потом шлете письма – помоги, товарищ Огнев. Это и я бы мог сидеть и писать. – И он представил себе: за письменным столом сидит Жарков, поправляет очки, шевеля отвислыми губами, как старая коза. – Вот и пиши, пиши... пока писучка есть. Впрочем, надо умнее... В самом деле, ну что сделается государству, если наше село не вывезет хлеба? Это же капля в море... А, да что там!»

Во двор он вошел уже совсем сгорбленный и как будто похудевший.

Во дворе из амбара артельщики, под командой Давыдки, выволакивали хлеб и торопко переправляли его на сеновал. Степан догадался: прячут хлеб, и одобрил: «Прячь, прячь, Давыдка!»

– Времечко-то какое веселое, Степан Харитоныч! – обгоняя на рысаке Степана, крикнул пьяный Шлётка.

– Да-а? И немного на это надо? – ответил Степан, глядя на то, как Шлётка помогает выбраться из саней бабушке Агафье – матери Епихи Чанцева. – Рысака-то как затрепали. Поставь его на конюшне и – никому.

– Это можно, – Шлётка забегал около рысака, выпрягая его. – Это можно... Поставим и – никому... Да... Вот дела-то какие... Знаешь чего, Степан Харитоныч? – он пыхнул перегаром самогона. – Катька-то у Николая Пырякина родить собралась... Вот мы и на радостях...

– Ну-у?

– Пра! Как же... чай, человека родит – первый на «Брусках»...

– Фу, ты! Шут ее дери-то! Вот не ожидал! Родила, что ль? А?

– Там, – Шлётка махнул рукой на барский дом, где жил Николай Пырякин, – корежится... За бабкой вот я ездил.

– От меня скажи ей, Катерине, рад, мол, я. Сына аль дочь там родит – все равно... рад я... Только пускай выдержит, живого чтоб.

5

В утро крутила метелица. Снег, мелкий, как обледенелое просо, сыпал со всех сторон, шуршал по жестким крышам, барабанил в окна изб.

В такую метелицу Илья Максимович не усидел в тепле, надел шубу и, закрываясь большим кудрявым воротником, вышел на волю.

Загребая валенками вороха белой крупы, шел на сход и на углу, у избы дедушки Пахома Пчелкина, наткнулся на человека.

– Яшка! Эх, властитель, сукин сын, налился, – он отплюнулся и двинулся было

дальше, потом остановился, пробормотал: – Однобокий человек... Искорку бы тебе отцовскую... Замерзнешь ведь... – и, расставя ноги, сильными руками приподнял Яшку, привалил к завалинке. – Яша, чай, замерзнешь так?

Яшка кричал, рвался в метелицу. Плакущев, уговаривая, приволок его на крыльцо избы, пнул ногой дверь и сунул Яшку в сени.

Сход гудел.

За столом в президиуме на сцене председательствовал Илья Гурьянов, рядом с ним сидел Пономарев, по прозвищу Барма.

За спиной Ильи, у сцены, загораживая своими дублеными шубами задние ряды, толпились Гурьяновы, Быковы, а в дальнем углу сидел Степан Огнев, около него Захар Катаев. По хмурым, сонливым лицам Плакущев догадался, что Барма говорит давно.

– Вот ведь у нас власть... – он водил перед собой рукой, точно отгоняя назойливого комара. – У нас все комиссары не получают столько, сколько один американский президент.

– Да они и этого не стоят, – тихо ввернул Никита Гурьянов и спрятался за воротник шубы.

– То ишь как это? – Барма спутался и захлопал глазами. – И вообще прошу не перебивать... Знаете ведь: перебивкой нить речи у меня рвется.

Степан горбился от речи Бармы и еще больше оттого, что на собрании не было Яшки и Яшкино место занимал Илья Гурьянов.

– Я продолжаю! – крикнул Барма. – Так вот, раз у нас власть народная... то... стало быть, хлеб надо везти на ссыпной пункт.

– Эко грохнул!

– Хлеб надо везти на социалистическое строительство, все, как один, авангардом. Привезем мы его красным обозом и с красными флагами.

Илья Гурьянов, дернув плечами, встал, перебил:

– Есть вопросы докладчику?

– Есть, да не надо, – понеслось из зала.

– Резолюцию?

Никита Гурьянов высунулся вперед, сказал:

– Что ж, принять к сведениям! К сведениям, и все. И еще отблагодарить от всей души.

– Эдак, эдак. Отблагодарить!

– Отблагодарить и не тревожить нас!

– Наслушались... теперь все понятно!

– И себя не тревожьте!

– Товарищи! – Захар взобрался на подоконник и, держась за косяк окна, глотнул воздух. – Товарищи! Так же нельзя!

– А как лъзя?

- Я предлагаю хлеб вывезти и признать...
- Ну, признай! Признай-ка!..
- Вывези-ка...
- У нас, я так думаю, тыщ десять на селе есть...
- Это ты с кем подсчитывал?
- Один, что ль, или с кем?
- С бабой своей...
- Вдвоем, стало быть?
- Хо-хо!
- Да вы что ржете?.. Я предлагаю!..
- Предложить вот тебе по хрептюку!..

– Тебе признать вон... тогда и признаешь, – сорвался Маркел Быков и гундосо затынул: – Я мекаю – хлеб-то у нас, а чего у них... пускай везут, да на площади вон, на базаре разложут. А штаны, штаны, чтобы не пять пудов стоили, а два... Два мы дадим... Вот и признаю...

- А Захар с гашника вшей вывезет. Хе-хе!
- Он и вывезет... Он, чай, теперь коммунист – драны лапти.
- Старатель!..

Захар разинул рот, хотел что-то крикнуть, но только проворчал:

- На вас огонь надо...

– Товарищи! – Илья Гурьянов вытянулся, обежал всех взглядом, затем повернулся к Барме: – Голосовать, товарищ?

- Твое дело. Голосуй...

– Товарищи! Голосую. Кто за – признать и вывезти? Раз-раз-раз... Нет таковых... Елиха! Ты что там, вроде руку тебе согнули. Ну! Брякнул вниз. Нет, значит. Ну, кто за – не признать? Кто за не?.. И... и... и... таковых нет!.. Воздержался кто? И... и... воздержался нет. Товарищи, что ж это? – Илья даже растерялся. – Как же это?

- Да холодно... руки-то подымать, – объяснил Никита Гурьянов.
- И так хорошо. Не надо больше! Будет! – выкрикнул Маркел Быков.
- Да как же, товарищи? – снова спросил Илья.

– Как, как, – загнул Маркел. – Как?.. Сказано тебе – голосованием. Что, силой, что ль, нас?

– Да нет ведь у нас хлеба-то, – жалобно, даже с дрожью в голосе произнес Плакущев. – Вы поглядите, кто в чем ходит? Думаете, хлеб бы был, так ходили бы мы в мохрах? Не-ет! Каждый человек норовит слаще поест, чище одеться. А где чего возьмешь? Оно сапоги – полвоза вези...

Из-за стола поднялся Барма. Скуластое, бритое лицо налилось кровью, уши, похожие на обожженные хрящи, вздернулись, ноздри оттопырились так, что казалось

– все свое напряжение Барма влил в них.

– Это как так – нет? – он повернулся к Плакущеву. – Как это ты так мог сморозить?.. Распустил бороду и сморозил... – и зачастил: – Да ты где? Куда ум-то сплавил?.. В бороду ум-то ушел?.. А? Да ты... Да как это ты? Мы-де ни то ни се, а башкой вертим.

– Понес, – зло прогнусил Маркел Быков. – Теперь прощайся.

– И понесу! И понесу! – Барма неожиданно повернулся к нему. – Забыли восемнадцатый год... Зубы-то еще целы, не повыкрошили. А!.. Так вот, – он сунул рукой в Плакущева, обращаясь к Илье: – дай ему, сукину сыну, стервецу, в руки лопатку, пускай в двенадцать часов ночи копает себе могилку, пока икра из него не полезет. Врет, сукин сын, стервец, покажет волчьи ямы, где хлеб спрятал... Пускай, сукин сын, стервец...

Кто-то ухнул, кто-то оборвался... Мужики смолкли, втянули головы в воротники шуб. Маркел Быков быстро юркнул за дверь, Илья Максимович плотнее привалился к стене, тихо задрожал. Заметя тревожное молчание, Степан поднялся, хотел одернуть Барму, но в то же время решил, что у мужиков теперь хлеб можно взять только так: Барма одним взмахом руки расколочил все, что так бережно охранялось. И, стиснув зубы, Степан вслед за Маркелом Быковым вышел из сельсовета и, позабыв надеть на голову шапку, убежал на «Бруски»...

В Широком Буераке посерели дни. В Широком Буераке приостановились свадьбы... Охало и стонало село, скрежеща зубами... Тайком в ночь бегали мужики на гумна, возили навоз в поле – и в навозе, в разбросанных кучечках вдоль Холерного оврага прятали хлеб. Хлеб прятали в колодцах, в закромах, под конюшнями... Развозили хлеб тем, у кого пустовали квашни, с кого не брали налогов. Епиха Чанцев в эту ночь туго набивал пшеницей простенок за печкой, вдова Пчелкина сыпала хлеб в чулан... И всё тайком, все быстро разгружали хлеб из амбаров по сторонам... Но не украдкой, не тайком волочил мужиков десятник в сельсовет к Барме.

Наседал Барма. И пришлось ночью же, тайком, выбирать хлеб из навозных куч, выгружать из-под конюшен, из закровов, из простенка Епихи Чанцева.

Крякал Плакущев. Искал он эти дни Яшку, хотел что-то наедине сказать... Сторонился Яшка, бежал от него, как от прокаженного. И тогда лопнула, словно туго надутый мяч, тайна – поползла молва по селу о золотых Егора Степановича, поползла около ног Яшки. Старался Яшка не замечать, обходил, вертелся, а по ночам забирался к вдове-самогоннице, вместе с Бармой пил самогон.

– Вот враг классовый, он всегда стремится измазать таких вождев, как ты, – и пьяный Барма целовал Яшку. – Но я... Я жилы из них вытяну, из жил кнутик совью... Что Плакущев? На бережок его, на бережок поставить на три сажня... и пьют!

И бежали дни...

Охало Широкое, крутилось, буйствовало – собиралось полчищем на Барму, а тот в одиночку, в сельсовете, за столом гнул, наседал на мужиков...

На «Брусках» четвертый день шел спор о том, какое имя дать новорожденному маленькому человеку. Бабы крутились около Николая, Кати, вспоминали дедов, прадедов, предлагали для маленького человека имена тех, кто давно истлел. Шлётка браковал имена стариков, листал календарь, потом сбежал на сеновал, прихватив с собой бутылку самогона.

– Без самогонки тут не обойтись, – сказал он и принялся шарить по календарю.

К вечеру он спустился, крепко зажав под мышкой календарь. И, непомерно надутый, как индюк, вошел в контору, растолкал у стола баб и мужиков, сел.

– Чего ты календарь-то упер? – упрекнул его Чижик. – Ведь он, мальчонка-то, ждать не будет... ему имя подавай, а ты упер.

В контору, спрятав руки под полушубок, словно боясь, как бы они помимо ее воли не пустились в действие, вошла Анчурка Кудеярова.

– Кузьмой назовите, – предложила она. – Кузьмой Бессребреником... Как в коммуне он, так и назовите...

– Оно так... бессребреники мы: сроду целкашика в кармане нет, – согласился Шлётка. – Да ведь старо... В предание отошло. Такое имя, как ты в невесты, не годится.

– Ну, читай, читай, – вступился Чижик. – Четвертый день ищем.

– Кимом назовем, – ухмыльнулся Шлётка, вытирая на носу пот. – Вот имечко... и легко, и все... И есть такое в нашем краю... У предрика Шилова сын – Ким.

– Ким?

– А это как по-другому-то?

– Зорю знаем, Революцию знаем... Захар, Петр – тож. А Ким?

– Ким что? Шлётка!

– Клим, – пояснил дедушка Катай.

– Клим, Клим – так, чай, был бы Клим. Ты вот Вавил – Вавил и есть, а не Клим. – Чижик сморщился. – Старик, а говоришь не знай чего.

– Ким... – у Шлётки зашевелились усы. – Ким... это, стало быть, Ким – это... – он посмотрел на всех опустевшими глазами. – Ким – это стало быть... – и засмеялся. – В самом деле, что же это? Николай!

– Чего-то есть... А чего? К Шилову бы надо... узнать.

– Верно. А то, может, это ругательство какое, – и Шлётка, сев на гнедого мерина, поскакал в Алай, махая локтями, как гусь общипанными крыльями.

Вернулся, бухнул:

– Ким... Ким – это, стало быть... Погодите, у меня записано. Вот Ким – Коммунистический интернационал молодежи... С него, стало быть, и партия у нас пойдет.

– Коммунистический интернационал молодежи Николаевич... Ну, звание! Ничего себе – с версту, – Чижик тихо засмеялся и вышел из конторы, ворча: – Вместо одного слова вон чего... у татар есть Абдул-Гасим-Харям-Морям – давай мал-мал... Тьфу!

– Хорошее имя, хорошее, – согласился Николай. – Матер «надо пойти сказать... Порадовать, нашли!

– Да вы что? – тут уж Анчурка взорвалась. – И без купели, и имя какое-то не русское... Николай, ты что – китаец, что ль, а? Не дадим! Бабы, православные, соберемся и не дадим.

– Хе-хе, – засмеялся Шлёнка. – Вот бабы полком пойдут. Это и нам надо собраться, да и ударить...

– Вы чего смеетесь? Не в силах он, мальчошка, вот вы над ним и коверькаетесь, чады невразумительные, – басовито возразила Анчурка.

– Ка-ак?.. Ка-ак ты баишь? Чады невразумительные? Охо-хо! Во-от чада! Мы тебя, тебя, Анчурка, теперь и назовем – Чадой невразумительной. Чада! У-ух ты! Идемте, Катерине два имя понесем: Ким и Чада невразумительная! – вытирая слезы на глазах, Шлёнка пошел к Кате.

Катя лежала в кровати. На синей подушке выделялось бледное с горящими глазами лицо. Катя вздрагивала от каждого стука защелки в сенях, боясь, что вот сейчас войдут коммунары и все узнают.

Когда ей бабушка сказала, что родился сын, Катя уже предугадывала, что он похож на Яшку и все-таки спросила:

– Какие глаза?

– Отцовы! – ответила бабушка. – Жить будет. Вот погляди-ка, – поднесла маленького человека к кровати.

С личика маленького человека на Катю глянули немигающие серые, с большими черными зрачками глаза – глаза Яшки Чухлява, и Катя зажмурилась до боли в переносице.

Ей было жаль Николая. Она его постоянно теперь видела около себя. Потный, с засученным «рукавами, он, не брезгая, убирал за ней все, старательно оправлял постель, и она крепко полюбила его за его ласку, за его теплый и радостный взгляд на маленького человека. Вот если бы он хоть раз посмотрел на маленького человека сурово, с упреком, тогда легче было бы Кате... Тогда она... сказала бы ему. А теперь ей непомерно жаль было его.

И сейчас, когда в комнату ввалилась ватага во главе со Штыркиным, Катя перепугалась, но, узнав, что Штыркин принес имя маленькому человеку, она с радостью приняла это имя и обещала, что скоро встанет и тогда «погуляем».

На шестой день, когда Катя чуточку поправилась, когда у нее на щеках заиграл румянец, были назначены октябрины... Около Кати возились бабы, топили печи, убрали старый дырявый дом сосновыми ветками, затыкали соломой сквозные щели в нетопленной части дома, где были поставлены два стола, и готовили место для гостей... Анчурка Кудеярова заделалась кумой, дедушка Катай – кумом.

Последним пришел к Николаю Барма. Его привел Давыдка и, вертясь на кривых ногах, усадил как почетного гостя в передний угол, рядом с Анчуркой и дедушкой Катаем.

Гости долго жались, прислушиваясь к тому, как пыхтит, издавая свист, самовар,

как за стенами, побрякивая, трещит мороз. Шептались, бросая украдкой взгляды на Барму. Шлёнка дергал рукава белого кительного пиджака с «золотыми» пуговицами, шептался с Чижиком, временами выкрикивая какие-то несвязные, одному ему понятные прибаутки, стараясь не выказать, что он в майском костюме с чужих плеч промерз.

Барма догадался и, показывая на чайный стакан, будто между прочим сказал:

– Я ведь не пью... Два-три стакана... и будет...

– Ну вот! – Шлёнка обрадовался. – Я так и знал. Хорошие люди всегда сойдутся. Дай-кось, где-то она там... нареченная?

Николай Пырякин из-под стола достал несколько бутылок русской горькой.

Чокнулись, выпили, крякнули. Еще чокнулись. Николая поздравляли с сыном и опять выпили – прокричали поздравления Кате, затем за Кима выпили... Потом еще и еще выпили – за кума, за куму, за «Бруски» и заговорили громко, откровенно, вперебой.

Анчурка Кудеярова вытянула над столом длинную шею.

– А-а-а... Как это... Без купели?

– Ты – молчок! – оборвал ее Катай. – Молчок... Не твой воз, и не тебе везти.

– Не-ет, ты окрести, Коля – Миколай! Окрести. От себя четверть ставлю.

– Вот разбогатела! Бог не примет. – Шлёнка прикрыл тарелкой Анчуркину голову. – Бог не примет... Вода не пристанет после октябрин, как с утки скатится. Опоздала ты.

– А мы завтра пойдем и окрестим младенца.

– А я тебе говорю – бог не примет. Опоздала... Надо бы до этого в своей фракции обсудить, свою фракцию собрать. Я вот, примерно, знаю...

– Нет. Как это басурманом... Халы-малы, базар-таскал... Вот ведь чего... – вступился Чижик.

– Молчок! – цыкнул Катай, нагибаясь к Чижик. – Ты крещен, и я крещен, а эти как... – и не договорил, одной рукой зажал рот, а другой кому-то пригрозил.

– Э-э, теперь времена не те! – крикнул Шлёнка и затыкнул:

Во-о суб-бо-ту, день нена-асно-ой...

Сначала песня шла неохотно, стыдливо. Потом голоса собрались, забились под дырявой крышей дома, вырвались в белесую ночь.

Пели все. Даже Катай, низко склонив свою лохматую голову, хрипел, еле поспевая за всеми, а Чижик весь, точно перо лебедя, беленький, размахивал ручонками, кричал на ухо Николаю Пырякину:

– Где гуляем-то! Гуляем-то где? В барском доме... в сугягинском... Вот Егор Степанович Чухляв, покойник, царствие ему небесное, век ведь добивался дома этого... земли... Я ведь знаю... Я много знаю... И только... молчу. А знаю я.

– На-а Ка-апка-ас, – гудел Шлёнка.

– Я завоеватель городов! – вдруг гаркнул Барма и согнул руку. – Я... Стоп... Стоп, машина!

Все смолкли. Панов Давыдка, стараясь казаться трезвым, хотел пройти по комнате, встал, покачнулся – и вновь сел на лавку. Барма некоторое время смотрел на всех посоловелыми глазами. Все ждали от него длинных речей, зная, что он, пьяный, любит много говорить. Он поднял руки, затем резко, словно кто-то их у него перерубил, опустил на стол, гремя посудой.

– Жа-арь плясовую! Жа-арь в мою голову! – крикнул он, стаскивая со стола скатерть.

– Батюшки! Обожрался, – зашептала Стеша. – Вот и с Яшей так... сойдутся и жрут.

...Дверь взвизгнула, вошел Яшка и, виляя меж гостей, точно боясь измазаться, подошел к Барме, что-то шепнул ему на ухо, и они оба вышли на волю.

Все остановились.

– Дела у них... государственные, – проговорил Шлёнка и вновь затянул песню.

Под песню Барма и Яшка, увязая в сугробах, спустились по круче на берег Волги.

– Вон, – зашептал Яшка, крепко вцепившись рукой в плечо Бармы. – Иди, а я тут подожду...

Барма выхватил наган.

– А-а-а, Илья Максимыч! – захрипел он. – Молись! Плакущев молчал, с великой тоской подумал:

«Да, убьют... Вот где конец-то...»

Бледный свет луны ложился мягко, трепетно на сугробы снега, точно боясь потревожить тишину зимы. Хотелось броситься в сугробы, закататься и крепко уснуть... И Стеша, глядя только в одну сторону, в сторону села, не замечая ухабов, скользила, как тень, по снежной равнине.

– Вырвать... вытравить, – шептала она. – Ах ты, жизнь... Пришел... пьяный, синий... вонючий... и ушел. А?

Она пересекла поле, улицу и на углу у избенки Епихи Чанцева остановилась.

В улице завыл одинокий пес Никиты Гурьянова, Цапай.

«Старый Цапай, и холодно ему», – подумала она.

За углом избы скрипнули полозья саней. Ровно кто толкнул Стешу, кинулась к двери... и, входя в избу, заметила – на рысаке едет отец, рядом с ним в санях сидят двое.

«Может, вернуться?» – И перед ней ярко вспыхнула картина: песчаная коса на Волге, солнце, они – Яшка и Стеша – нагие на безлюдье. – Ах, ты... Тятенька! – хотела она вскрикнуть.

Агафья потянула, втолкнула ее в избу.

– Чего долго? Вот здесь...

И Стешка, покорная, точно связанная овца, легла в темном углу перед Агафьей на разостланную дерюгу...

– А ты не возись. Греха как бы с тобой не нажить, – упрекнула бабушка, встряхивая локотками.

Белая ночь смотрела в окно.

По белому покрову полей, всхрапывая, бежал рысак.

Вбежав во двор, он остановился, заржал радостно и призывно, чуя близость конюшни.

Первым из саней выбрался Кирилл Ждаркин. Его волновало то, что завтра ему непременно доведется столкнуться с широкоцами, с Зинкой, с Плакущевым... И еще больше его волновала мысль о Стеше. Всю дорогу, вслушиваясь в разговор между Сивашевым и Степаном, представляя себе полуразрушенный барский дом на «Брусках», разбросанный в беспорядке инвентарь, грязь, мусор, он невольно думал о Стеше.

«Вот сейчас и ее увижу... Спит только она, наверное...» – решил он и посмотрел кругом, удивляясь, что на «Брусках» стоят новые постройки.

Сивашев прочистил уши, засмеялся:

– Я вроде оглох: тишина тут какая.

Из квартиры Николая Пырякина вырвалась песня.

– Эх, поют! Так поздно – и поют...

Степан что-то промышчал и забарабанил в бревенчатую стену. Песня оборвалась. Из дома, без шапки, в белом пиджаке, выбежал Шлётка, а за ним Панов Давыдка.

– Что глотку дерете?

– Это ты, Степан Харитоныч? – виновато спросил Шлётка. – А мы – октябрины, ну и затянулись...

– Степан? Вот те Степан! Иди выпрягай. Принарядился. Давыд, семена прочистили?

– Мешков нет, Степан Харитоныч, – заплетающимся языком проговорил Давыдка.

– Опять? Да вы что, едите, что ль, их?

– Ты что на меня-то? Что мне их, за пазуху, что ль, прятать? Ты вон со Шлётки спрашивай. Он ведаёт ими.

Из-под кручи, с берега Волги понесся раздирающий зов:

– Ка-ара-ул... К-а-а-р-р...

И снова зазвенела бледная, морозная ночь.

– Что такое? Что? Эй, кто та-ам?

Через сугробы, вскидывая ноги, Степан метнулся к берегу. За ним кинулись

Кирилл и Сивашев.

На берегу в тени возились трое...

На берегу в тени Яшка бил кулаком в большую голову Плакущева, звал Барму:

– Стреляй!.. Прикончь пса!

7

Барму взяли на берегу Волги. Яшку же долго искали по округе и только на восьмой день нашли его в Илим-го-роде. Он сидел около пивной, на тротуаре, наискось свеся ноги на мостовую, и, покачиваясь, скрежеща зубами, уставив посоловелые глаза в холодный асфальт, тянул, бессвязно и тупо:

– А-а-а. Я тебе должен? Я тебе должен?

На «Брусках» никто о нем не пожалел... Только Клуня, скрываясь по темным углам, тихо, придавленно выла... Выло и Широкое, далеко разнося весть об аресте... А когда Илья Гурьянов, Никита, Маркел Быков, Митька Спириин вернулись из суда и привезли весть о том, что Барма и Яшка за превышение власти, за избиение крестьян во время хлебозаготовок присуждены к высшей мере наказания – к расстрелу, широковцы охнули, попрятались по избам, точно этот приговор лег на них, и шепотом, сторонкой, передавали то, что было на суде.

Илья Максимович в это время лежал в передней комнате, растирал широкими ладонями поясницу, бока, голову. Услыхав о решении суда, он, несмотря на сильную боль во всем теле, выбрался на улицу и раздраженно заколотил в рамы окон.

– Приговор. Приговор надо писать – просить советскую власть помиловать. Смиловаться. Со всяким такое может быть...

На Плакущева налетел Никита Гурьянов:

– Да ты что? Угорел, что ль? Помиловать? – и зашипел с хрипотой: – Бешеных собак надо колом по башке, а ты – помиловать!

– Глупой! Ой, глупой, – оборвал его Плакущев, морщась от боли. – Ты думаешь, так вот я бы за бешеную собаку и поднялся... Нет, сейчас лежать бы мне... А ты то пойми – сотрут ведь... За каждого по улице уничтожат... Это подумай...

– А-а-а...

– Вот те и «а-а»!

И Никита метнулся по порядку, сшибая по пути вороха пухлого снега, требуя от мужиков приговора... Мужики пятились, хмурились, но к вечеру, сбитые Плакущевым, Гурьяновым, Захаром Катаевым, дали свои подписи под прошением во ВЦИК.

В тот же вечер привезли из больницы Стещу. Вез ее Иван Штыркин. Старательно кутая шубой ее ноги, он без умолку говорил, посвистывал, запевал песенку, старался выкинуть какую-нибудь шутку, но у него выходило все нескладно, тупо.

– Скорее, Иван Петрович.

– Как ты сказала? Иван Петрович? Сроду меня никто так не звал. Раз только в милицию я по пьяному делу попал, так там милиционер, маленький такой, а усы саженные, после всего прочего и говорит: «Ну, Иван Петрович, иди-ка, садись вот сюда в кутузку»... Ты что, ты что опять сморщилась?.. Аль плохо? Ну, пошел, пошел, буланый...

Стеша бледная, появая, как ошпаренная ветка вишенника, – смотрела в одну сторонку, при встрече с коммунарами отворачивалась: боялась, как бы по глазам они не узнали, что было с ней в избе у старухи Чанцевой.

– Господи, – шептала она, чувствуя пустоту этого слова, и содрогалась, вспоминая разостланную дерюгу, длинные пальцы старухи, а в пальцах узкий отрезок от подошвы резиновой калоши. – Умереть бы уж... умереть, – она дрожала от стыда и тянулась к Аннушке: – Аннушка! Вот она, моя зацепочка...

Целуя Аннушку, она вспомнила Машу Сивашеву – Марию Сергеевну, как ее называли в больнице. В ту самую больницу, где лежала Стеша, Машу назначили врачом.

С первого дня она не понравилась Стеше. У нее шаг широкий, стриженная, курит тоненькие папироски, при разговоре втыкает руку в бок, как Митька Спирин.

«Мужичка! Вот егоза!» – подумала Стеша.

А в утро после операции, когда перед Стешей все потускнело и не было у нее сил подняться, подошла Мария Сергеевна, тихо сказала:

– Дурочка... Терпишь! Сказала бы давно. Давай вот я тебе помогу.

И потом она часто забегала в палату к Стеше, с порота улыбаясь:

– Ну, дурочка, как живем?

Стеша вспыхивала, свертывалась клубочком под одеялом, и казалось ей, что она такая же маленькая, как Аннушка, а Мария Сергеевна – большая, умная, решительная.

– Я к тебе приеду, приеду, дурочка, – говорила Мария Сергеевна, усаживая Стешу в сани. – Ты только нос не вешай, а про то забудь. Надо, милая моя, цену себе знать и не быть постельной принадлежностью.

Стеша только теперь разобралась в последних словах Марии Сергеевны, и вся прошедшая жизнь показалась ей той дерюгой, которую старуха постелила под нее в темном углу избы. Стеша посмотрела на Клуню – сухую и сторбленную, как выброшенный корень березы, на ее нос – кургузый, с чуть отвернутыми ноздрями. Эти ноздри ей напомнили Яшку – синего, слюнявого, ту ночь, когда он, пьяный, с мутными глазами, лез, ловил ее, сжимая сильными руками... и старуху Чанцеву.

– Мама! – заговорила она. – Поди-ка... Ну... Ну, поди, позови тятю... – И легонько вытолкнув Клуню из комнаты, уткнулась лицом в подушку, чувствуя, как в ней растет ненависть, а с этой ненавистью – сознание того, что надо подняться, встать, быть такой же, как Мария Сергеевна: курить, втыкать руку в бок, шагать широко, по-мужичьи шагать...

Степан Огнев свернулся, спрятался в своей комнатке, посерел, сжимаемый непонятной ему тоской, боясь выглянуть во двор. Эта боязнь удивляла его. Он подходил к двери, но как только дотрагивался до скобки – черной, лакированной, – быстро отрывал руку, словно скобка была раскалена, и снова ложился на кровать, кутаясь в тулуп.

К нему несколько раз заходили Кирилл и Сивашев и всякий раз натыкались на Грушу.

– Спит... хворает, – потихоньку выпроваживала она их.

Доступ к нему имел только Николай Пырякин. По вечерам, горбясь, еще совсем не понимая мучительных дум Степана, Николай шел к нему, садился около кровати.

– Ну, как? – с затаенным недоверием спрашивал его Степан.

– Как? Повезли... Хлеб гужом повезли.

Все шло благополучно.

– Это же мужики перепугались Бармы, – говорил он Николаю. – Вот и повезли. Боятся, как бы к ним не прислали другого Барму.

– Нет! – не замечая того, как морщится Степан, протестовал Николай. – Нет, Степан Харитоныч. О Барме другое говорят: «Вот ежели бы он так растолковал нам что к чему, разве мы, слышь, свою власть подведем? А то он вскочил из-за стола и давай: «Лопатку ему в руки, рой себе могилу, так, чтобы из тебя икра пошла». Вот и ощетинились.

«Да, да, – думал Степан. – Но все равно – они вновь все убегут к Плакущеву, тем паче, – припомнил он поговорку секретаря окружкома, – паче... Да нет, не то... не то все... Влетел я... и пускай, пускай, – устало решил он. – Пускай партия расправится. Секретарь говорил, что я подпал под... как это? Под влияние... мелкой буржуазии? Я подпал? «Теперь это не редкость... и мы будем с этим явлением жестоко бороться. И тебя, как члена окружкома, в первую очередь возьмем в переплет, чтоб другие опомнились, кто пониже тебя». Пускай меня ударят по голове. Это послужит примером для других», – утешал себя Степан, считая, что он приносит себя в жертву ради интересов партии, и все-таки ему было нестерпимо тягостно представить себя вне партии.

И он начал постепенно сползать... «Уйду к Чижику... Конечно, партия мне не разрешит теперь руководить коммуной. Уйду к Чижику и буду возиться с пчелами. Устал я».

Убеждая себя в этом, он успокоился и крепко уснул. Груша несколько раз подходила к нему, напряженно смотрела в колючее, небритое лицо, стараясь разгадать Степановы думы, зная о том, что у Степана есть что-то больше той печали, какая есть у нее, – и не могла разгадать. А Степан крепко спал, во сне улыбался, взмахивал руками. Спал он ночь, утро и только к вечеру попросил есть:

– Есть я как хочу, будто сроду не ел.

– Так и есть, третью неделю на еду глядишь только.

За тоненькой перегородкой, в избе Панова Давыдки, шел спор.

– Кто это там? – спросил Степан.

– Кто? Этот длинный-то... как его...

– Сивашев?

– Да, и Кирилл Сенафонтыч. Чижик там же.

– Давай поем, пойду к ним.

Груша побежала в столовую за обедом, а Степан прислушивался кговору за перегородкой.

– Нет, товарищ Сивашев, – говорил Кирилл. – Эти люди сделали свое дело на фронте. Там нужен был этот... как его... энтузиазм... А теперь нужно и другое.

Кирилл долго говорил о заводе.

– Да, это ты верно, – перебил его Сивашев. – Заводской порядочек сюда надо.

– Вот, вот, – подхватил Кирилл. – А здесь что? Какой интерес у них к работе? Смотри – у них одних мужиков в коммуне шестьдесят четыре человека, женщин, подростков сколько, и всю зиму палец о палец не стукнули.

– Это ты зря, Кирилл Сенафонтыч, – вмешался Давыдка. – Мы семена готовим, лошадей там убираем, там по двору.

– Навоз всю зиму чистите. Думаешь, это работа? Вот если бы рабочие на заводе всю зиму машины только чистили. Что бы ты сказал? Или вот: у Николая Пырякина сын родился – так все коммунары шесть дней имя новорожденному выбирали. Ведь это же от безделья?

– Да, это, пожалуй... – согласился Давыдка. – Да и то еще – один работает, а другой галок в парке пугает. Таких, на мой взгляд, гнать бы надо в три шеи...

– На табак нет... На табак, – вставил Чижик.

– Сволочь, – прошептал Степан, злясь на Давыдку и Чижика.

Степан хотел оторваться от перегородки, пойти поговорить с «ими, а Кирилл подхлестнул:

– Вот я и говорю: нельзя так строить хозяйство, на словесах, на уговоре. Надо такой порядок создать, чтобы каждый себе работу искал, зная, что если он сегодня не поработает, то завтра и не поест... А эти люди...

– Тише: слышать за перегородкой, – предупредил Давыдка.

Но до Степана уже долетели слова Кирилла:

– ...отжили, как старые меринья. Почет, конечно, им. Но смену им...

У Степана по телу пробежала легкая дрожь, он вскочил и забарабанил кулаком в перегородку.

– Нет, не отжили!.. Всякий приедет... Ты еще... молод! – и спохватился. «Глупо», – подумал и еще больше разозлился, прикусил губу, накинул на плечи полушубок, с силой рванул дверь, вылетел из комнаты.

Солнце яркое, буйное, точно давно ожидая выхода Степана, лизнуло лучами лицо, глаза. Степан отшатнулся и, держа ладонь около глаз, несколько секунд стоял в

оцепенении и за эти секунды пережил что-то такое же теплое и радостное, как и лучи солнца. Улыбаясь, он отнял руку от глаз и, глядя на гору, на то, как там медленно, прокладывая черные бороздки в снегу, ползут потоки, прошептал:

– Как хорошо-то! И чего я раскис, как соленый огурец? – Он потянулся, потрескивая суставами, и закричал: – Шлётка! Как живешь? Вот те крещение! Ждали морозов, а оно вон чего. Развезло!

Хлюпая подшитыми валенками, Шлётка подбежал к Степану и, не отвечая на его вопрос, заговорил:

– Кой пес вы тут заперлись все? Черти драные! Там лед собирается, все к чертям. А ты тут... Спасать плотину надо...

«Ага, вот и случай показать себя», – подумал Степан.

9

За плотиной, точно больной в горячке, река сбрасывала, срывала с себя ледяной покров. Лед трещал, ревел, двигался вниз на песчаную отмель, на плотину, ломал, бил в дубовые сваи. Плотина от ударов гудела, охала, стонала – не сдавалась.

– Затвори! Затвори открыть! – приказал Степан. – Да не все кидайтесь... Что вы, как бараны! Расходитесь! Становись вон там на берегу!

К затворням кинулись Давыдка, Шлётка, Чижик; вцепились, приналегли, ухнули. Вода хлынула в открытые жерла, грохнулась – вниз, ломая своей тяжестью лед на реке.

«Эх, напрасно открыл затвори», – хотел предупредить Кирилл, но его толкнули, и он вместе с группой мужиков перебежал плотину, принялся рубить лед, думая о том, что, пожалуй, хорошо сделал – не сказал Степану о том, что напрасно открыли затвори: тот мог бы это истолковать по-своему да еще и оборвал бы.

Степан, стоя на плотине, вскидывал руки, точно собираясь ими месить тесто, – командовал, расставляя людей:

– Так, так! Тут становись... Да не топчитесь на одном месте! Чего вы топчетесь, как куры на току! Вот туда, туда бери с собой пяток, Давыдка, а ты, Николай, вот сюда! Бей наперерез... Вот так... Ну, принимайся, дружнее!

И сам ломом ударил в льдину так, что лом зазвенел, а от льдины вскинулись ледяшки-брызги, засыпая ему ноги.

Лед напирал...

Он поднимался далеко, выше по реке, шел оттуда медленно, с неохоткой, словно выбирал себе путь, но, дойдя до пруда, вдруг оживлялся – льдины, кружась, начинали метаться из стороны в сторону, прыгали друг на друга, наворачивая горы ступенчатой, рыхлой массы.

Коммунары второй день отбивались от наступления реки: вбивали в мерзлую землю подпорки-быки, кололи ломami, топорами лед, толкали его баграми на песчаную отмель, в открытую пасть затвори.

А лед пер...

И на третий день льдины, как ножами, врезались в грудь плотины. Плотина заревела, словно подстреленная медведица, затряслась, готовая вместе с седым полчищем льда ринуться вниз по течению.

Все эти три дня Степан выкриками, шутками подгонял мужиков и, несмотря на то, что у него самого нестерпимо болела поясница, руки, он был бодр, радуясь тому, что все борются со льдом дружно.

«Вот это армия... дружная, крепкая армия... И меня от них не отдерешь: не пустят... знаю. Да-а...»

Но на четвертый день к вечеру, глядя на то, как огромная льдина со всего размаха стала на ребро и хряснулась на плотину, разлетаясь в мелкие серебристые осколки, — он усомнился: «Осилим ли? И не напрасно ли я велел открыть затворни? Это вызвало движение льда сверху реки, И так хватило бы, а тут еще подбавил... с закрытой затворней легче бы было... А тут?»

Вода через открытые затворни давно схлынула из пруда, осела; вместе с водой осел у берегов лед. На него наскакивали, лезли другие льдины, образуя кругом пруда изуродованную, громоздкую, ступенчатую стену. Стена под напором идущих сверху льдин сжималась, сочась множеством светлых потоков, и медленно, еле заметно ползла на плотину.

«Бели эта махина двинется, — подумал Степан, — тогда не удержать — с корнем срежет плотину... Закрыть затворни? Нет. Тогда вода поднимется и подмоет лед у берегов».

Он посмотрел кругом. Мужики, бодрые до этого, показались ему такими же серыми и рыхлыми, как и льдины. Верно, они с силой взмахивали ломami, топорами, баграми, но лед, казалось, стал упорнее, жестче: он уже не разлетался вдребезги под ударами, как раньше, а крошился и еще с большей силой двигался на плотину.

«Что же делать-то? — подумал Степан. — Может быть, отставить? Всех ведь изломать можно... Ну, нет, нет... Что за чепуха!»

И он вновь принялся колоть лед.

Николай Пырякин со своей группой кинулся вверх по реке. Там, где река узким горлом соприкасается с прудом, баграми они остановили идущие сверху льдины, ставя их на ребра, образуя новую ледяную плотину.

Затор получился удачный: льдины, кувыряясь, пошли ко дну, быстро перепрудили горло реки. Вода поднялась, хлынула через край берега в стороны, таща и разбрасывая льдины по пойме.

— Вот ладно! — одобрил Степан. — Удержим! Теперь непременно удержим! Приналяг! Приналяг, ребята! Еще маленько!

Но в ночь ударил мороз. Лед, сжимаемый холодом, изогнулся, вспучился, рванулся, снося ледяной затор в горловине реки, и всей массой нажал на плотину.

Плотина крякнула, захрипела, закачалась.

Среди мужиков сначала пошел легкий говор, потом говор перешел в злое ворчанье, затем Шлёнка кинул в сторону топор.

– Я не буду!

У Степана лом дрогнул в руке, глаза наметили точку – затылок Шлётки:

– Как «не буду»? А кто будет? Дядя чужой?

Шлётка перепугался, отскочил от Степана, взбежал на пригорок и из тьмы вновь прокричал:

– Не буду... Подышать... А будь проклята ваша коммуна! Что – душу положить?

– Как «коммуна»? Да ты...

Вслед за Шлёткой Чижик, скребя сапогами жесткий лед, утонул в темноте.

– Бросай, кому гибель не мила! – донесся из тьмы его голос. – Гляди, сорвет сейчас – костей не соберешь! Кирюш! Брательник!

Кто-то еще крикнул:

– Перед смертью не надыхайся. Затвори-то не надо бы открывать!

Степану показалось, что это крикнул Кирилл.

– А-а-а, вот как, – зло произнес он и потянулся в сторону крика.

В темноте, рядом с Сивашевым, колебалась широкая спина Кирилла.

– Не он, – решил Степан и по тому, что смолк звон топоров, определил: мужики бросил «колоть лед».

Степан припал на колени и, весь дрожа, пристальной всмотрелся в тьму. К селу нехотя, раскоряками поднимались в гору коммунары.

«Все... лопнуло! – с болью подумал он. – Ушли!» – и еще раз посмотрел в тьму.

– Степан Харитоныч! Огнев! Рвет! – донесся голос Сивашева.

Огромная льдина задела крылом за выступ плотины и, переползая, срезала его. Сивашев со всего плеча, изгибая дугой ноги, ударил ломом с тычка в льдину, пропорол ее. Лом ушел вниз, Сивашев потерял равновесие, упал плашмя на льдину. Льдина от удара лопнула и вместе с Сивашевым скользнула в воду.

– А-ва-ва! – взревел он и, точно огромная рыба, выбросился из воды на плотину.

– Фу ты! – Кирилл заметался, от растерянности не зная, что и делать. – Как это ты?

– Ну, мне неволя бежать в избу, – Сивашев отфыркнулся и кинулся в гору.

Вдвоем Степан и Кирилл рубили лед.

Кирилл медленно, будто за делом, боясь, что плотина вот-вот сорвется, отодвигался все дальше и дальше на берег, сознавая, что они оба похожи на двух букашек, которые вцепились в огромное бревно и хотят его втащить на обрыв. Он намеревался было и Степана предупредить о том, что плотина может ежеминутно рухнуть, но побоялся, что Степан может счесть это за трусость. А Степан горбился, колот лед, и было видно – все это он делал машинально, ничего не замечая, думая совсем о другом. Кирилл потоптался на берегу и, давясь своей хрипотой, посоветовал:

– Степан Харитоныч, надо... посулить им что-нибудь. Степан не отозвался.

Кириллу вдруг стало невыносимо жаль его.

– Степан Харитоныч!.. Дядя Степа!

– А?.. Чего? – глухо отозвался Степан. – Кто кричит? А-а, что ты, Кирилл?.. Вот ведь как...

– Посулить, мол, им что-нибудь. И с плотины сойди. Трясется все... Вот-вот понесет...

– Посулить? Что посулить, коли люди себя забыли?

– По пуду муки... или деньгами... если плотину спасут.

– А-а-а! Как на базаре?

– Конечно. Ведь плотина-то дороже. Сорвет – всю зиму мельница стоять будет... Да и делать ее...

«Собственник! – подумал Степан. – Гнилое болото». Кирилл подбежал к нему:..

– Ты вспомни под Ростовом... в бой красноармейцы не шли... А по паре сапог получили – смяли белых. Помнишь?

Кирилл вошел на плотину, закачался и перебежал на другую сторону:

– Так я пойду... скажу...

Степан некоторое время смотрел в тьму – в ту сторону, куда нырнул Кирилл. Затем сошел с плотины. На берегу его оглушило ревом, идущим из горловины пруда, скрежетом льда.

«Как гремит-то все кругом!» – И, почувствовав ломоту во всем теле, он присел на выступ ледяной горы.

Показалось неудобно. Поднялся на второй выступ, потом на третий, четвертый – и, тихо улыбаясь, забрался на верхушку ледяной горы, уселся, как в кресле, подпираясь ломом. Холодный ветер сковывал тело, сапоги подошвами примерзали ко льду. Отдирая то одну, то другую ногу, Степан смотрел на то, как по темно-синей глади пруда ползли льдины, как они кружились, налетали друг на друга, вскакивали на плотину и с кручи шлепались на насыпь. И ему показалось, что он не только теперь, но и всю жизнь боролся вот с такими бесшабашными льдинами. И невольно каждую из выступающих льдин он стал приравнивать к тем, кто окружает его. Вот льдина... Когда она кружилась на середине пруда, то казалась твердой, толстой, такой, что от ее удара непременно разлетится плотина, но вот она выползла на насыпь – и, жидкая, рыхлая, жалко развалилась, придавленная другой льдиной.

«Яшка, – промелькнуло у него. – Это – Яшка. А эта – седая – Плакущев. Ишь как придавила... не пикнул Яшка. А это? Это – Кирилл».

Льдина, которую Степан назвал Кириллом, сидела верхом на другой льдине и бороздила черную гладь пруда.

– А где я? Я где?

Все льдины ему казались совсем непохожими на него: они были или слишком толстыми, как Маркел Быков, или кургузыми, как Панов Давыдка, или тонкими, вылизанными. Он обежал глазами пруд, посмотрел в даль реки... Даль набухла тьмой. Из тьмы выступали, чуть поблескивая белыми грудями, льдины и с наскоку проносились через пруд, ударяясь о плотину. Степан невольно в нескольких саженях

от него на песчаной насыпи лежала огромная раздробленная льдина. Сверху Степану показалось, что она попала не на свое место, что она, пыхтя, сочится. Он отвернулся. Вдали во тьме кучились избы Широкого. Где-то еще наяривали на гармошке. Кто-то кинул слова песни, песню заглушил молодой девичий смех... И Степан склонился; обхватил лицо руками. На ладони упали теплые капли.

– Сюда давай! Сюда!

Степан поднял голову. С горы при свете фонаря, факелов спускались коммунары. Впереди всех раскачивалась высокая фигура Кирилла Ждаркина, рядом с ним семенил ногами Чижик. В группе баб мельтешила Стеша и широко шагала Анчурка Кудеярова.

– По пуду муки на каждого, ежели спасете плотину! – кричал Кирилл. – Согласны? Так приступай!

Толпа еще не добралась до берега, как с горы спустились Николай Пырякин, Давыдка и еще кто-то. Они опередили толпу и около плотины поставили шесть ведер.

Давыдка ковшом зачерпнул в ведре и первому поднес Шлёнке.

– Пей, Шлёнка. Гуляй за наше здоровье.

«Самогон! – решил Степан. – Этого еще недоставало».

Он поднялся – качнулся и вновь сел на ледяное кресло: ноги примерзли к льдине. Степан заворчал, дернулся, посмотрел – сапоги заплыли льдом так, что и не отдерешь.

– Вот еще новое дело, – пробормотал он и ломом начал откалывать сапоги.

А у плотины кричали коммунары, звенели бабы. Отпивая по ковшу самотона, закусывая ситным, они бежали через плотину на берег.

Мимо Степана у подножия ледяной горы шмыгнула Стеша, следом за ней – Кирилл Ждаркин. До Степана донесся смех Стешы – такой же радостный, с клекотом, какой слышал Степан у нее только в день, когда она поднялась после родов с постели.

«У Стешки какая-то радость», – подумал он.

Стеша, прыгая с льдины на льдину (во тьме мелькал подол ее белого платья), перебежала ложбину и, смеясь с клекотом, спросила:

– Сюда, что ль, Кир... Кирилл Сенафонтыч?

Степану показалось, что первый раз она Кирилла назвала Кирей, и от этого ему стало больно.

– Сюда, сюда! – ответил Кирилл и, легкий, пружинистый, нагнав Стешу, крикнул коммунарам: – Начинай, эй! Будя лакать!

– Чай, и ты выпей... – шутя посоветовала Стеша.

– Нет... выпить я не хочу... А хочу...

Степан не расслышал последних слов Кирилла, согнулся, хмуря лоб, пристальней посмотрел на пруд.

Сверху пруд казался огромной черной пастью с перебитыми, раздробленными зубами. Пасть рычала. В скрежете и стоне слышались отдельные выкрики, смех. Давыдка ругался со Шлёнкой, гнал его от самогона, как теленка от месива.

– Пошел! Пошел! Налакаешься – да и нырнешь в воду... Отвечай за тебя... Пошел!

А то пойду Степану скажу! Степан!

– А тебе жалко? Осталась ведь самогонка.

– Пошел, говорю! А то вот дам ковшом по сопатке.

С земли поднялись фонари, взмахнули рыжим светом, укорачивая и удлиняя тени людей, льдин, деревьев, и в рев ледохода втиснулся человеческий гул, закрывали, словно рубя железо, топоры, заохали коммунары, зазвенели бабьи голоса.

И по тому, как ледяная гора под Степаном перестала дрожать, он определил – на ледяное полчище пошла в наступление человеческая могучая сила. Вокруг пруда группа коммунаров во главе с Кириллом Ждаркиным (Кирилла Степан узнавал по голосу) криком разрезала рев ледохода, потом что-то сильное стукнулось о плотину, содрогаясь, смолкло, затем выше пруда заскрипели льдины – и тоже смолкли, унося далеко вверх по реке жесткий шорох.

– О-о, вот это ловко! Вот это ловко! – закричал Николай Пырякин. – Степан где? Где Степан Харитоныч?

– Там, он там. На том берегу!

– Эй, давай! Багры давай!

Люди тянули баграми на берег льдины, крошили их топорами в реке. Мокли, мокрые выскакивали из воды, пускались в пляс, обсыхая около костра, черпали из ведра самогонку, бежали к реке, взбивая ярусы мелкого хрустального ледяного щебня.

Люди бились, сцепив зубы.

И когда занялась заря, лед стал. А люди, усталые, еле волоча ноги, побрели в гору.

Кирилл Ждаркин, будто невзначай, посмотрел в большие глаза Стеши и, трогая ее за плечо, проговорил:

– Победили... Вот сила человеческая... она...

И Стеша, поняв, о какой человеческой силе говорит Кирилл, приблизилась к нему.

– Киря... я ведь... – и тут в ужасе попятилась: – Тятя! Тятенька!

Высоко на ледяной горе, вырисовываясь сгорбленной спиной на сером фоне неба, сидел Степан Огнев.

– О-о-ох ты! – вырвалось у Кирилла, и он взбежал на гору, дернул Степана, выхватил из кармана перочинный ножик, разрезал сапоги. Затем взвалил Степана к себе на спину и побежал на село через плотину – спокойную, освобожденную от наступления ледяного полчища.

Стеша кинулась за ним. На горе, запыхавшись, она остановилась, посмотрела на то место, где сидел Степан. Там торчали, прижавшись друг к другу, чуть склонясь вперед, вмерзшие в лед сапоги, и трепал ветер на краю льдины серые с черными пятнами портянки.

В полдень, попискивая, к «Брускам» пристал баркас. Баркас привез из Илим-города Степана Огнева, разбитого параличом, с полуотмороженными ногами. Ноги, забинтованные в марлю, казались двумя обрубками березы.

На берег, к растерянным и молчаливым коммунарам, Степана снесли Николай Пырякин и Панов Давыдка. Груша суетилась около, словно собиралась подавать на стол и не знала, с чего начинать. А Степан раздраженно кривил губы, кашлял, мычал, как немой, и никто его не понимал.

– Должно быть, больно, – проговорил Николай Пырякин и, нагнувшись к Степану, спросил: – Больно, Степан Харитоныч? Где больно? – но, увидав злые, подзольного цвета глаза, он отвернулся и тихо добавил: – Младенец вроде. Ну, давай несем, дядя Давыд.

Вслед за ними в гору вместе с коммунарами шла Груша. Несмотря на пекло, она куталась в шаль, спотыкалась, точно слепая, что-то шептала, перебирая дрожащими пальцами кисти шали.

– Горе-то какое у ней, а?! – пожалела ее Анчурка Кудеярова. – Горе такое крепкое: оно голосу не подает. А Стешка глаз не кажет: забила в угол и никого не узнает. Чай, и я, вот когда мой покойный Петя удушился, все по ночам ко мне являлся... Висит это, а ноги у него ровнехонько к земле...

Ее никто не слушал.

Все смотрели на Грушу и ждали – она на пригорке непременно упадет и больше не встанет. А она все шла, торопилась, словно хотела опередить носилки со Степаном, и даже улыбнулась всем, когда его положили в комнатке на кровать, что-то хотела сказать, но тут не выдержала, опустилась на глиняный пол и, давась, выкрикнула:

– Вон он, милый!.. Вон он, Степынька! О-ох, не могу я! Не мо-о-гу...

Ее отвели в комнату Стеши.

После этого все засуетились, точно выкрик Груши пробудил их, и разбежались по своим квартирам. У кровати Степана остались Николай Пырякин и Аннушка. Николай, сидя на корточках, раскачивался из стороны в сторону, и казалось, вот сейчас он запоем, и песня будет тягучая, тоскливая, как завывание волчонка. А Аннушка, совсем не понимая, что творится с дедом, тянулась к нему и звала:

– Деда, а деда... Де-еда-а!

...И все разом прорвалось. Словно из дырявого мешка зола, все поползло на «Брусках». Николай Пырякин, взяв на себя руководство хозяйством, приказал собрать летнюю сбрую и готовиться к пахоте. Мужики, издеваясь над новым распорядителем, сгрудились на обозном дворе и, будто по уговору, потащили телеги, плужки, сани, сбрую, складывая все это у своих квартирок в неуклюжие кучи.

Николай заметался и вцепился руками в телегу.

– Куда?! Куда поперли? Огрызки!

Телегу рванули племяши Чижика и с грохотом отбросили в сторону. Николай

взвыл и, вооружась колом, стал около тракторов.

– Не дам! Тракторы не дам! Не подходи!

Но к тракторам никто и не подходил. Мужики тащили колеса, сани, мешки, сбрую, а бабы, развеивая подолами платьев, носились по двору, ловя кур, поросят. Поросята, уже рослые и юркие, скользили из жадных рук, заливаясь визгом, шныряли мимо баб. Бабы, спотыкаясь о разбросанный хлам, падали, вскакивали, таращили глаза и, состязаясь в беге, гонялись за поросятами... Жена Ивана Штыркина, сухая, как борзая собака, ругалась с женой Давыдки из-за квашни. Анчурка же Кудеярова сорвала с трактора рогожу и, увернувшись от удара Николая, грозя кулаком, гоготала:

– Уселси! На трактор, чай, пес чахлый, уселси и – «не дам». Я те «не дам»! Я те башку-то на рукомойник сверну!

Ее басок тонул в грызне Шлётки с Петром, племянником Чижики. Шлётка успел укатить пять колес. У Петра было только три колеса, и он вертелся около Шлётки, как кошка около мясной лавки.

– Мне ведь! Три у меня, – убеждал он Шлётку, стараясь вырвать у него пятое колесо. – Ты это пойми. Зачем тебе пяток? Куда я на трех поеду?

– Брось! На трех поедешь, – хладнокровно и с такой уверенностью говорил Шлётка, что, казалось, и правда, на трех колесах можно поехать. – Поедешь, пра... Ну, не тронь! – взрывался он, когда Петр тянулся к колесу. – Не тронь. А то вот тенькуну колуном по башке и размозжу, как куренку.

– Братики! Братики! Родственнички! А, что это?! – визжал Петр, зовя родственников.

Из дверей высовывались «братики, родственнички», мельком смотрели на мечущегося Петра, бежали на обозный двор, на склад, на конюшню, тащили рухлядь.

И все скулило, визжало, орало... Только породистая свинья Маша, белая и жирная, похрюкивая и как бы недоумевающая от всей дворовой суетни, кружилась около баб в ожидании, что ее кто-нибудь почешет или бросит ей вкусную корку ржаного хлеба. Иногда она, заслыша треск с обозного двора, вскидывала голову, часто хрюкая, шарахалась, потом опять успокаивалась, ходила вразвалку, тыча рылом в ноги коммунаров.

Шлётка бросил пятое колесо и со всего разбега колуном – на длинном дубовом черенке – сшиб Машу с ног и поволок тушу к себе. Давыдка Панов, видя, как у Маши из головы брызнула кровь, дрогнул и, гремя в кармане ключами от амбара, ощерился.

– Тюкнул, сволочь, свинью. И все тюкнут.

И Давыдке стало так тоскливо, как будто у него все сгорело и теперь не отстроиться ему уже никогда.

– Дом построили. Флаг. Развевайся! – с издевкой проговорил он, затем вошел в конюшню и, мысленно распределяя лошадей по семьям, выбрал себе гнедую, с раздвоенным крупом, матку. «Не дадут», – решил он, озираясь по сторонам, выдернув из стены ржавый гвоздь, вколотил его в копыто лошади. «Вот так, хромая». Вышел из конюшни и с огорченным видом сообщил Штыркину.

– Захромала гнедуха окончательно. Доведется ее теперь татарину на махан. Совсем

захромала.

– Хитер, пес, – подмигнул ему вслеп Штыркин и, войдя в конюшню, овечьими ножницами под самый хрящ отстриг хвост буланому грудастому мерину.

Вслед за всеми поднялся и Чижик. Ему надо было выставлять из омшаника пчел. Он выставил их не за парком, как до этого уговаривались со Степаном, а на своем бывшем пчельнике, рядом с вишневым садиком Маркела Быкова.

– Что пчелок где выставил? – прогнусил через плетень Маркел. – Аль боишься – коммунисты мед поедят? Они и так, бают, сахарный пирог едят.

– Какой пирог – неизвестно. Это ты под собой погляди, коли на двор пойдешь: сахаром аль чем пахнет, – и осекся Чижик. «Зачем травлю? – подумал. – С ним жить доведется...»

– Востер у тебя язык-то стал. Гляди – губы не обрежь. Как раз можно.

– Не то хотел, Маркел Петрович... А то – запутался я: в голове шум, и слова не те иной раз мелю. У тебя как – все уцелели пчелки?

– Уцелели. У нас сроду уцелеют...

– И в коллектив не забирают?

– Не-ет. Мы ведь так – нырнули... кто чего хочет, тот то и предпринимат. А землю на полоски порезали... Что со Степаном-то стряслось?

– Что? Кондрашка его стукнул.

– Ну-у! Жалко! Сноровный мужик был, – Маркел Быков облокотился на плетень и долго смотрел вдаль, на «Бруски», потом тихо прогнусил: – Проклятое то место, есть. Деда барина Сутягина свои собаки загрызли. Пьяный напился, кота любимого забрал да на псарню. Псы на кота бросились, разорвали, а потом и барина в клочья разнесли... А прадеда – мужики, крестьяне, с утеса в Волгу бросили... Руки ему назад привязали да и спустили. Он – хлюп, хлюп, – и утонул... А и сам последний барин тоже без рук, без ног валялся... Егор Степанович все его обмывал да обхаживал. И Егор Степанович костью подавился... Теперь и со Степаном вот беда. Проклятое место то есть, я так полагаю. Его бы огородить кругом да воров туда – подыхать.

2

Степан лежал на кровати перед окном во двор. Его, очевидно, раздражали беготня коммунаров, гам. Он часто кашлял, тяжело, точно стряхивая с пальцев глину, махал рукой. Груша прикрыла окно дерюгой, и он успокоился. У его ног сидел дедушка Катай. Видя, как Степан ему улыбается, Катай улыбался сам и умиленно рассказывал:

– Пристань к нам везут. Из Подлесного. Натэ-ко! Допрежь мы к ним мыкались, ежели в город понадобится зачем, а теперь они к нам. Вот ведь как! Наше село головой на Волге делается. А? Пристань, говорю. А ты, Степан, смеху больше. Смеяться не грех. У нас дурачок был, помнишь, Пашка Быков? Тот сроду смеялся, и горя ему мало. Смейся, баю, а он и смеется.

– О-хх! – не сдержала Груша стона и убежала в парк, забила в чащу, обняла там

старую ноздреватую березу.

Захар Катаев, услышав плач, свернул с тропочки в сторону и у старой березы увидел Грушу. Он хотел успокоить ее и, не найдя в себе таких слов, которыми можно было бы разогнать Грушину скорбь, медленно зашагал к Степану.

– Смеется, сынок, смеется, – возвестил ему Катай.

– Захар склонил голову, посмотрел в глаза Степану и прошептал:

– Понимаешь, что идет?

Степан молчал и как будто собирался отвернуться к стенке. Захар, глубоко вздохнув, вышел из комнаты.

– Вот она, плотина-то, и прорвалась, – заключил он. – Главная плотина прорвалась – все и поползло. Эх, этакую плотину и Кириллу не удержать...

...В одиночку, не глядя друг на друга, расходились мужики из коллектива Захара. И Винную поляну, поросшую молодой полынью, обдувал сизый весенний ветер.

– Вода! Мужики – вода! – сказал Плакущев и, расправив плечи, сразу вырос.

С кровоподтеком под глазом (казалось, он этот кровоподтек берег, как самый глаз), мягкими, вкрадчивыми шагами он ходил по порядку и говорил ласково:

– Слыхали, закон теперь такой вышел: ежели ты будешь над своей бабой измываться, она и не чихнет – уйдет от тебя.

– Эко, до чего дожили, до чиху! – сердился Никита Гурьянов. – До чиху, прямо-то дело.

– Или вот твой сын придет из школы, скажет: «Тятка, а бога-то вовсе ведь нет... все трин-трава...» Ты его стукнешь, он тебя по закону имеет полное право в тюрьму...

– Это и хорошо? – Никита, как воробей после дождя, весь шершавился.

– Я не говорю: хорошо, нехорошо. Я говорю: закон такой вышел. Я говорю: канители много, а все что к чему? К чему друг другу глотки рвем? Эх, люди-и!

– Милые слова! – подхватывал Никита и прятал глаза от мужиков. – Как оно идет, и пускай. Алай-река течет примерно в Чертову прорву – и пускай.

– На Алае плотину можно поставить. Слыхал – Волховстрой? Речушка была с рыбешками и со всякой всячиной, а люд пришел и воду заставил для человека доброе дело делать. Вот как! А темному человеку – все вода. Эх, баили раньше, вода водой и будет. Оказывается, вода и не водой становится, а лошадью. Да еще какой...

Никита не понимал загадочных слов Плакущева, старался попадать ему в тон, и всегда отступался, а когда отходили от мужиков, тянул свое:

– Ты, Илья Максимович, как насчет Зинушки-то?

Не первый раз Никита ввертывал о Зинке, и всегда Плакущев пропускал эти слова мимо ушей, а сейчас, стоя у двора, он в упор посмотрел на Никиту.

– Тебе что за охота до этого?

– Ху-ху! Мне? Не мне охота, а Фоме. У Фомы, сам знаешь, бабу-то похоронили, сороковой день давно канул.

– Да-а? – протянул Плакущев и ушел к себе во двор.

На дворе он долго возился у плетня, обламывал торчащие прутья, причесывал плетень, как вихрастую голову любимого сынишки. Потом ушел под сарай, долго гладил рысака, серого в яблоках. Рысак потягивался, умными глазами смотрел на Плакущева, а Плакущев все больше горбился и думал:

«Фома. Тихий, как мышь. Тихая корова – и та всегда позади табуна идет, объедки гложет. Эх, Киря, Киря! Чего наделал? От своего добра в омут бросился. Был зимой и не заглянул. А и жили бы, эх, и жили бы! Мужик – вода: пруди его и живи. Нет, не придет теперь, не вернется».

И через несколько дней он гулял вторую скромную свадьбу, ронясь с Гурьяновым. В его доме, рядом с тихим Фомой и Зинкой, сидели причесанный, в голубой рубашке Никита Гурьянов, Маркел Быков, Илья, сваты, свахи – вся родня.

На этой свадьбе Илья Максимович пил много, жадно и, положив большие руки на стол, упираясь в него локтями, кричал:

– Никита! Эх, Никита!

– Что? Илья Максимович, что? Золотая твоя планита! – хвалил его Никита и большим пальцем смахивал, точно выковыривал, слезы. – Я вот ребятишкам баил. Ребятишки, – он поворачивался к сыновьям, – умру, он, Илья Максимович, отец вам.

– Эко развезло тебя... – пускал смешок Илья Гурьянов.

– Илька! Цыц! Илька!

А Плакущев продолжал так, как будто никого за столом не было и говорил он не для них – Гурьяновых, а для тех, кто там, за стенами избы, кто мечется из стороны в сторону.

– Сила! – он стучал кулаком по столу. – Сила миром правит, братики! Сила!

– Истину, истину баишь, – поддакивал Никита и умиленно глядел Плакущеву в рот.

Плакущев поднялся, загородил широкой спиной свет окна, – на лица гостей легла его серая тень, качнулся и тихо прошипел:

– Никита... бери. Все бери в свои драгоценные руки, а мне свободу дай. Дай мне злобу свою исполнить, охоту.

– Истина, – подхватил Никита. – Истина. Исполни, Илья Максимович. Твоей голове-то и исполнять.

– Бери, все бери. Бабу только, мою соловушку, пожалей, Зинку не обидь.

– Ох ты, отец! Чего ты говоришь?

– Молчи, Катерина, молчи. Вот... – Плакущев сел и, сидя, еще тише добавил: – Огнев Степан... святой человек: он миру нес добро великое, а мир замял его... потому – не с той стороны он к народу подошел.

Гости отклонились от стола, протрезвели, смолкли, а Маркел Быков пробормотал:

– Спьяну... с пьяных глаз. Вот проспится. Соснешь, может, Илья Максимович?

– Жизнь свою мы разбросали, как мякину по ветру, – продолжал Плакущев, поматывая головой. – Что мы? Поддень нас лопатой – и полетим, и не соберешь...

И-их! А ведь она, жизнь-то, снова дается. И сказано человеку, заказано с малых лет, в зыбке: человек, бейся, не давайся, чтоб тебя на колени ставили... не ползи на карачках...

В эту минуту и вполз в избу Епиха Чанцев. Задержавшись на пороге, он смахнул с головы шапку и, ища места, куда бы ее положить, мигая слезящимися глазами, проговорил:

– Здравствуйте, родственнички. Не зовут, мол, меня к столу, а я, мол, сам доберусь... Без ног, чай, мол, не коня за мной присылать. У меня еще сила есть, дарма что без ног.

Маркел зашикал на него.

– Куды, куды тебя? Аль не видишь, – показал на Плакущева, – человек не в себе, а ты лезешь.

Епиха приостановился.

– Э-э! – закричал Плакущев. – Ползи, ползи, Епиха, – и, выбравшись из-за стола, подхватил Епиху под мышки. – Мир от тебя отвернулся? Родня твоя сидит? Все – родня твоя, а живешь на задах.

– Ему на задах-то ловчее, – Никита засмеялся. – Никого не карауль: двор-то у него полем огорожен, небом крыт. Шутя живет. Ты коммунист, Епиха.

– Эдак, эдак, – согласился Епиха, растерявшийся от неожиданной встречи. – Не зовут, а я, мол, сам.

– Ты, Епиха, ноги-то бы себе отрезал: мешают они тебе – загогули какие-то, – посоветовал Илья Гурьянов и, вздернув плечи, вышел из избы.

– Ого-го! – заржал Плакущев и надел Епихе на голову ведро из-под самогона. – Пей, ешь, Епиха!

Гости засмеялись. Бабы повыскакали из-за стола. Гармонист растянул меха гармошки – все закружилось, заходило в доме Плакущева, Ильи Максимовича. А он сам, широкоспинный, неуклюжий от выпитого вина, косо расставя ноги, ловил баб и, безобразно лапая их, гоготал:

– Гу-гугу! Го-го-го! Затравили пса собаками, а он собакам хвост отгрыз. Воюй, Никита! Воюй!

3

На березовой горе под ногами еще зыбилась сырость, кое-где в оврагах грязными глыбами лежал и сочился снег, а на бугорках уже зеленела молодая травка. Ни сырости, ни снега, ни молодой травки не заметил Никита Гурьянов: он с сыновьями рубил четвертую делянку. Все эти четыре делянки при содействии Петра Кулькова были приобретены у лесничества на имя коллектива «Необходимость». Деньги за делянки полностью внес Никита, и лес достался ему.

– Гожа! – сказал он и с сыновьями взялся за топоры.

Три делянки вырубил он еще до женитьбы Фомы, осталась последняя –

четвертая, и было не до того, чтобы долго, как полагается, канителиться со свадьбой. У Никиты и так с перепоя трещала голова. Он встряхивал ею, точно ему в уши налилась вода, и с могучей силой валил под корень дерева, думая о Плакущеве, удивляясь тому, что Плакущев стал пить, и одновременно одобряя его за передачу всего своего хозяйства в руки Гурьяновых. «Гласно Фоме передал. А Фома что? Сопляк! Нет, не понять, сроду не понять, что перевернуло человека: все было разлетелось, а он столбом заделался, и коллектив на нем завертелся, как карусель».

– А вы поторапливайтесь! – подогнал он сыновей. – Три денька сроку осталось, а там и прутика из делянки не дадут. Фома! Ты что? Чирий, что ль, у тебя? Ты не серчай – от жены отняли: успеешь еще, натешисься.

– Хи-хи, – засмеялся Илья. – Счастливый человек ты есть Фомка: две свадьбы, два медовых месяца.

– Собаки! – тихо обругал их Фома и схватился за левый бок.

В левом боку у «его переливалось что-то тяжелое, как свинец, и давило на сердце. Боль в левом боку появилась в ту ночь, когда Никита, боясь, как бы кто из делянки не увез поленницы дров, оставил его одного караулить. Фома в ту ночь спал на земле, и с тех пор в левом боку часто появлялась тупая боль. Он злился и боялся, как бы зло не сорвалось: его иногда неудержимо тянуло всадить топор в затылок Ильи или в квадратную спину отца. Он с силой опускал топор и с раздражением думал о женитьбе. Шутка сказать, – свели, как бычка с телицей, да еще глумятся. И он тоже хорош, повели, а он, как барашек, хвостом завилял. А-а, все равно, он сбежит. Но куда бежать, Фома не знал. Наоборот, чем дальше, тем он крепче привязывался к Зинке, и это раздражало его. Так раздражается человек, который, не желая играть в азартную денежную игру, невольно все сильнее втягивается в нее. Зинка, изголодавшаяся, в первую ночь после свадьбы жадно ласкала его, а наутро, уткнувшись в подушку лицом, тихо плакала.

«Какая ненасытная! – подумал о ней Фома, одновременно завидуя ее порыву и стыдясь своей немогучности. – Не оттого ли и Кирилл сбежал от нее? Люди несчастны по-разному: один – оттого, что у него много лишнего, другой – оттого, что у него все есть, и ничего не заметно. Но и тот и другой одиноки».

После такого вывода ему показалось – Зинка одинокая, как и он. Приглаживая ее короткие, разбросанные на плечах, волосы, – боясь, как бы его кто не услышал из домашних, он шептал:

– Ну, не плачь! Ну, чего ты? Обидел я тебя? Ты то пойми: не в силах я. Работаю ведь, как лошадь.

А потом он при виде Зинки стал радоваться. Радовался тому, как она ест, часто шевеля губами, точно молодая козочка, как она стелет постели и, раздевшись, кургузая, прыгает в кровать, прячась от глаз Ильи. В кровати она прижимается к сухой груди Фомы и вызывает его на то же, что он делал в первую ночь. Фома силится и делает. А она после этого, удовлетворенная, раскинув руки на подушки, шепчет:

– К тятеньке бы уйти, у тятеньки в доме жить.

В тот домик, рядом с Маркелом Быковым, где она когда-то жила вместе с Кириллом Ждаркиным, она не звала Фому: боялась памятью о прошлом разбередить его. Но он сам предложил ей. И вчера она мыла там полы, окна, повыкидывала из

переднего угла портреты, хотела водворить туда иконы, но, заметя хмурь «а лице Фомы, поспешно, краснея, проговорила:

– Тут цветы я поставлю, а иконы в чулан. Слыхала – не молишься ты... а жена за мужем должна, как нитка за иголкой.

Это хорошо. Это очень хорошо. Фома скоро разделается с отцом. Заживет по-своему, свое слово скажет громко... Только вот – боль в боку, да еще Никита что-то подстраивает. Он с радостью согласился на переход Фомы в бывший домик Кирилла Ждаркина. Как же, не строиться! Только сундука с одеждой не дал, не дал сбри, сказал:

– Ты обживись там допрежь, а то пожар аль что...

...Фома сморщился и опустил топор к ноге.

– Ты что сморщился, а? – спросил отец.

– В боку болит что-то.

– Это пройдет, – уверенно сказал Никита. – Это с первачу.

И было непонятно, на что намекает отец – на женитьбу или на первач-самогон.

«Собаки, все равно уйду!» – хотел крикнуть Фома, но промолчал, метясь топором под корень дуба.

Кружась меж пней и куч хвороста, к делянке подъехали на роспусках бабы: жена Ильи Елька и Зинка. Зинка ехала на задних роспусках и, короткая, в куртке по колению, напоминала издали сову, собирающуюся взлететь. Елька сидела на передних роспусках. Лицо у нее тощее с рыжими крапинками и с большими, какими-то оголенными глазами. Фома помнит ее (он как-то по-своему, тихо был в нее влюблен) полной, веселой. Тогда ее глаза, до прозрачности синие, блестели под тонкими бровями. А теперь – вишь ты, как ее изъездили, вот родит еще и – в могилку.

Зинка спрыгнула с роспусков; подтягивая, оправляя пояс юбки, подбежала к Фоме и вся расцвела.

– В боку что-то болит, – пожаловался он.

Зинка перепрыгнула через дубок и сделала это так хорошо, что Фоме захотелось бросить все, убежать с ней из делянки, походить по лесу, покричать, пошалить, как, бывало, еще в ребятах он шалил со своей нареченной Лушаркой.

– Здесь? – спросила Зинка, отворачивая полу пиджака и глядя его сухие ребра.

– Да-а, – задыхаясь от волнения, сказал Фома.

– Идите-ка, хворост приберите, Фома! – приказал Никита, показывая черенком топора на овраг. – Приберите-ка, – добавил он и улыбнулся. – Ну, вот еще... Чай, не старики.

Фома и Зинка сошли в овраг и скрылись за кучами хвороста.

– Вдвоем бы им лес возить. Хе-хе! – Илья встал на пень, потянулся, глядя в ту сторону, где скрылись Фома и Зинка. – Наберут хворостку.

– А ты чего уставился? – упрекнула его Елька. – Гляделки лопнут. Давай накладывать.

– Не лопнут... и не убивайся: не рожу. Хо! Хворост убирают.

И было в лесу тихо, и пыхла от солнечных лучей сырая земля, и раздавался стук топора. Валил Никита под корень дерева, Илья и Елька сидели на роспусках и оба молчали, временами вглядываясь в овраг, видимо, с сожалением вспоминая свой медовый месяц.

...А через некоторое время Никита вез Фому на роспусках. На лице у Фомы играла иссиня-серая тень, изо рта шел тяжелый запах, ноги часто сваливались с роспусков и чертили пыльную дорогу.

– А ты, чай, соберись, Фома, – недовольно морщась, журил Никита. – Раскис, ровно баба. Э-эх ты! Ну, болит, чай, сказал бы: не чужие мы. Эх ты-ы!

Зинка подбирала ноги Фомы, клала их вдоль роспусков и тихо вскрикивала:

– Фома!.. Фомушка, соколик мой!

– Эх, ты! – то и дело повторял Никита и думал о своем: не везет в жизни человеку. Надо убрать делянку, через три-четыре дня пахота. Никита сбил Митьку Спирина. Митька согласился половину своей земли прирезать к загонам Гурьяновых, намерен отдать и всю... Ну, посулил Митьке лошаденку – согласился. Еще у Епихи Чанцева землю подобрал Никита... у вдовы Дуни Пчелкиной... Много земли, руки на эту землю надо. Да еще Плакущева земля... Эту землю совсем своей считает Никита... Только о земле и думы у него. А тут Фома. Эх, Фома, Фома! Вот ежели вправду свалится, доведется тогда нанимать человека, кусок на сторону бросать. И что люди зимой не хворают? Зимой хворай, сколько тебе влезет.

Вез Никита Фому мимо «Брусков», затаенных и молчаливых, как степь в темную ночь. Подъезжая к селу, он увидел: из-за мыса вынырнул пароход, волоча за собой, точно корчагу, баржу. А на берегу, у мелового утеса, толпились ширококовцы.

– Слезь-ка, ступай, погляди, что там, – заинтересовался он. – А я и один свезу... Ну, чего народ будет глядеть да и сбежится еще к нам. Ступай-ка, Зинаида.

Зинка забеспокоилась, а Фома слабо проговорил: – Сходи, Зина, да домой скорее.

Зинка, спрыгнув с роспусков, побежала к берегу, то и дело оглядываясь.

Водники, ухая, прикрепили пристань к берегу. С пристани, покрякивая, сползли четыре трактора. Вслед за тракторами сошли Кирилл Ждаркин, Улька с сыном на руках, и агроном Богданов – черный, лохматый, в серой широкополой шляпе.

Приложив волосатую руку к глазам, глядя на ширококовцев, он спросил:

– Эти?

– Эти самые, – ответил Кирилл и, повернувшись к трактористам, приказал: – Подымайтесь в гору, ребята, и за околицу – марш.

Четыре трактора, стальные черепахи, ревя, напрягаясь, отплеываясь дымом, поползли в гору, поблескивая стальными боками. Широковцы двинулись навстречу тракторам и стали по обе стороны дороги.

– Э-ге-ге! Улька-то как раздобрела. Пышка! Укусить бы!

Кирилл вскинул глаза. В толпе зашикали, зашевелились. Того, кто выкрикнул, Кирилл не отыскал. Оглянулся на Ульку. Она вспыхнула и еще плотнее прижалась к

нему.

«Неважная встреча. Чего это они все молчат? Дай-ка я сам начну», – решил Кирилл, невольно сравнивая Ульку с ширококовскими тощими, измятыми и не по годам постаревшими бабами. Заметив Маркела Быкова, он поздоровался:

– Здорово, Маркел Петрович!

Маркел что-то пробормотал и скрылся в толпе. Кирилл улыбнулся, хотел еще что-то сказать, но смолчал, загораживая собой Ульку: чуточку в стороне ото всех стояла бледная, растерянная Зинка и, пряча руки под концами шали, большими глазами в упор тревожно смотрела на Кирилла.

«Чег» это она?.. И руки спрятала. Плеснет еще чем... У нее «а это хватит... дура», – забеспокоился Кирилл и, оттолкнув Ульку за тракторы, сам пошел на Зинку, готовясь выбить у нее из рук склянку с серной кислотой.

Зинка, почуяв намерение Кирилла, выпростала руки из-под шали и стряхнула с груди крошки березовой коры. Затем улыбнулась ему тепло и ласково, как тогда, в лучшие минуты их жизни...

«Что ж это я? – Кирилл опешил и крепко застыдился. – Эх, вот, если бы кинулся на нее... а у нее ничего нет... Вот черт!» – и закричал трактористам:

– Направо, направо!.. Вон туда, к тем постройкам.

– А это что за чудак? Эй, цыган! Лошадей продаешь?

– Веселый народ, – ответил на выкрик Богданов. – А ну, кто там? Выходи!..

– Митька, – прогнусил Маркел Быков. – Что ж ты? Нос высунул и нырнул.

– Да я и не нырнул, – сказал Митька Спириин и, растолкав мужиков, подошел к Богданову: – Ну, здравствуй... Ты цыган, что ль? Черный больно.

Пока Богданов знакомился с Митькой, тракторы уже подползли к «Брускам». На «Брусках», на ободранных воротах трепыхались красные флаги. У ворот стояли коммунары. Они готовились встретить тракторы торжественно, песней, Николай Пырякин поднял руку, хотел дать знак, чтобы начинали, но, заметив хмурые глаза Стеша, вяло опустил руку и этим нарушил торжество: Шлётка хрипло запел «Интернационал» и оборвал.

Кирилл посмотрел на коммунаров – они один за другим отвернулись от него, и в каждом из них, кроме Чижика, он заметил ненависть к себе. Он ждал, что они встретят его тепло, с радостью. Как же? Он едет помочь им. А они встретили его молча, больше того – Митька Спириин начал глумиться над Улькой, и никто не остановил его. Но это еще можно было бы снести. А вот они – коммунары... Какая ненависть к нему, к Кириллу, блестит у каждого в глазах... Надо поговорить.

Он выступил вперед и хотел похлопать по плечу Шлётку, но тот, глядя в сторону, плюнул перед собой и, позевывая, проговорил:

– Вот и новый барин к нам пожаловал.

Кирилл остановился, пожал плечами. Слова Шлётки показались ему смешными, пустыми, и ему стало от этого как-то легче.

– Коля, – обратился он к Пырякину, – тракторы надо под крышу куда-нибудь

поставить, а трактористов накормить.

Николай Пырякин вытянулся:

– Чем прикажете: жареным или пареным?

– Ну, ты не дури, – тихо сказал ему Кирилл. – Партийную директиву помнишь?.. Член партии ты. – И громче добавил: – Ты, товарищ Пырякин, ведь назначаешься заведующим всеми машинами... Мы тебе их привели, и ты делай что хочешь...

– Да я что? Я?.. Друзьяки! – Николай засуетился около трактористов. – Вон туда давайте...

Кирилл пошел за машинами и задержался: у ворот, прижавшись к столбу, стояла Стеша и сурово, с упреком смотрела на Кирилла.

4

Где-то в стороне раздавался посвист. Через ветхие окна проник в контору и разбудил Кирилла Ждаркина. Кирилл не сразу понял, где он и что с ним. Он даже удивился тому, что так рано проснулся, и тому, что не слышно гудков завода, крика грузчиков на берегу Волги. «Ах, да, да, – спохватился он, – я же вчера заказал себе – проснуться раньше всех. Но зачем это?»

Увидав в углу на двух сдвинутых лавках развалившегося Богданова, он понимал, что находится не на заводе, а на «Брусках» и одновременно вспомнил о путевке, полученной им в окружном комитете партии, и то, что его послали в Широкий Буерак для восстановления хозяйства коммуны «Бруски».

И вот он, стало быть, на «Брусках».

«Завод бы сюда», – помечтал он и поднялся с постели.

Подойдя к двери, он посмотрел на Богданова, Улька. Улька спала, раскинув руки, из-под сорочки выделялись ее белые плечи. Богданов же спал, согнувшись, похрапывая, напоминая старого, доброго медведя. И Кириллу показалось не совсем удобным оставлять их одних. Может, ведь... Фу-фу, что это он! И, неуклюже поводя руками, он подошел к Ульке, поцеловал ее в плечо, желая, чтобы она проснулась от этого поцелуя. Улька не проснулась. Она сладко улыбнулась, глотая сонную позевоту, затем перевернулась на другой бок. Кирилл намеренно прикрыл ее одеялом по горло, уничтожил четкость линий и нагнулся над сыном.

– Ух ты, калачик! – прошептал он и вышел во двор.

Утро дрожало в красках зорь.

Набухали почки дуба в парке, розовели ветки кургузой яблони, и кудрявились кусты черной смородины в долинке, зеленая листиками, а у забора купались в луже две галки.

– Ишь, милуются! – невольно вырвалось у Кирилла, и он сам жадно вдохнул утреннюю свежесть и нахмурился. Нет, он не променял бы завод на свежий воздух. Пусть лучше копать, гарь, грохот завода, чем эта тишь – ленивая и ползучая, этот вкусный воздух, этот двор, заваленный телегами, санями...

А что это? Вчера еще все эти телеги, сани, колеса лежали у квартирок коммунаров, а сейчас их второпях кто-то разбросал по обозному двору. Ого, что-то произошло, кто-то за ночь одумался. Еще не так одумаются – вот он, Кирилл, возьмется. А он возьмется, непременно возьмется...

«Галками умиляться не будем», – решил он, спугивая галок, и пошел в парк. Тут он сел на старый пень, вынул из кармана записную книжечку – подарок Сивашева.

Посвист оборвался.

Со скотного, поблескивая доенками в утренней синеве, вышли доярки и направились в кладовку на слив молока: все они свежие, откормленные и белолицые. Следом за ними появилась Стеша. Сначала она показалась Кириллу слишком короткой, как Зинка, но потом, когда она очутилась на середине двора, она точно выросла, выпрямилась, и, чуть склонив набок голову, еле заметно вздрагивая, направилась в кладовку. Кириллу захотелось окликнуть ее, поговорить с ней.

«А хорошо ли это будет? – подумал он. – Дел еще уйма, а ты и не начинал. Небось, на заводе бы не покалякал. Потом и к Степану надо зайти».

Но, как он себя ни журил, все-таки пожалел, что не остановил Стешу, не поговорил с ней так же запросто, как в ту ледяную ночь, когда они вдвоем, в стороне от всех, кололи лед на плотине... Да, но тогда Степан потерял во льду ноги, и теперь он лежит в своей комнатке бессильный... Бессильный ли? Кирилл еще вчера хотел зайти к нему, да вот странно – он боится его суровых глаз. Все-таки надо зайти. Непременно зайти. А то черт знает что могут подумать. Вот рассветет, и он непременно зайдет к Степану – посмотрит на него, больного, потолкует с Грушей и, может быть, там удастся перекинуться словом и со Стешей. А сейчас? Сейчас он займется хозяйством.

Как и с чего начать? Там, на заводе – там хорошо: есть техники, инженеры, ученые. А вот здесь?... Здесь Кирилл должен в себе объединить все эти силы и впрягаться один. Верно, у него есть помощник – Богданов. Помощник? Это же смешно! Богданов в агрономии знает в сотни раз больше, нежели Кирилл, и он – помощник Кириллу? Помощник спит, а Кирилл уже поднялся на ноги и вот не знает, с чего же начать.

Он долго ломал голову.

Подсчитывая «хозяйственные ресурсы» «Брусков», как записал Кирилл в своей книжечке, он думал о Степане, о поведении Плакущева и рисовал себе иную жизнь на «Брусках». В полях, при помощи агронома Богданова (вот еще чудак!), густеют небывалые по урожаю хлеба, парк выкорчеван, уничтожен (многие вздыхают по старым березам), на месте старого парка высятся столярные, слесарные мастерские, а ближе к Волге – беконный завод. Кирилл не может допустить того, чтобы люди работали только летом. Люди на «Брусках» работают и зимой. У них прекрасная столовая. В самом деле, разве это столовая на «Брусках»? Вчера он зашел поужинать. Ему, как и всем, подали сладенький чай, разбавленный молоком, и кусок хлеба. Что это? Нет, Кирилл построит прекрасную столовую, вызовет из города повара. Одним словом, Кирилл все сделает на «Брусках» по-другому, сделает так, чтобы каждый, работая, сознавал и радовался бы тому, что он работает и живет в такое время, когда...

Кирилл невольно оторвался от записной книжечки и посмотрел в сторону скотного двора. Там, из-за угла конюшни, вышел человек. При его появлении заблеяли овцы.

– Ого, – сказал человек, – проголодались? Успеете, – добавил он и, быстро смахнув

с конюшни два новых мешка, опоясал их вокруг живота и прикрыл полами пиджака. Затем с легкостью собаки перескочил через забор и пошел на Кирилла.

Это был Шлётка. Заметив Кирилла, он попятился, бормоча:

– У-у... черт... барбос... сидит.

Кирилл поднял голову. Солнце уже высоко, лучи солнца бьют в лицо Шлётки, и оно у него серое, обрюзглое.

– Что ты двор бросил? – неожиданно для себя зло спросил Кирилл.

– Я? Воды-то пруд, а пшена-то пуд, – выпалил Шлётка, очевидно, давно заученные им слова.

– Ты к чему это?

– А то: того нет, другого нет.

– А тебе что надо?

– Это.

– Что «это»?

Из-за густо разбросанных по извилистой тропочке берез вышла Стеша. На плечах у нее синяя косынка с розовыми яблоками. Косынка сползла с головы на плечи, и треплет ветер черные с рыжим переливом волосы. При виде Кирилла и Шлётки Стеша остановилась, сникла, затем решительно тряхнула головой и пошла на них:

– Мир вам да совет... Радетели!

Слыша в ее голосе издевательство, Кирилл, желая смягчить ее, искренно любуясь ею, проговорил:

– А ты, Стеша... вроде помолодела.

– А ты все молодых ищешь, Кирилл Сенафонтыч?!

– Да нет... что ты! Вообще я...

– Ма-а-ма! – вырвался из оврага зов Аннушки.

Стеша легко перескочила через сваленную гнилую сосну и, мелькая синим с розовыми яблоками платком, скрылась в парке.

– Хи-хи! – засмеялся Шлётка, направляясь к скотному двору. – Вот те помолодела! На чужой каравай рот не разевай.

– Ах, сволочь! – У Кирилла чиркнула складка меж бровей. – Эй, ты! Гляди, мешки из-под полы висят.

Шлётка разом застыл на повороте, словно его неожиданно пригвоздили к земле, затем невольно раскрыл полы пиджака и, глянув на мешки, пробормотал:

– Где? Чего ты орешь?

– Не видишь, где? Ну вот, я потом тебе покажу.

Кирилл поднялся и, довольный тем, что уличил Шлётку, скрылся в парке. Остановился он в чаще над обрывом и, сожалея, что заговорил со Стешей при Шлётке, досадуя на себя, дал зарок – больше не говорить и не встречаться с ней.

– Да и вообще, чего я тянусь... баба – баба и есть, – решил о «и, раздвинув кустарник, посмотрел вниз на берег Волги.

На берегу Волги на камне сидел человек. Его большая, взлохмаченная тень отражалась на гладкой поверхности реки. Сидел он, согнувшись, напряженно глядел куда-то в сторону, не замечая того, что удилица дрожат и гнутся... Таким же его Кирилл впервые видел на берегу Волги у подножья завода. Тогда он рассказал Кириллу о каких-то индусских йогах. Из рассказа Богданова Кирилл понял одно: йоги – это какие-то особые люди, которые на несколько лет зарывают себя в землю, распарывают себе животы, далеко видят и вообще ведут себя не так, как полагается простым смертным. «Тоже вроде наших оборотней», – решил он тогда. И сейчас, видя задумчивого Богданова, проговорил:

– Удит. Эй, йога! – крикнул он и скрылся в кустарнике.

По тропочке из оврага, ведя за руку Аннушку, вышла Стеша. Шла она в гору, переваливаясь, распахнув полы синей бекешки, точно с великой гордостью несла свое непокорное тело. Но Кириллу только первое время показалось так. А когда Стеша вышла на площадку, он увидел – она плачет, быстро вытирая слезы.

– Я тебе говорю: зачем ты туда ходишь?.. Папа? Какой тебе там папа! Бирюк там, – говорила она, браня дочку.

Аннушка забежала вперед, погрозила маленьким кулачком и, надувая губы, начала скороговоркой:

– Не пвачь... убью... Ванька Штыйкин говорил: папа мой ушой на берик... Ушой...

– А-а-а, – еле слышно протянул Кирилл и сам вспомнил ночь, когда Яшка вместе с Бармой расправлялся «а берегу с Плакущевым.

– Врет твой Ванька, – перебила Стеша Аннушку. – И ты не ходи туда... утонешь. Бирюк там – возьмет и унесет в Волгу.

Кириллу невыразимо стало жаль Стешу. Он хотел подойти, взять ее за плечи, сказать ей, если надо – попросить ее, чтобы она не гневалась на него: уверить, что у него к ней большое доброе чувство, такое же, как у нее к маленькой Аннушке.

Он уже шагнул к ней, но, заслыша под обрывом шорох, остановился и посмотрел туда.

Под обрывом из кустарника рябины вышла Улька. Чуть согнувшись, поддерживая рукой груди, она, глянув в сторону Богданова, звонко вскрикнула, перебежала за выступ скалы, затем стянула сверху до пояса платье, выставив белое тело на солнце.

«Правда, какая у меня белая Улька! – восхищаясь уже Улькой, подумал Кирилл, и ему самому захотелось пойти и полежать с ней на припеке. – Врачи ей советовали лежать на солнце. А зачем ей лежать? Здоровая ведь?»

– А, телица! – донесся до него злой шепот Стешы, и по этому шепоту он определил: Стеша ненавидит Ульку.

«Что это она? Что Улька ей сделала? Вот еще! И то правда – дура сидит, плечи выставила и все такое, а там Богданов. И зачем это она еще крикнула? Все девочку из себя корчит. И почему они враз на берегу сошлись? Фу-фу!» – Кирилл резко

отмахнулся от нахлынувшего подозрения и, еще не сойдя на берег, окликнул:

– Эй, йога! – затем подошел к Богданову и толкнул его пальцем в плечо: – Эй, мечтатель... Йога... или как там тебя!

Богданов не шелохнулся.

«А я еще думал не знай чего. Да он до баб-то, как мерин охоч», – засмеялся над собой Кирилл и затормошил Богданова:

– Ты чего это тут? Ну, вставай, поднимайся.

Богданов встряхнулся. Кирилл заметил – он пришел в себя, но, очевидно, играя Кириллом, продолжал бормотать:

– Раджа йога, хатха йога.

– Брось! – оборвал Кирилл. – Мечтаешь все?

– Делов-то нет, вот и мечтаю.

– Хороши мечты! Куда это тебя опять носило? В Индию?

– Да там они – хатха йога. Раджа, – снисходительно улыбнулся Богданов.

«Врет ведь все», – с досадой подумал Кирилл и опять заговорил, издеваясь:

– Это куда тебя носило? Впрочем, ведь это без билета... на шармака.

– Каждый человек имеет право мечтать, – еще с большей снисходительностью ответил Богданов.

– Да, но я землю у себя под ногами чую, а у тебя воздуха. И как это у тебя вяжется с партбилетом?

– Чудак! – начал чуть погодя Богданов. – У меня вот большой друг был. Одиннадцать лет он отсидел в одиночке и вышел на волю совсем бодрым. Выйдя на волю, он сделал большую глупость. Такую же, какую делает конек, когда его по весне выпускают на молодой лужок: скачет по лужку, задрав хвост, и часто ломает себе ноги. Он женился на молодой симпатичной девице. Девица, как водится, вскоре родила ему дочку. И друг мой и его девица были русые, а дочка родилась рыжая. Такая же рыжая, как и секретарь моего друга. Тогда закаленный боец сломился. Он знал, кто отец дочери, и никому не сказал об этом. Дети – будущее. Он сознавал это головой, но, очевидно, у моего друга, кроме головы, было еще что-то, и это что-то сломило его. Он покинул свою девицу, отправился в глушь... кажется, на берег Волги, и теперь, вероятно, мечтает по-своему. Но он член партии.

«Не ты ли этот мечтатель? Вот дали мне уродину, как лошадь с норовом», – подумал Кирилл и хотел спросить, почему Богданов живет один.

Богданов перебил его мысль:

– Ладно, пойдем, землю покажу. В тебе, Кирилл, большой еще мужик сидит. Землицу любишь, как хорошую бабу. А вот придет время, когда человек не будет мечтать о земле, как не мечтает теперь человек о лучине: есть электричество.

– Поглядим – увидим, – сказал Кирилл, радуясь уже тому, что ему удалось сегодня без лишних хлопот столкнуть Богданова с камня. «Ну, ребенок, ну, рыжий, экая беда», – думал он, шагая к парку.

Но когда они поднялись на гору, Богданов приостановился и, глядя на Волгу, на далекие степные села, – раздражая Кирилла, начал:

– Да, я тебе не досказал про моего друга.

«Можешь и не досказывать», – хотел ответить Кирилл.

– Мой друг два или три года работал на низах. Его за это одобряла партия, даже где-то там, в верхах, приводили в пример, как надо работать старым большевикам. И мой друг действительно работал хорошо – он организовал совхоз. И все-таки он часто думал о той девице и раз зимой – не утерпел и поехал к ней. Поехал на паре лошадей, зимой по Волге – двести верст. Приехал. Она согласилась ехать с ним – согласилась эта девица, привыкшая к шуму города, отправиться в глушь, и еще она уверила его, что ребенок от него: у девочки на затылке такие же розовые родимые пятна, как и у него, причем и волосы стали русыми. Ну, все факты налицо – ребенок его, и эти два-три года он был просто безумцем, глупым ревнивцем. Было ему стыдно, а потом не менее стыдно было и оттого, что он ползал на коленях и просил прощения у девицы за свой поступок. Девица плакала сама, простила, и они отправились в совхоз. Не правда ли, все это похоже на то, как если бы у крестьянина украли его любимого коня, он долго «скал его и уже потерял всякие надежды, а однажды утром встает и видит – его любимый конь ходит у двора. Но это, конечно, выше крестьянской лошадиной радости. Да ведь тебя все это не занимает, – прервал Богданов.

– Нет, нет. Что же дальше? – интересуюсь все больше не рассказом, а Богдановым, спросил Кирилл.

– Дальше? Поехали в совхоз. И вот уже совхоз завиднелся. Скоро они будут дома и разделят свою радость. Дорогой (все молодожены строят планы) построили план. Это моему другу труднее далось, нежели выработать план засева десяти тысяч гектаров. Но все-таки построили, и главным образом она: они будут работать в хозяйстве, он в полеводстве, вообще как заведующий, она займется в школе. А вечерами будут гулять – там неподалеку прекрасный сосновый бор, – зимой кататься на коньках. Да, он непременно устроит каток. Это же пустяки. Расчистит лед на Волге – вот тебе и каток. Да... Но в этот момент лошади шарахнулись в сторону, кучер закричал, сани осели... Потом мой друг помнит только одно: он стоит на льду, держит в руках пару опрыскивателей, а в сажени от него бурлит вода, по воде тревожно мечутся осколки льдин... и еще он запомнил, как лошадиные зады с взъерошенными хвостами поднялись кверху и нырнули в Еоду, а за ними нырнули сани вместе с его женой, дочкой и кучером... а он как-то выпрыгнул из саней, стоит на льду и держит в руках два опрыскивателя – длинные, цинковые. Вот и все. Вот видишь – у меня и то дрогнул голос: жаль друга... Потом он все кричал по ночам. Рабочие совхоза, слыша этот крик, думали (ведь никто не знал, что он вез жену и дочку), что он перепугался и теперь с перепуга сходит с ума. Но их удивляло другое: днем мой друг со всеми разговаривал, работал, как и всегда, иногда даже смеялся, а по ночам все слышали его сдавленный, похожий на зов совы, крик.

– Куда же он потом делся? – спросил Кирилл, когда они прошли парк. – И ты так хорошо рассказываешь, что кажется – не с тобой ли вся история случилась?

– Со мной? – Богданов делано засмеялся. – Ведь я и в тюрьме-то сидел только четыре года и женат никогда не был... Да... А это я к тому рассказал, чтобы ты другой раз не спрашивал меня: «Как это у тебя вяжется с партбилетом?» Не подводи, друг

мой, всякого под догму...

– Действительно, – согласился Кирилл, не зная, что ответить Богданову, думая: «А что это такое – догма? Спросить разве его? Нет, нет... Потом спрошу, а то он опять понесет что-нибудь. Конечно, говорит он интересно, но проговоришь с ним».

– У каждого человека, кроме всего, – сказал Богданов, быстро шагая к Вонючему затону, – есть свой уголок, который ничем и никак не прикроешь... А вот то, что я видел сегодня в твоей возлюбленной коммуне, вовсе прикрывать не следует. Наоборот, об этом надо кричать, – неожиданно закончил Богданов насупясь.

И Кирилл Ждаркин вынудил его рассказать о том, «что не следует прикрывать».

Богданов долго сопел, отфыркивался и вдруг сказал:

– Дрянь!

– Кто – дрянь? – спросил Кирилл.

– Не кто, а что. Хозяйство.

– Оно – это хозяйство – большим трудом создавалось. Светоч для нас.

– Тусклый.

– Ну ты! Поехал молоть, – резко возразил Кирилл, обиженный за коммуну и за дела Степана Огнева. – Степан Харитонович путь для всего крестьянства проложил, а ты с маху – «дрянь»... Грубо!

– О дряни ласково не говорят, – и Богданов рассказал о том, как он сегодня утром следом за Кириллом вышел на волю, только направился не в старый парк, а на скотный двор и увидел там следующее: коровы, в большинстве швицкой и симментальской породы, помещаются в отдельных стойлах, где когда-то содержались орловские рысаки, принадлежащие барину Сутягину. Теперь над дверями стойл поблескивают вывесочки с кличками коров. – Звание-то какое коровам дали, ого! «Пламя революции», «Роза Люксембург», «Красная звезда», «Неугасимая заря» и так далее. А бык? «Вперед без передышки». Мне сначала показалось – хорошо. Революционно даже. А потом я заглянул в стойло. В каждом – навозу по пузо корове, бока у коров – в засохшей грязи, как в броне. Страх!.. А молока в день дают, как сообщила мне женщина... такая крупная... Анчурка Кудеярова... Молока каждая в день дает «с чирышек». Это что – чирышек, Кирилл Ксенофонович?

Кирилл, досадуя на Богданова («еще палец о палец, не стукнул, а уж для него все дрянь»), ответил:

– С чирышек? Значит, с наперсток.

– Вот так «Пламя революции»! С наперсток, значит? В Швейцарии или в той же Голландии ежели корова в год дает молока меньше трех тысяч литров – ее под нож. А тут триста наперстков в год от каждой коровы. Вот так «Пламя революции», – повторил Богданов и захохотал, широко разевая рот, ощерясь, как и Никита Гурьянов, не только бородой, усами, но и лохматыми бровями.

– Чего ж ты глотку дерешь? Агроном, ну и помоги, чтобы каждая корова не по наперстку, а по ведру в день молока давала. Забываешь, коммуна большим трудом создавалась, – с уважением подчеркнул Кирилл Ждаркин.

– Вывеска.

– Что?

– Вывеска, говорю, как над дверями стойл. Читал, что над главными воротами написано? «Добро пожаловать». Нет, сюда разумный крестьянин не пожалует.

– Чепуха. Коммуна – светоч для крестьян, – резко возразил Кирилл.

– Тусклый, как днем свечка в далеком поле.

– А ты костер зажги. Ты – наука!

– Что ж, самому коров кормить, доить?

– Нас сюда партия прислала не коров доить, а народ наладить, – с той же резкостью возразил Кирилл.

Богданов приостановился, приняв позу оратора:

– Надо энтузиазм в коммунах всколыхнуть. Убедить их в том, что «молочко у коровы на языке», как гласит русская древняя поговорка: «Не кнут подгоняет коня, а овес».

– Ты полагаешь, они этого не знают. Экую звезду новую открыл. А вот как их заставить хорошо коров кормить и доить, – вопрос не такой простой, как ты думаешь. Энтузиазм! Энтузиазм! – передразнил Кирилл и вспомнил ледоход и то, как Степан Огнев намеревался «энтузиазмом» спасти плотину. Но энтузиазма у коммунаров хватило на три дня, на четвертый они покинули организатора и вдохновителя коммуны. Только потом, когда им посулили по пуду муки, они с рвением кинулись на наседающий лед и отбили плотину и мельницу, за счет которой кормились и теперь.

«Да! По пуду муки дали и спасли плотину, – думал он, шагая вместе с Богдановым. – Но неужели и теперь сдавать им все на таких же началах: сделал то-то и то-то, получай столько-то. Надоила столько-то литров, получай столько-то, – и эта неожиданно пришедшая ему мысль перепугала его. – Выходит, как бывало у кулаков, исполу вроде: сделал то-то и получай толику. Так ведь можно весь коллективный дух разрушить. Нет, нет. Об этом надо посоветоваться с Сивашевым, – решил он. – Не то снова придется бежать в город. Ведь вон что стряслось тогда со мной: ведя индивидуальное культурное хозяйство, я вовсе не намеревался стать новоявленным кулаком, а жизнь накинута на меня шкуру кулака».

Он в упор посмотрел в волосатое лицо Богданова, в его большие, разумные глаза и сказал:

– Энтузиазм? Убедить? Я уже тут однажды так напоролся, что еле-еле в партии удержался. Та же Анчурка Кудеярова бросила мне: «Кулак новоявленный».

Богданов криво улыбнулся и безжалостно произнес:

– Из тебя, конечно, мог выйти важный кулак.

5

Они стояли над обрывом и смотрели на Вонючий затон. Вонючий затон далеко

вдавался в гористый берег и от Волги был отделен узким перешейком. По берегам затона и выше на горе рос густой, перепутанный ветельник, из земли таращилась молодая жирная лебеда, а в самом затоне, топырясь оголенными косточками ребер, слоями лежала дохлая сельдь. Ее было так много, что сверху казалось – в затоне вовсе нет воды: одна только тихо колеблющаяся, сероватая чешуя. От затона шел зловонный смрад, смрад смешивался с испарениями озер. Озера тянулись вереницей и терялись далеко на горизонте. Недалеко от первого озера горели пласты подземного торфа, образуя на поверхности провалы, похожие на воронки от снарядов.

Кирилл терпеливо слушал Богданова и старался понять, уловить его основную мысль, разгадать эту сумбурную голову.

Богданов говорил, показывая на затон:

– Если эту дохлую сельдь перекинуть на поля, тогда не страшен суховой пустыни.

Что это? Очередной фортель чудака? Кирилл усомнился, сбитый с толку еще и тем, что дохлая сельдь вовсе не входила в его планы.

– А ты отвечаешь за то, что дохлая рыба даст нам хлеб? – спросил он. – Это ведь тебе не опытное поле – разом в шею вытолкают.

– Дикарю говорят: ешь мясо вареное, он жрет червей.

– Ты не кипятись.

– А я знаю: эту рыбу следует перекинуть на поля, осушить затон, очистить гору от кустарника и на горе рассадить... – Богданов чуточку подумал, – рассадить виноградник. Что смеешься? Да, да, виноградник, – добавил он так, будто до этого долго ломал голову и только теперь пришел к такому убеждению, что на горе непременно надо рассадить виноградник.

– Хо-хо! – не удержался Кирилл. – В Поволжье виноград?

– Дурак! – Богданов насупился. – Ты смотри вон торф. Торф – хлеб – горит под носом у коммунаров. Ты, говорят, три года копался на Гнилом болоте, а то, что в полукилометре от тебя богатейшие залежи торфа, не видал. Копался, себя калечил, мужика калечил... Да что! Его и теперь калечат: на каждом шагу ему расхваливают черный пар. Черный пар хвалят на каждом перекрестке, многие его даже называют английским паром. А так как английские-де гвозди хороши, английская сталь хороша, то, стало быть, и английский пар хорош. Милый мой, около науки больше, чем где-либо, подхалимов и угодников. Эти подхалимы и угодники даже не постараются заглянуть в историю. А если бы они заглянули, то узнали бы, что английский пар именуется так только потому, что две тысячи... две тысячи лет тому назад его насильно ввел в Англии Юлий Цезарь. Но и Юлий Цезарь не сам изобрел его. Он заимствовал его из Греции, а Греция – из Ассирии, а Ассирия – из Ниневии, а Ниневия – из Китая, и новейшие археологи насчитывают этому последнему слову английской науки ни больше ни меньше, как двадцать тысяч лет. Двадцать тысяч лет! Вот какими штучками кормит современная агрономия мужика. Все кричат о плодосменной системе. А мы знаем – плодосменная система пять с половиной тысяч лет тому назад была предписана пророком Моисеем как закон в Палестине, Сирии и так далее... Что же в этих местах случилось за пять с половиной тысяч лет? Что такое Палестина, Сирия в настоящее время? Ты не знаешь? Это пустыни! А ведь когда-то они были цветущими странами. Вводить плодосменную систему в нашей стране – значит

превращать нашу страну в пустыню.

Богданов снял шляпу и, все больше увлекаясь своими мыслями, долго говорил о необходимости революции в самой агрономии, о том, что бороне уже насчитывается сорок тысяч лет; что есть знаменитый ученый Вильяме, которого затирают те, кто держится за борону, за то, что превратило цветущую страну Палестину в пустыню.

Кирилл ничего не понимал. Он не знал ни Палестины, ни Сирии, ни Юлия Цезаря, ему было дико слышать, что земля насчитывает не тысячу девятьсот двадцать восемь лет, а сорок тысяч. «Заболтался, заболтался человек», – решил он, а когда Богданов стал хулить черный пар, Кирилл хотел перебить его и сказать: «Чудачество!», но Богданов внезапно смолк и, помахивая удилищами, ушел от Кирилла прочь.

«Эх, как он много знает... – подумал Кирилл, когда Богданов скрылся в парке. – Дохлая рыба? Что ж, может, и правда? – Он припомнил: когда-то его дед Артамон, рассаживая сад, клал в ямки под молодые яблони куски мяса от дохлой лошади. – Полезно. Яблони быстро росли. Мясо полезно для яблонь. А рыба – мясо. Хлеб».

Но как ее, дохлую рыбу, перекинуть на поля? Как? Отдавать все делать исполу? Тогда коммуна превратится во что-то личное, принадлежащее целиком и полностью Кириллу Ждаркину, как когда-то принадлежало имение помещику, отруба – кулакам.

«Ну, а что толку в коммуне, ежели каждая корова за день дает наперсток молока? Положим, больше – кружку, а то и две. Какое это примерное хозяйство?» – возражал он сам себе.

В часы такого раздумья в контору, где за столом сидел Кирилл Ждаркин, и вошел Давыдка Панов. Он осторожно приоткрыл дверь, боком втиснулся в комнату, затем, сняв картуз, оголил лысую голову и произнес:

– Не ждал такую рань застать новое начальство! Отчего, к примеру, милиционера при тебе нет?

Кирилл, приглушая раздражение, теплыми, даже делано молящими глазами посмотрел на Давыдку и сказал:

– А я, дядя Давыд, хотел за тобой послать: посоветоваться, а ты – про милиционера. Зачем? К чему?

Давыдка Панов с шумом выдохнул и присел на табуретку, весь сморщился, стал походить на соленый, перележавший в кадке огурец и зло вымолвил:

– Кипит все во мне, Кирюша.

– Что это, дядя Давыд? Вулкан такой.

«В городе нахвтался: говорит «вулкан», а не котел», – подумал Давыдка Панов и продолжал жалобно.

– Одни-то когда мы были – нас горстка и все на виду. На себе пахали, на коровах – и шуровали. А тут нагнали сорок сороков, да еще таких, как Шлётка...

Кирилл Ждаркин прервал:

– Нагнали? Что ж, кнутом, что ль, их сгоняли? Сами пришли.

Давыдка, не отвечая, выкладывал свое наболевшее:

– Мы старались, добро копили, а эти пришли – и слопали нас. Сила! Степан все

хвалился: «Сила мы теперь». Сила: весь инвентарь растащили! – О том, что он сам загнал гвоздь в копыто лучшему коню, Давыдка умолчал и продолжал все так же жалостливо и раздраженно: – Вот и сейчас – шландаются по двору, чешутся, а как столовая откроется, так все туда полетят, ровно воробьи на ток.

– А у вас на каких началах столовая? – снова перебил его Кирилл.

– На каких? Иной раз густо, другой – пусто: хлеб и горячая вода.

– Нет. Я не об этом. А за еду-то платите? На заводе придешь в столовую, выбирай что хочешь, но плати. Денежки плати.

Давыдка, видимо, впервые задумался над этим вопросом, долго молчал, хмурия восковой лоб, затем сказал, очевидно, повторяя слова Степана Огнева:

– У нас ведь, Кирюша, лозунг: «Погонка рублем – позор для коммунара». Народ сознательный... должен быть, – неуверенно произнес он последние слова.

– А рабочие, считаете, менее сознательные, нежели Шлётка? – уже зло произнес Кирилл Ждаркин.

И когда Давыдка покинул комнату, Кирилл снова глубоко задумался:

«Почему рабочие за квартиру платят, за освещение, за отопление платят, за столовую платят, за кино – тоже? И им за их труд – государство платит. А тут «подгонка рублем – позор для коммунара». Выходит, они уже перепрыгнули рабочих... вроде в коммунизме живут. Ну-ка, попробую я проверить все это на гнилой рыбе».

В комнату вошел возбужденный чем-то Николай Пырякин и сообщил о том, что вчера, поздно ночью, коммунары вернулись на «Бруски». Ночью они украдкой притащили телеги, сани, сбрую. Только Шлётка уже успел куда-то на сторону спровадить свиную тушу... Все злы, ничего делать не хотят и во всяком случае не совсем хорошо относятся к Кириллу. Кириллу надо поглядывать, как бы где в парке на него не свалилось дерево или не упал бы камень с обрыва на голову.

– Знаешь – так иногда бывает: стоишь, а камень ни с того, ни с сего с обрыва бабахнет по башке – и ноги вытягивай.

– Пустяки, – ответил Кирилл, – все они трусы, – и спросил, как у него поживает сынок Ким. – Вот и о нем надо подумать. О ребятах надо подумать... Что ты?

– Так что-то, – ответил, криво улыбаясь, Николай. – У меня иной раз затылок болит.

– Надо лечиться, солнцем доктора велют лечиться, – посоветовал Кирилл, совсем не понимая, почему нахмурился Николай. – Да, солнцем. Да. Так ты, Коля, вот что: забирай грузовик, корзины, весы, дуй к Вонючему затону и жди меня там.

Отдав распоряжение, он написал тупым концом ручки объявление и вывесил его на двери конторы. Оно гласило:

КОММУНАРЫ!

КТО НАБЕРЕТ В ВОНЮЧЕМ ЗАТОНЕ ПУД ДОХЛОЙ РЫБЫ, ТОТ ПОЛУЧИТ ПЯТЬ КОПЕЕК

«Вперед, коммунары!» – хотел он прибавить, но эти слова показались ему смешными, и он не написал их.

«Начнем с живота, а не с головы», – решил он, разгладив объявление и ушел в контору.

Он долго сидел под окном, как охотник, который стережет у норы, в напряжении держа наизготове ружье, ждет, что вот с минуты на минуту выскочит зверь. Но время идет, зверь не появляется, у охотника теряется терпение, и ружье вяло опускается. Терялось терпение и у Кирилла. Прошли томительные час, два, во дворе никто не появлялся, занавески на окнах в домиках были так же бездвижны. Они, поблескивая на солнце мертвенной бледностью, напоминали Кириллу саваны.

Только раз во дворе появился Богданов. Он, как медведь, лазил по конюшням, по амбарушкам, что-то нюхал, щупал, измерял.

Но вот мимо окна прошмыгнул Панов Давыдка. Он будто случайно задержался, – прочитал объявление и побежал дальше. Вслед за ним, дымя махоркой, вразвалку прошелся Шлётка, за ним Петр, племянник Чижика, потом из квартирki выскочил Чижик. Он, как ежик, часто перебирая ножками, вбежал в контору. Сел рядом с Кириллом.

– Здравствуй, брательник, – сказал он, – а я вчера и не прихватил тебя... с пчелами возился... Налаживать приехал? Доброе дело.

– Здравствуй. Ты зачем пчел из коммуны увез?

– Летят. На старое место летят. Она, пчела, памятьлива и хитра.

– А-а-а! – Кирилл отмахнулся, напряженно всматриваясь в окно. – А ты еще хитрее. Чтоб сегодня же пчелы были на «Брусках». А то сам полетишь, слышал?.. Идут! идут! – вскрикнул он и припал к окну.

В квартирках, точно по команде, захлопали двери, коммунары вывалились во двор, столпились, смеясь, заговорили, показывая на контору.

– Чего это? Чего? – в толпу врезалась Анчурка Кудеярова и, не дожидаясь ответа, первая, размахивая подолом платья, подошла к конторе.

За ней двинулись все и потянулись к объявлению.

– Чего это? – еще раз спросила Анчурка.

– Рыбу дохлую велят собирать, – и Шлётка, сунув руки в карманы рваных штанишек, скособочился. – Дохлой рыбой намерены кормить нас управители новые.

– Ври, ври! – возразила Анчурка.

– Ну, «ври»! – Шлётка присел и закурил. – Написано, а она – «ври».

– Ну тебя к лешему! Давыд, чего это тут?

Давыдка долго кашлял.

– Эко тебя разорвало! – прикрикнула на него Анчурка.

– Читай сама, – посоветовал ей Шлётка. – Сказано тут: соберешь пуд гнилой рыбы – получай пятак... после дождичка в четверг...

В этот день грузовик попусту простоял у Вонючего затона. Коммунары толпились во дворе, издевались над объявлением, потом пошли в столовую, позавтракали и разбрелись по парку, точно стадо коров без пастуха. Спали на припеке. Особенно крепко спал Шлётка. Он сдружился с Петром, племянником Чижика, и они вдвоем проспали до полудня, затем первые пришли в столовую и решительно потребовали обед. Пообедав, все вновь сгрудились у конторы. Шлётка оторвал уголок от объявления, свернул из него козью ножку и закурил, с наслаждением попыхивая дымом. К объявлению потянулись руки, и через миг оно, разорванное в клочья, дымилось на сигарках.

– Вот к делу пришла грамотка, – заключил Шлётка, и все засмеялись.

– Почаще бы так, – поддержал Иван Штыркин. – Бумажку бы вешали, а к ней и табачку... Вот лафа!

– Штыркин, – спросил его Шлётка, делая серьезные глаза, – где это ты слово выкопал – лафа? Знаменитое слово есть, – перешел он на нравоучительный тон. – Всякое слово в жизни имеет свое место. Вот, например, столовая... стол и еда, значит. Или баня. Или вот... что он теперь у нас на селе делает?.. Кобля, к примеру.

– Он в церкви деньги собирает, – сообщила Анчурка.

– Ну, вот, Кобля имеет такое звание... и верно... Первую жену в гроб вогнал: не давал ей покою. А ведь рыженький, малюсенький. Вторую жену заездил, и все тем же... А прошлое лето идем мы по полю, глядим – у подсолнушков кто-то кого-то ломает... Мы думаем, грабеж какой среди бела дня... Текем туда... И что же? Опять Кобля... Бабу свою третью ломает и при всем виде... Мы подбежали, он вскочил – все виды у него на улицу, а баба встала и так с упреком нам: «Что это вы ему не дали свое дело доделать?» И эту в гроб загонит... А ведь так – человек с мизинец... а название верно – Кобля.

– А молится двумя крестами...

– У-у-у, охальники, – упрекнула их Анчурка, смеясь вместе с бабами. – Как сойдутся, так про...

– Про что «про»? – опросил серьезно Шлётка, – просим договаривать... Эх, – спохватился он, – ребяташки, работать ведь надо бы!

– Мы теперь жаворонков слушать будем.

– Ну, эдак, – согласился Шлётка и опять начал: – Вот жаворонки... Так будто пичужка, пичужка и есть... А раз, – он присел, и с ним вместе присели мужики и ребята. – А раз вот такую пичужку барынька одна слушала... Ну, слушала, слушала – пичужка все поет, все поет, а барынька... они, барыньки, черноземных мужиков лучше конфетки любят... барынька и заметь: рубежом идет этакий вихляй-мужик. Идет это вразвалку, ровно под ним земля дрожит. Да...

Через несколько минут от похабного рассказа Шлётки мужики покатывались со смеху, а бабы разбежались по квартиркам, отплевываясь и грозя Шлётке переломать нош...

А Шлётка начал уже новый рассказ.

Около него не было Кирилла Ждаркина, Богданова, Давыдки Панова, Николая Пырякина и Захара Катаева. Что они делали в конторе, никто не знал, да этим никто и

не интересовался: все слушали рассказы и покатывались с хохоту, добавляя от себя, уснащая слова Шлётки более открытыми и похабными. И даже когда к вечеру из конторы вышел Давыдка и сообщил, что совет коммуны решил председателем избрать Кирилла Ксенофоновича Ждаркина, коммунары ответили:

– Выбирайте!

– Мы что?

– Мы не против!

– Нам что поп, что батька!

– Нам все равно, – с позевотой сказал Шлётка. – Айда-ка ужинать.

«Да-а. Таковую морозную холодь в них одним энтузиазмом не раотаишь», – подумал Давыдка, глядя на коммунаров, и перед ним ярко встал тот бурный спор на заседании пятерки по животрепещущему вопросу жизни и строительства коммуны.

Спор начался, казалось, с мелочи.

Богданов рассказал:

– Недавно смотрю, из-под горы идет бык... Ну, как его там... «Вперед да вперед».

Панов Давыдка поправил:

– Вперед без передышки.

– Идет он в гору – этот «Без передышки», и припадает на все четыре ноги. Вот-вот упадет и покатится под кручу. Я встревожился. «Ревматизм у производителя?» – спрашиваю коммунаров. Они молчат, ухмыляются... А Шлётка спокойно мне: «Ножонками бычок страдает». Гляжу – ба! – у быка копыта так отросли, что загнулись, будто концы лыж. Трудно ему, конечно, идти. Требую: «Дайте обломок косы». «Чего другого, цельной там, например, косы у нас не сыскать, а обломков – полно», – сообщил Шлётка и подал мне обломок. Ну, я при помощи того Шлётки за какие-то десять минут обрезал копыта быку, и тот пошел ровнехонько, даже как будто заулыбался. Что же это за порядок у вас, товарищи? – закончил Богданов, обращаясь к Панову.

– Интузиазму нет. Знамо, каждый знает, что быку следовало бы копыта обрезать. А вот – интузиазму нет, – ответил Давыдка Панов.

Кирилла всего передернуло, но произнес он, улыбаясь, мягко даже воркующе:

– «Интузиазму»? И ты, дядя Давыд, заразился. Скажи-ка, пожалуйста, какой такой «интузиазм» заставил их инвентарь растащить? Машу-свинью убить? Хвост коню обрезать, али там – гвоздь в копыто запустить. Интузиазм? Молчишь, дядя Давыд? – уже зло проговорил Кирилл.

– Да ведь, Кирюша, – спокойно и нежно вмешался Захар Катаев. – Без духу-то ни одно дело не делается. Дух и есть интузиазм, или, как по-правильному, энтузиазм.

– Вот-вот. Правильно слово энтузиазм произносить не научились, а как что, так «интузиазм».

– Без энтузиазма ни одно дело не пойдет. Правильно, Захар Вавилович. Владимир Ильич Ленин указывал, что энтузиазм должен сочетаться с материальной заинтересованностью, – сказал Богданов и отвернулся к окну, как бы замер.

– Ленин? Ильич так сказал? Как, как он сказал?.. Энтузиазм должен сочетаться с материальной заинтересованностью. А ныне Сталин у нас. Он-то как – не против?

– Целиком за это, – ответил Богданов.

– Ой, – воскликнул обрадованный Кирилл Ждаркин. – Будто в душу мне заглянули.

Тогда расшаркался Богданов:

– Если бы они тебе в душу заглянули, то увидели бы у тебя там следы Гнилого болота. Ты к чему это в одиночку вывесил объявление относительно сбора рыбы в затоне? Ты что – диктатор сюда приехал, единоличник, владелец коммуны? Ты почему не посоветовался хотя бы с нами, не говоря уже о всех коммунарах?

Кирилл ответил ему тоже резко и грубо:

– Какого черта меня все время попрекаете Гнилым болотом? Я ушел от него: оно мне в пятки гвозди вбивало. А вы попрекаете. Прикончить надо с этим и искать иных путей. Ты вот говоришь, Ленин утверждал, что должна быть материальная заинтересованность? И полагаешь, когда я вел индивидуальное культурное хозяйство, у меня не было энтузиазма, материальной заинтересованности? Было. Но оно привело меня против моих желаний в другое болото – кулацкое. Вот тебе одно сочетание энтузиазма с материальной заинтересованностью. А другое...

Богданов встрепенулся, точно медведь от укуса пчелы, и перебил Кирилла:

– Ты намереваешься ввести сдельщину и энтузиазм сочетать с инстинктом мелкого собственника.

Кирилл замялся, не понимая, что такое «инстинкт», резко спросил:

– Это что – инстинкт? Ты человеческим языком с нами говори, товарищ старый большевик.

И все присутствующие повернулись к Богданову, ожидая от него разъяснений.

– Инстинкт... ну, проще говоря, привычка.

– Ха! – воскликнул Кирилл. – У Шлёнки привычка – бесплатно жрать. Инстинкт, значит? Перевернуть его такой инстинкт: не поработаешь и не пожрешь. Вот с этого конца я и хочу начать: заработал? Иди в столовую, в досталь ешь, но за то, что съел, – заплати.

– Это верно, – хотя и робко, но довольно убедительно заговорил Панов Давыдка. – У наших коммунаров появилась привычка: столовую им вовремя открывай, да еще с пальчика каждого корми.

И тут заговорили все разом. Панов Давыдка продолжал свое: «Корми с пальчика». Николай Пырякин кричал: «У меня такой привычки нет. Сдельно или не сдельно – я энтузиазм в коммуне все одно проявляю!» Захар Катаев целиком и полностью поддерживал Кирилла. Богданов зло бубнил: «Не ломай то, что заложил Огнев. Степан Огнев достоин того, чтобы ему при жизни памятник поставили на «Брусках».

Кирилл выслушал всех и, когда говор смолк, поднялся со стула и сказал:

– Сочетание энтузиазма с материальной заинтересованностью надо проводить по-ленински: применительно к условиям местности и так, чтобы народ вести в коммунизм.

– Ты сначала в социализм введи, – снова перебил его Богданов, обозленный его упорством.

– Мы еще не разбираемся, где социализм, где коммунизм. Одно знаем, хотим жить без помещиков и жить хорошо. Не доводите меня до того, чтобы я из коммуны сбежал так же, как сбежал от Гнилого болота.

– Диктатор, – резко бросил Богданов.

– Пусть будет так, – упрямо произнес Кирилл. – Одно знаю, меня партия прислала сюда, чтобы я проявлял ее волю и не превращался в морковку, которую грыз бы каждый, кому не лень.

6

Но на утро на дверях правления висели приказы, написанные военным языком. Решительно и резко кричали приказы о том, что отныне все работы на «Брусках» переводятся на сдельщину, что заведующим машинами назначается Николай Пырякин, завхозом – Давыдка Панов, полеводом – агроном Богданов, заведующей столовой – Катя Пырякина, а заведующей детдомом – Стеша Огнева; что они несут полную ответственность перед председателем, советом коммуны, имеют полное право того же требовать с каждого, кто работает под их началом, и самостоятельно налагать штраф за порчу коммунального инвентаря.

Приказы собрали коммунаров. Вначале раздались смешки и те же остроты, что и прошлым утром. Шлётка потянулся к приказу, хотел употребить и его на курево, – его стукнули по рукам и отогнали.

– Дойка коров? Давыд, почему дойка коров? – спросила Анчурка Кудеярова.

– А вот читай: дойка коров – две копейки с литра, – объяснил Давыд.

– Это что – литр?

– Кружка такая – четыре стакана. Кружку надоишь – две копейки получишь, двадцать надоишь – сорок копеек получишь! – выкрикнул Давыдка так, как будто он стоял в своей мелочной лавчонке и зазывал покупателей.

– А у нас коровы-то с чирышек доятся, – как бы про себя проговорила Анчурка и кинулась на Шлётку: – Шлётка! Ты что, пес, коров плохо кормишь? Не доятся коровы. Завалится на сеновал и лежит, как боров.

– А мне-то что? Мне-то больше всех надо? Я вон Штыркину сто раз говорил: сена нет, кормов нет, а он – «как-нибудь». Это как это – без кормов коров как-нибудь накормить?

– Зря орешь! – закричал Штыркин. – Я б рад, да ведь лошадей не давали. Оно, сено-то, у нас где? Семь верст. На себе, что ль, мне его перевезти?

– Вот эдак и потянется нитка, – с восхищением завершил спор Давыдка. – Ты, Анчурка, будешь охотиться за молоком – бить по шее Шлётку, чтоб он кормил хорошенько коров, а Шлётка – Штыркина, чтоб корма доставлял, а Штыркин – конюхов, чтоб лошадей давали... Вот и завертится все, как мельница.

– А ты сколько будешь огребать, заведующий? – спросил его Штыркин.

– Ну, ты меня этим не собьешь, – огрызнулся Давыдка. – Ты вон гляди – штаны у тебя из чего? Мешки-то из склада улыгнулись. Куда улыгнулись?

Перебранки между Давыдкой и Штыркиным как будто никто и не замечал: все тянулись к приказам, каждому хотелось знать, сколько именно он заработает там, куда его пошлют. Узнав о расценке, коммунары отходили в сторону и, точно на базаре, соображая – купить или не купить, тихо шевелили губами, делали сосредоточенные, упрямые лица.

Кирилл выглянул в окно.

– Это лафа, – услышал он голос Шлётки.

– Что лафа? – спросил Давыдка, глядя на Шлётку с великой ненавистью.

– Это лафа, мол... денежки там и столовая: ешь, не хочу.

– Лафа ли? Ты поди под кустом поскули: прошла коту масленица.

И еще долго толпились коммунары около приказа. Они ждали, что к ним выйдет Кирилл. Они еще разок перетолкуют с ним, возьмут с него поруку. Кто-то из них припомнил и то, как зимой Кирилл спас плотину на мельнице. Тогда плотину непременно ледоходом разнесло бы вдребезги. Но вот пришел Кирилл – и плотину спасли... и вот теперь он пришел. Хорошо это. Но с ним надо непременно потолковать, взять с него поруку... А то ведь...

– Ведь табак курит каждый, – обратился к Шлётке Петр, – курить каждому охота, а гривенника на табак и нет. Ходишь, просишь-просишь, да и плюнешь. А то так: родня к тебе придет, а тебе и на стол подать нечего... Сиротинушки, говорят они, сиротинушками живете, как у мачехи.

– Ага, я и говорю – теперь лафа. Давыдка, а как гости когда придут?

– Веди в столовую.

– За так?

– Натакали уж. Хватит. Ну, мне надо семь баб в столовую. Бабы, кто мастерицы стряпать? Полтина в день, – закончил Давыдка свою информацию и ушел в контору.

– Это с Кириллом-то Сенафонтычем надо бы покалякать. Я, граждане... – вскрикнул Шлётка и осекся. – Я за это... денежки нам чтоб на руку. Кирилла Сенафонтыча сюда... Перетолковать.

Но Кирилл к ним не вышел. Они видели, как он, взяв под руку Богданова, долго ходил по полю, о чем-то беседовал с агрономом. Затем они оба скрылись за кустарником в болотах.

Анчурка сбегала туда, хотела подсмотреть и подслушать, вернулась, сообщила:

– В болото по колено залезли и хотят нас продать.

– Эко сморозила! Нашла, чего сказать. Чада невразумительная, – ошарашил ее Штыркин и повернулся к остальным. – Ну, давайте попробуем, что ль... Не придет, видно, к нам новый правитель.

Он сошел вниз к Вонючему затону, поймал первую дохлую сельдь. Сельдь,

скользящая, липкая, развалилась еще до того, как он положил ее в корзину.

– Фу-фу, каша! – он брезгливо сморщился и крикнул: – Чего стоите и ждете, бары-господа? Один всю гниль заберу... – и, не дожидаясь ответа, зачерпнул ведром сельдь, вывалил ее в корзину. – Пошло. Обвыкнется. Вали, Иван, – и подбодря себя выкриками, он в течение нескольких минут наполнил корзину дохлой рыбой, затем вместе с Николаем Пырякиным они поставили ее на весы.

– Пять пудов, – сообщил Николай.

– Четвертак есть, – подхватил Штыркин, – за пяток минут четвертак, – тише добавил он и, видя, как коммунары дрогнули и потянулись к берегу, упрекнул себя: «Пес меня угораздил, чего кричу? Я ж один всю рыбу выкину... пускай сидят». И нарочито брезгливо добавил: – Под ногами вроде мертвец... После такой работки с неделю есть не будешь... Так вот раз, старики рассказывали, во время турецкой войны офицера одного заставили роту солдат провести через долину одну... в долине той чума людей косила с маху... Кто ни поведет солдат, сам там останется... А солдат провести надо было позарез... Ну, и заставили молодого офицера – он хвастун был большой.

Рассказывая, усыпляя своим рассказом коммунаров, Штыркин быстро поддевал ведром рыбу, сваливал ее в корзину и, уже не вешая, отправлял на грузовик.

Кузов грузовика, наконец, был забит сельдью до отказа, а коммунары все еще сидели на припеке, слушали рассказы Штыркина и тихо покачивались, жалась друг к другу, как куры в морозное утро.

«Какие упорные! – обозленно прошептал Николай Пырякин и хотел с ними поговорить, но вспомнил приказ Кирилла: не уговаривать. – Чего их уговаривать?.. Пальнуть их по матушке, как бывало Степан, вот и вскочили бы... а то расселись, как на поминках».

– Чего вы сидите? – не вытерпев, заговорил он.

– А мы вот поглядим, на Штыркина, мол, поглядим, – ответил Шлётка. – Поглядим да и обедать... Я баю, лафа нам.

Николай хотел еще что-то сказать, но, заметив Стешу, идущую из парка, смолчал. Стеша спускалась с горы и точно нарочно прыгала то на одну, то на другую ногу, отчего вся вздрагивала и пружинилась. На пути она перескочила через пенек молодого, будто ей было всего только двенадцать лет, и Николай позавидовал ей. Но, когда она спустилась ниже и стала позади коммунаров, – его поразило ее бледное лицо, и как-то неприятно у нее кривились оттопыренные губы.

– Охота поесть, – сквозь позевоту произнес Шлётка. – Скоро, что ль, обедать?

Стеша обежала всех глазами и почувствовала в себе злую ненависть ко всем тем, кто сидел здесь, кто тогда, зимой, покинул ее отца на плотине. И сейчас, когда она стояла на пригорке, глядя на них сверху, ей страшно хотелось, чтобы они завыли, закружились от боли и чтобы потом опомнились и... да, да, виной всему, конечно, он, Кирилл Ждаркин... Она его терпеть не может... Что там терпеть? Она его ненавидит... гордого, с хвастливой улыбкой... Ходит и улыбается... приехал из города с улыбкой, привез белотелую жену... Ах, если бы они бросились на него, на этого хвастливого Кирилла!

Вот чего хотела Стеша и, глядя на коммунаров, крикнула:

– Обедать? Будет! Отожрались. Теперь и у дверей покрутитесь! Ха! Расселись! Обед ждут... А денежки есть? За деньги теперь обедать. Эх, вы, шкуры!

Первый вскочил Шлётка и, кидаясь на Стешу, точно она была во всем виновата, затараторил:

– Как отожрались! Каки-таки деньги? Что это? Товарищи! Кака-така есть тут коммуна! Нет, уж раз затащили, так корми, обувай, одевай.

– На санках после обеда катай, – добавил Николай Пырякин.

– И на санках! – выпалил Шлётка и спохватился, что сказал лишнее: но уступить уже не хотел. – Что говорили, когда звали? Баранину есть будем. Где она – баранина?

– Ты только это и запомнил, а то, что работать надо, мимо ушей.

– Ты, Николай, не скули... Ты гляди... Мы ведь... – пригрозил Шлётка и побежал в столовую.

За ним никто не пошел. Все стояли перед Стешей, и все чувствовали, что последнее сообщение о столовой окончательно побеждает их, что Кирилл Ждаркин железным кольцом, как обручем бочку, сковывает коммунаров. Стеша по лицам присутствующих, по тому, как все постепенно, шаг за шагом сползли в низину, поняла: они бессильны перед Кириллом, они, эти люди, которые сейчас хотят есть, не помогут ей, – и ей стало еще горше.

Вскоре из парка вышел Шлётка и, шевеля пальцами, рассказал, что в столовой новые порядки: столы покрыты белой бумагой, на столах лежат грамотки, на грамоткам написано: щи – 3 копейки, каша – 2 копейки, жареное мясо – 4 копейки, молоко – 2 копейки, чай – 1 копейка стакан.

– Что ж ты не поел? – спросил его Петр. – Аль не готово еще?

– Не готово? Готово. Да, слышь, чеку подавай. Каку-таку чеку? В конторе, слышь, ежели ты заработал, тебе чек дадут. Лукерья моя там орудует. Вытолкали меня, – Шлётка грустно засмеялся и первый пустился к Вонючему затону. – Дядя Ваня, прими в компанию, – попросился он, входя в воду.

– Вот молодец! – злорадно похвалила его Стеша, удивляя хриплым голосом Николая Пырякина.

– Зря ты, Стешка, – тихо упрекнул он ее.

– На работу поощряю и – зря?

– Какая ты, – Николай первый раз рассердился на нее. – Нехорошо это. Ты то пойми... – начал он убеждать ее, но, увидев, как она нахмурилась, смолк.

Коммунары уже стояли по колени в воде. От Вонючего затона поднялся едкий смрад... Грузовик зафыркал и, сочась тысячами капель, потащил рыбью кашу на поле.

Поздно ночью, когда Волга густо плескалась у берегов, Кирилл Ждаркин стоял на горе и слышал, как из Вонючего затона несло чваканье, хлюпанье, видел, как там по берегам горели костры из полыни, освещая мокрых, полураздетых, торопливо копошащихся людей. И Кириллу хотелось крикнуть им, что крепость обложена и взята

упорной блокадой, и еще сильнее ему хотелось увидаться и поговорить со Стешей. Несколько часов тому назад в вечернем сумраке он случайно столкнулся с ней в кустарнике на берегу затона. Она, в мокром по пояс платье, со стянутой на плечи косынкой, с разгоревшимся лицом, так тепло улыбнулась ему, что он невольно припомнил ее девичьи дни и ту пору, когда сам по целым часам просиживал у своего двора, прислушивался к тому, как изредка в хороводах выкрикивала Стеша. Тогда при встрече она ему так же улыбалась. И теперь у него разом пропала досада на ее резкий отпор там – в парке, в присутствии Шлёнки... Но, может быть, она улыбнулась и не ему? У Стеши это есть. Когда она чем-либо увлекается, то всем улыбается, всех ласково хлопает тонкой рукой по плечу. Может, она и не заметила его, ошиблась... Да, конечно, она ошиблась. Ведь потом он к ней подошел, заговорил, а она, точно не слыша его, перебежала, волоча за собой корзину, на другой берег и с кем-то громко рассмеялась. А может, и правда не слышала? Ведь он, Кирилл, так тихо заговорил, и голос у него дрожал... Он же вовсе не хотел, чтобы его еще кто-нибудь слышал, кроме Стеши.

Кирилл сошел вниз и, разыскивая среди коммунаров Стешу, сам принялся быстро черпать дохлую сельдь и как-то незаметно очутился впереди всех.

– А-а-а! – воскликнул Иван Штыркин. – Вот он когда к нам пришел, новый правитель. Эй, товарищи!

Кирилл грубо оборвал Штыркина:

– Что это за «эй»? – и перешел на другое место, рассматривая коммунаров. – Сила-то ведь какая, силища! – говорил он Николаю Пырякину, отыскивая Стешу.

Стеши нигде не было.

– А почему никого из Огневых нет? – опросил он у Николая, желая узнать, где Стеша...

– Стешка была. Да за ней прибежали... Видно, опять со Степаном что-то стряслось...

– Ушла? – переспросил Кирилл и качнулся, почувствовав усталость во всем теле. – Я ведь не спал, Коля, две ночи не спал. Шутка сказать... Отдохну пойду, – как бы оправдываясь, проговорил он и, через силу вытаскивая ноги из рыбьей кашицы, побрел в гору.

В конторе он разбудил Ульку и, радуясь, сообщил ей:

– Уля! Сломил! Упрямые, да и мы не из глины. Что ты говоришь?

– Спать хо-очу-у! Вонь-то какая от тебя... Замараешь все.

Это была первая обида.

«И как это она так может, – упрекнул он ее про себя и подумал: – А что бы сказала Стешка?»

История с дохлой сельдью неожиданно для Кирилла Ждаркина вскинула его на небывалую для него высоту.

Вначале, когда перепахали разложившуюся, пересыпанную золой сельдь и землю засеяли пшеницей, никто не верил в эту затею, а Давыдка Панов даже проворчал:

– Состряпали пирог с дохлятиной, – и круто рассердился на Кирилла за то, что тот допустил к полеводству Богданова.

После такого заключения и у Кирилла поколебалась уверенность, и только то, что дохлая сельдь помогла ему сломить упрямство коммунаров, ввести в хозяйство, по его мнению, твердую систему, только это и заставило его относиться к селедке с особым уважением.

– Триста пудов с гектара возьмем. Это пустяки. Нам надо добиться, чтоб каждый гектар давал тысячу пудов... Иначе не стоит пахать, – повторял он слова Богданова, чувствуя, как у него у самого от таких слов дыбятся волосы. «Ба! Чего это я болтаю?» – одергивал он себя, но чуть спустя при разговоре с коммунарами повторял то же самое.

Но через две-три недели дохлая сельдь показала себя: на яровом поле пыжилась густая, сочная пшеница, а в середине июня она сулила дать коммуне не меньше двухсот пудов с гектара. Это был исключительный урожай в условиях правобережья. Крестьяне знали: в лучшие годы пшеница давала сто пудов, а так – сорок, тридцать и чаще – восемнадцать... и они стекались со всех сторон «посмотреть на чудеса Кирилла Ждаркина», разносили далеко весть «о пшенице ростом с оглоблю, колосом с четверть, зерном, как бобы».

Вскоре о дохлой сельди появились статьи и в газетах. Сначала в окружной газетке «Рабочий и крестьянин» агроном Борисов поделился своими вескими соображениями. Он писал о дохлой сельди, как о курьезе, о том, что это исключительный случай и для массового применения он не пригоден. «Конечно, – авторитетно заканчивал он статью, – дохлая сельдь является достижением, но лучше бы коммуна занялась другим – черным паром и химудобрением. Стране нужен хлеб, а не опыты. В коммуне же вводится какая-то «новая» система полеводства, изгоняющая с полей черный пар – это последнее достижение науки. Такую систему может одобрить только сумасшедший, если не больше».

Вырезку из газеты со статьей Борисова на «Бруски» прислал Сивашев, сделав от себя приписку:

«Кирилл! Чего это ты там настряпал? Смотри, разнесут тебя ученые, да и мы по головке не погладим».

Кирилла взбесили последние слова Борисова.

– Что это такое – «если не больше»? – ворчал он, комкая и бросая на землю вырезку. – «Если не больше». Что это «если не больше»?

– Тебя это трогает? – спросил Богданов, небрежно отбрасывая ногой в сторону скомканную вырезку, и по тому, как Кирилла всего передернуло, определил, что его действительно все это трогает. – Ступай ко мне, а я забегу в столовую.

Богданов жил на отшибе, в переделанном амбаре, окнами в поле. Кириллу как-то до сего времени не приходилось бывать у него, и он не знал, каков Богданов в домашней обстановке.

В комнате на грязном полу стояли старый перекошенный стол и табуретка. В углу торчали завернутые в кошму удилища (так по крайней мере Кириллу показалось), рядом высилась полка с наваленными как попало книгами, возле полки стояли две простые скамейки, на них стопочками лежали куски торфа, а на подоконниках всюду – скороспелые, выведенные Богдановым же, арбузы. Он их как-то странно ел: не резал, как это обычно делают, а долбил сверху, точно мышь каравай хлеба. От арбузов, мусора, пыли и торфа в комнате стоял спертый, кислый воздух.

– Холостяк! Самый настоящий ты холостяк!

– А что? – спросил Богданов, ставя на стол два стекла от лампы, два блюдца и сахар – песок и рафинад.

– А вот, – Кирилл повел рукой, – все это...

– О-о! – не сразу догадавшись, вскрикнул Богданов. – Действительно... Я ведь больше живу в поле, во дворе. – Что такое пар? – начал он, насыпая в стекло сахарного песка и ставя его в воду на блюдце. – Пар разрушает структуру почвы, он превращает комковатую почву в пыль, он делает ее примерно вот такой же, как сахарный песок. Смотри, я приготовлю структурную почву. – Пока вода всасывалась песком и добиралась до верхнего слоя, он молоточком наколот рафинаду, насыпал его во второе стекло и так же поставил в воду. – Здесь ты не дождешься, когда вода достигнет верхнего слоя, – сказал он, звеня ногтем по стеклу. – Смотри, как медленно влага пробирается от одного комка к другому... Это и есть примерно комковатая структурная почва... Структурная почва не пускает влагу кверху, не дает ей испаряться. Такой ее делают травы. Кроме того, травы вносят в почву нужные питательные вещества. Растение требует для себя света, тепла, питательных веществ и воды. Свет и тепло нам не подчинены, а воду и питательные вещества мы растению в силах дать... Травы дают питательные вещества для злаков и сохраняют воду, делая землю комковатой, структурной. Понял?

– Да, да, да. Угу. Да, – ответил Кирилл, поняв из примера Богданова только то, что сахарный песок всасывает воду скорее, чем кусковой сахар. – Это, конечно, это вот тут в пузыре, а там, в поле, и другое может получиться. Ты ведь полтора гектара закатыл травой. Конечно, у нас пшеница хороша, трава хороша, огороды там... Но...

– Но! Вот тебе и «но»! – перебил его Богданов и выбросил сахар под стол, потом спохватился, еще больше разозлился и наступил на сахар сапогом. – Но, но! Вот тебе и «но»! У тебя на голове хоть кол теши... ты все свое.

– Он пишет... «только сумасшедший».

– О, понес, попер, как невзвезданный конь. Сумасшедший? А твой Борисов просто дурак от рождения. «Сумасшедший, сумасшедший!» – передразнил он Кирилла. – Ты знаешь, Англия – страна промышленности, а не сельского хозяйства. А почему там лошади весом до ста пудов, быки – до сорока, овцы – восемнадцать? А у нас овчишки полтора пуда. Почему там лучшие скакуны, лучшие свиньи? Почему? Потому что в Англии больше двухсот лет назад, при Кромвеле, молодые агрономы выгнали из сельского хозяйства Борисовых вместе с черным паром. А он, балбес, и теперь еще

пишет: черный пар – последнее достижение науки! Хвалится! Сумасшедший? А знаешь – Джордано Бруно семь лет держали в тюрьме, затем сожгли на костре за то, что он доказывал – вертится земля, а не солнце. Сумасшедший?.. Ленина кое-кто называл сумасшедшим за то, что он упорно вел за собой рабочий класс...

– Да, да, действительно сожгли, – не зная, кто такой был Джордано Бруно, причисляя его к сверстникам Ленина, согласился Кирилл: – Да, сожгли... Но ведь...

– Занокал! Ступай, пускай продует тебя, – Богданов вытолкнул Кирилла из комнаты и накрепко запер дверь.

– Медведь! – смеясь, прокричал Кирилл и незаметно для себя очутился в поле.

В поле его все радовало.

У опушки, ближе к Гремучему долу, волновалась сочная, до черноты зеленая, с длинным граненым колосом пшеница. Колосья еще не всюду освободились от объятий перышек-листочков, но упорно выбивались, напоминая Кириллу здоровяков-ребятишек, закутанных в одеяльца, таких, глядя на которых, он всегда думал: «Эти уж вырастут».

– Эх, матушка! – проговорил он и повел рукой по пшенице, ощущая, как колосья, набухающие полнотой, застукали о его ладонь.

Его радовала не только пшеница. Его радовала и рожь. Она была хотя и не та, что сулил в будущем Богданов, но у крестьян и такой в поле не встретишь. И он с большим удовольствием пересек сизое море, чувствуя, как бархатный колос ржи бьет его в лицо, в грудь, в спину, обдает его всего своим теплым дыханием и пряным запахом желтоватого цветения.

Он перебежал поле клевера и люцерны. За полем, в долинке, ближе к озерам, распластались огороды. Там тянулись ровные, точно прибранные к великому празднику, грядки помидоров, брюквы, капусты, лука, выпячивались из серой листвы скороспелые арбузы и цвел, разбрасывая во все стороны тысячи розовых нежных лепестков, мак. Маковый цвет, сдуваемый ветром, летел по пригорку, как стая ярких бабочек, и лепился на клин черного пара. Тут Кирилл, как паренек, весь изогнулся и даже притопнул ногой: ему все-таки удалось Богданова «обвести вокруг пальца» и приготовить под осенний сев черные пары.

– В пузырях да с сахаром – это у тебя там одно, а в поле-то может стать и другое! – воскликнул Кирилл и направился во двор коммуны со стороны Вонючего затона.

В коммуне кипела работа. За конторкой группа Чижика (за последнее время все коммунары разбились на группы) собирала в поле красный камень, складывала его в кучу и маленькими топориками выкалывала из него бруски для точки кос. Это была выдумка самого Чижика. К ней он пришел только потому, что ему, как и всем вожакам групп, ежедневно доводилось подыскивать такую работу коммунарам, какая давала бы пользу им и хозяйству, и когда Богданов предложил убрать разбросанный по всему полю камень, Чижик посоветовал не сваливать камня под овраг, а выделывать из него бруски для точки кос. Предприятие оказалось весьма выгодным: группа Чижика – восемь коммунарок и двенадцать коммунаров – в течение дня выделывала до тысячи брусков, зарабатывая на каждого человека по полтора рубля. Кирилл запродавал бруски в Илим-город по пятнадцати копеек за штуку, и хозяйство на этом деле получало сто

рублей в день. По подсчету оказалось, что красного камня на полях коммуны столько, что из него можно сделать до ста тысяч брусков, а это даст коммуне около пятнадцати тысяч рублей. И на средства, вырученные от продажи брусков, коммуна приступила к постройке нового дома – длинного, как состав вагонов.

Но Кирилла радовало не только то, что группа Чижика ежедневно приносит в хозяйство около ста рублей, что на эти средства строится новый дом, его радовало другое: сдельная система оплаты труда, разработанная и внедренная им в хозяйство, всколыхнула всех, всех заставила искать работы и пускаться на разные изобретения. Николай Пырякин изобрел машину, при помощи которой овес очищался от семян овсюга – этого бича полей; кузнец, племянник Чижика, придумал станок, при помощи которого холодным способом гнул крючки для железных борон; трактористы (их тоже перевели на сдельщину) быстро управились с пашней коммуны, перекинулись в артель Захара Катаева и, укрепив ее, принялись переворачивать на Винной поляне сизую полынь; Анчурка Кудеярова подобрала себе пять баб и заделалась главной на скотном дворе, подчинив себе и Шлёнку.

В центре парка воздвигалась на поляне причудливая избушка, похожая на теремок. В основании она имела вид огромного четырехугольного ящика, а наверху высилась круглая, вся в окнах, башенка. На башенке Иван Штыркин пристраивал деревянную пику для флага.

– Дядя Ваня, вот строим избенку, и не пойму – за коим псом она такая? – спросил Петр, племянник Чижика.

– За коим? Тебе надо позарез знать? Ты работай – это тебе польза и хозяйству там. А впрочем, видно, тут Кирилл Сенафонтыч хочет поместиться со своей марму-зелью... вечером на Волгу поглядывать и все такое. Ты знаешь, барин у нас был Уваров. Так вот он с Кирилловой матушкой, бывало, все путался... У Кирилла отец-то был чахленький.

– Это я знаю.

– Знаешь? Чай, и то правда – знаешь: Чижик, брательник Кирилла, в отца пошел, а Кирилл – в дедушку Артамона.

– Ты это к чему... родню нашу?

– Нет... Тени не хочу напускать. А то – барин Уваров на пруду избенку поставил и с бабами купаться туда ходил. Наберет их, бывало, с пяток – визг они там поднимут, крик, а потом и смолкнут... Барин с одной возится, а они, как лягушки, сидят и глядят... С жиру бесился... Ну, рот разинул! – прикрикнул Штыркин. – Ты работай. Слушай, бай и работай, а то замолчу. Нонче нам с тобой по целкашу надо выгнать... За двадцать пять избенку взялись, двенадцатый день работаем – кончаем, на рыло в день по целкашу выходит. Ладное дело. Он, Кирилл, мастак все-таки. Пра, мастак, не в глаза – тебе – хвалю. Опять стал? Ну, молчу... Что это в самом деле? – заворчал Штыркин, быстро сполз с крыши и принялся обтесывать стойку.

– Ты доскажи, дядя Ваня, – просил Петр. – Тяпаю ведь...

– Молчу! Работай, валяй.

Вначале рассказ Штыркина стряхнул с Кирилла радость так же, как буря – цвет с вишенника, и Кирилл, улучив момент, хотел обрушиться на Ивана, но то, что

Штыркин прекратил рассказ и накинулся на Петра за безделье, заставило Кирилла забыть обиду.

«Вот, – он ударил себя кулаком по ладони, – замечательная машина: не разболтаются. А разве сказать им, для чего строим такую избушку? Нет, нет. Пусть сами доходят, пусть сами придут и спросят. Пусть учатся...»

Так, увлеченный своей системой, корчевкой горы под виноградник и разработкой плана расширения коммуны, он почти совсем забыл о той шумихе, какую создала в округе дохлая сельдь. А о ней вновь заговорили уже в центральной прессе.

Но верхом достижений коммуны было то, что Сергей Огнев, выступая на Всесоюзном съезде Советов по докладу о путях развития сельского хозяйства, часто ссылаясь на коммуну «Бруски», то и дело упоминая Кирилла Ждаркина. А через несколько дней Кирилл, просматривая отчет о съезде, в списке вновь избранных членов ЦИКа натолкнулся на знакомую фамилию. Под номером восемьдесят шесть значилось: «Ждаркин К. К. – член ВКП(б)». Это было для него так неожиданно, как если бы, скажем, вдруг на «Брусках» за одну ночь появились каменные дома или пропал бы парк и на его месте стоял бы беконный завод... Он вначале не поверил, несколько раз забирался в глубь парка, вынимал газету, сверял по буковке свою фамилию, и, сознавая, что это именно его избрали членом правительства, все-таки скрывал газету от Богданова.

И только когда получил приветственную телеграмму от рабочих завода за подписью Сивашева, а следом за этим и циковский значок, то, показывая значок Богданову, волнуясь, проговорил:

– Буду. Да... буду... работать буду... Знаешь, Богданов... Ты только не смейся. Знаешь, какая радость меня обуяла, когда я понял, что иду в ногу... с партией? Нет, тебе этого не понять. Ты ведь... для тебя все ясно. Ты еще давно наметил себе путь – через книги, через свою замечательную голову... Нет, нет, ты не морщись. У тебя замечательная голова... голова у тебя, как хорошая машина... идет ровно, верно... ничто ее не сдвинет, не отклонит... А у меня вот, – он шлепнул ладонью по голове, – у меня – мученица. У меня голова – мужицкая, как телега на изъезженных колесах. Понимаешь? На таких колесах едешь, а они во все стороны вихляются и вот-вот развалятся... И развалилась моя телега... Раз вот...

– Знаю, на Гнилом болоте. Знаю, – перебил его Богданов и, возвращая значок, добавил: – Ну, вот ты и достиг мировой славы. Мировой не мировой, а весь Союз теперь тебя знает. Ты только не зазнайся, – закончил он и, тихо удаляясь, оставил Кирилла одного.

– Богданов, товарищ Богданов! – закричал Кирилл и кинулся ему вслед.

И пока догонял Богданова, понял другое: все, что приписывают ему, Кириллу, по праву надо отнести к Богданову. Ведь не он взялся за дохлую сельдь, ведь это же сделал Богданов. Богданов же ввел травопольную систему. Богданов разработал огороды, рассадил мак – розовый, с яркими, как крылья у бабочек, лепестками. Догнав Богданова, он вцепился ему в плечи и затряс его:

– Слушай, не я, не я ведь... Ты ведь один придумал. Я пошлю обратно этот значок... Что?

Богданов некоторое время смотрел на Кирилла. В его больших глазах то загорался

смех, то они гасли, как костер на заре, то узились, то вновь широко открывались. Кирилл стоял перед ним молчаливый и растерянный, сознавая, что сейчас смешон, как общипанный гусь.

– Ты и Степан – вот кто, искренно тебе говорю, – тихо проговорил он, не отрываясь от глаз Богданова.

– Ну, вот и зазнался. Видишь, чучело какое в тебе сидит? Ты думаешь там, в верхах, не знают – не один ты, и я, и все мы с тобой? Знают. Поэтому и выбрали. Вот отчего мне и грустно было: не так ты понял. «Я! Буду работать». Как это ты – «я буду работать»? А мы? Без нас ты, друг мой, – так себе, пшик. Ты себе хочешь все присвоить... я тут тебе и говорю – не зазнайся. Да что там? Поговорим потом... ты Степану Харитоновичу избенку отстрой поскорее, – закончил Богданов и так же, как и до этого, чуть согнув спину, скрылся в кустарнике на горе около Вонючего затона.

«Что же это? – растерянно, не понимая Богданова, думал Кирилл. – Почему он вот так, вот эдак? Почему, почему? – спрашивал он себя, рассматривая на ладони значок члена правительства. – Степану? Ах, да, да, Степану... отдать? Степану отдельную квартиру отстроить? Отстроили... там, в парке... Надо его переправить туда. Да, да... Ах, черт! Как ошарашил он меня... ага, да, да, – начал он успокаиваться. – Глуп я. Читать надо. Не читал ведь с весны. Член ЦИКа, дураком нельзя быть... Теперь машина завертелась... читать надо...»

И Кирилл засел за книги. Однажды он попросил у Богданова:

– Дай мне что-нибудь почитать о товарище Бруно... Бруно... как его еще там? Вот и забыл.

Богданов посмотрел на него, чуть усмехаясь.

– О Джордано Бруно?

И дал Кириллу книжечку: «О великих людях».

Да, это был стыд, большой стыд, от которого Кирилл сгорал, как от чахотки. Он вычитал, узнал, что Джордано Бруно родился в 1548 году, был последователем Коперника, скитался, сидел семь лет в темнице, потом в 1600 году 17 февраля живым сожжен в Риме... и Кирилл покраснел: надо же было причислить Джордано Бруно к сверстникам Ленина.

В эти дни Кирилла и позвали к Фоме Гурьянову.

2

...Утро наступало торжественно, съедая разноцветные краски зари за Шихан-горой.

На крыльце конторы сидел человек, обутый в лаптишки: ноги у него были обернуты в кремовые онучи, а за спиной блестел котелок военного образца.

– В великом раю живете вы, – говорил он, задерживая коммунаров. – Рай земной сыскали, – восхищался он. – На земле человек беснуется... а должен он жить тихо и мирно, как камень...

– Какой камень! Иной так с горы летит – пыль столбом... Ты откуда будешь, человек? Многие у нас бывали, а такие еще нет, – расспрашивал его Шлёнка.

– А изъездил я весь мир. В Риме был, в Иерусалиме был.

– И в Иерусалиме?

– Везде был... рай земной искал – не сыскал, а у вас вот сыскал.

«Где это я его видел?» – думал Кирилл, вспоминая почему-то фронты, набаты...

– Человек многие тысячи лет искал рай... и рая не нашел.

Услыхав вновь про рай, Кирилл обозлился:

– Гони! В три шеи, Шлёнка, гони!

– Кого?

– Вот этого христосика. Ну, марш восвояси!

– Что-с? – Человек, оскорбленный Кириллом, вскочил и вытянулся по-солдатски, выдавая себя.

– У-у, сволочь! Где служил? – спросил Кирилл, наступая на человека. – Белопогонник? Рай ищешь?

Человек сгорбился и заковылял со двора коммуны, ворча:

– И в раю, видно, собаки водятся...

– Что-о? – закричал Кирилл и спохватился. – Фу, чего это я расстраиваюсь?.. Задержать надо... Ах, черт... Вот дурак, не задержал... Побегу, – Кирилл кинулся вслед за человеком по направлению к Широкому Буераку, решив непременно задержать его, а потом обязательно зайти к Фоме Гурьянову.

3

Фома умирал.

Сухой и до болезни, он теперь высох так, что казалось – если постучать по нему пальцем, он загремит, точно прорванный барабан. Он лежал на кровати в передней комнате за занавеской, откинув голову назад, выпятив ржавый кадык. Рядом с ним сидела Зинка и растирала его костлявую грудь.

– Не три!., не трогай меня!.. – сердился он, закатывая глаза, и, ровно жалуясь на себя, просил: – Зинушка... ты не сердись... Я не на тебя... Я ведь...

– Фомушна... милый... Ох, Фомушка! Ну, я вот так, – она раскрыла кофту и горячей грудью прислонилась к его сухой груди и, видя, как у него на лице начинал играть румянец, успокаивающе шептала: – Вот и посветлел. А это зря ты: «умру». Умрешь – с тобой в гроб лягу, в гробу с тобой буду...

– Гнить? Гниют ведь в могилке, Зина. – Фома морщился. – Это пойми. Ты плотнее, плотнее приляг. Нарывы у меня внутри, вроде чирьями кругом обсыпало... Эх, промахнулись мы с тобой, промахнулись... Ты не плачь, слезами не поможешь. Сундуки-то здесь? – он щупал рукой край высокого, обитого железом, со звоном,

сундука.

А у двора крутился Никита. Он знал – сын Фома умрет. Врач сказал: «Гнойный плеврит... задушит... поздно хватились», Фому Никите было жаль: своя кровь-плоть. Фома умрет, не вернется. Тут ничего не поделаешь; человек не властен в своей жизни. Что на роду написано, тому и быть... Да... Но Фома своей смертью разрушает дружбу Гурьяновых с Плакущевым. После смерти Фомы Зинка уйдет, заберет с собой добро – сундуки, дом, рысака серого в яблоках, землю... Все заберет. Они, бабы, такие. Как что – фыр, и нет ее... около другого мужика вертит-юлит. Такие они, бабы... И Никита решал... Рвануть! Так рвануть, чтоб Зинке потом и нести нечего было. Маркел Быков так, например, однажды поступил. Приехала к нему из Астрахани богатая тетка. В Астрахани с мужем рыбными делами промышляли. Муж умер, тетка в Широкий Буерак приехала. Так он хитер. Что сделал? Тетка заболела – он к ней подкатился сыром-маслом: Купчую сварганил – все имущество Быкову тетка запрдала для виду. А так – перед иконой слово с него взяла: до гробовой доски кормить, поить ее. Слово свое сдержал перед богом Маркел. До гробовой доски поил, кормил тетку... Только гробовую-то доску приблизил: больную тетку положил в хлев, на крючок запер, а ребятишек через плетень заставил ее дразнить. Тетка ума лишилась, а потом с крутого оврага у церкви бухнулась – и дух вон... Вот хитер! А Никита? Дурак, сундуки отдал. Вчера Зинке говорил:

– За Волгой сто сел – а то и больше – нагло вымахало. Того и гляди, Широкое вспыхнет. Пожары кругом. Сундуки-то с одежкой к нам в подвал бы надо, не то останешься наг и бос...

Не дала Зинка сундуков. Чует, стерва кособокая, чем пахнет. А Фома? Фома все равно умрет... Покойников назад с могилки не таскают. Эх, ты-ы! Всего недели три тому назад отделили его от Гурьяновых. Конечно, отделили так, для виду... и бедняк он теперь. Илья в совете грамотку написал – бедняк. Себя тоже отделил – бедняк. Никита один остался – бедняк. Хорошо при советской власти жить. Это уж верно. Раньше... Раньше мало ль что было? То раньше, а теперь Никита за советскую власть... Только вот сундуки. Никита однажды видел в одном сундуке: шуба на хорьковом меху с волчьим воротником, Ильи Максимовича шуба. Он носил, когда старшиной был. Чай, бывало, в шубу разоденется, сапоги валеные расписные – на ноги, шапку каракулевую – на башку, сядет в сани, куда тебе барин. По улице поедет – народ весь в пояс ему поклон. Вот он какой был. И куда все от человека девалось? Теперь он с виду, как и все... от хозяйства отстал, подался – народ учит... все в Полдомасове больше торчит... там с этим... с Петькой Кульковым. Мир собираются перевернуть. Пускай! Никите вон сундуки бы. А то Фома зачем-то вчера за Кирькой Ждаркиным посылал. Вот еще выдумает – махнет все добро в коммуны. Не-ет, Зинка не пойдет: на то она и баба. Скажет: Кирька меня покинул, меня на Ульку променял... а теперь я ему свое добро... Не-ет, шалишь! А покараулить Кирьку надо... пускай придет когда...

Никита сидел в избе рядом с Зинкой и вытирал рукавом мокрые глаза, бормотал:

– Чего уж... Умрет... Не сберегли молодца такого...

– Верно, батюшка родной, умру, – Фома закашлял и, показывая на отца пальцем, притянул к себе Зинку. – Гляди, волк около тебя... стережет... Уходи... куда говорил – уходи... Бегом уходи... туда... на это... на...

Никита догадался, куда толкает Зинку Фома, и махнул на него рукой, словно бросая ему в лицо горсть песка:

– Чего орешь? В безумии он, Зинаида.

– А мне рубашку дай... остыну скоро... – закончил Фома.

– Тятенька... Ты ушел бы... Уйди... – шепнула Зинка, поднимая крышку сундука. – Как тебя увидит, так и умирать собирается... Ушел бы...

– Чай, отец я? – так же тихо ответил Никита и заглянул через Зинку в открытый сундук.

В сундуке поверх лежала шуба с волчьим воротником, в углу – сапоги с узкими носами, с лакированными голенищами, а дальше – ротонды, бекешки, куски сарпинки и вязаные теплые рубашки... И как это вышло – Никита сам не помнит: вскинул руки, через согнутую Зинку, точно вилами, поддел все, что было в сундуке, и, напрягаясь, взвалил к себе на грудь.

– Ах, батюшка, – тихо, боясь, как бы не растревожить Фому, зашипела Зинка на Никиту. – Проклятый! Ох, проклятый обжора... Ох, ты... – и села на край сундука.

– Зи-ина, – со свистом прохрипел Фома. – Возьми. Отними. Зубами отними. Вот я встану, вот я встану. Ну, видно, конец тебе пришел, старому черту. Дай мне ножик. Ножик дай. Ножик! – выкрикнул он и в судорогах упал на кровать.

В эту минуту и вошел в избу Кирилл Ждаркин.

Поняв сразу, в чем дело, он толкнул Никиту.

– Положи. Ну-у! И марш.

Никита растерянно затоптался:

– Пособить хотел... А она, баба, крик подняла. Баба. Вот баба, разрази бог, – и, согнувшись, вышел в заднюю комнату.

Кирилл и Зинка долго успокаивали Фому. Кирилл держал его за руки и смотрел в угол. В углу в сосновом бревне зияла раковина – эта раковина образовалась оттого, что из бревна выпал сучок. Кирилл когда-то все собирался заделать раковину: в нее набивались тараканы и по ночам, разбегаясь по стене, шуршали, как мелкий дождь по крыше. Раковина напомнила ему, как, бывало, по утрам кричал поросенок-уродец, как за стеной во дворе канителилась Зинка с овцами, коровами, как она из-за пустяков ругалась со своей помощницей – девкой. Он посмотрел на Зинку. Те же знакомые глаза – большие, серые, с синими ободками. Почти ничего не изменилось. Да, в его бывшем доме почти ничего не изменилось. Даже во дворе те же клетушки, те же дубовые стойки под сараем, и тот же колодец с аккуратным навесом. И Кирилл еще раз с отвращением посмотрел на раковину, где и теперь копошились тараканы, и ему захотелось сказать:

«Все так, как было... Только меня здесь не хватает, и вместо меня на кровати лежит и умирает Фома...»

Фома успокоился. Он долго смотрел на Кирилла, затем передернул плечами, стараясь подбодриться, но сил у него не было, и он затих, а потом слабо заговорил:

– Кирилл... вот пришел ты ко мне... а не я... Я не успел. Тянул... думал... с

имуществом, мол, пойду... Возьми. Сердца только на нее не имей. Больше нашего перестрадала она... И еще скажу... Плакущев... Ты, Зинушка, не обижайся... Плакущев...

Что хотел сказать Фома о Плакущеве – не сказал: в комнату ворвался Никита и потушил Фому, точно ветер спичку.

– Зря, зря! – закричал он. – В безумстве наплетет: умирает ведь...

– Уйди. У-й-йди! – Фома рванулся, вцепился руками в бока и громко икнул.

Так и не сказал Фома того, что хотел сообщить о Плакущеве... Не сказал... Да и не об этом думал Кирилл, шагая на «Бруски». Думал о другом, о том вот, как умирают лучшие люди на селе. Этот Фома, оказывается, собирался бежать на «Бруски». Не убежал: сараи удержали, рысак (и все тот же – серый в яблоках), сундуки, дом. Как все это знакомо ему, Кириллу! Ведь и он когда-то собирался бежать из этого же дома, где теперь лежит мертвый Фома, от этого же рысака, этих же сундуков с шубой Ильи Максимовича, с рубашками, сапогами узконосыми. Сбежал? Нет, не сбежал. Заставили бежать, подтолкнули. И их надо заставить, подтолкнуть... Многим будет больно... Многим... Многим будет не в меру тяжело... Но для них же надо заставить... Человек бородавку и ту боится сразу срезать: он обматывает ее ниточкой, туго перетягивает и ждет, когда она отвалится... А сколько этих бородавок на человеке! Все эти избушки, свои лошаденки. Вон Митька Спирин приобрел себе новую бородавку – меринка с кулак. Ах, Митька, Митька! Есть ты хочешь, жить ты хочешь, взрослый человек, а тычешься в жизни, как слепенький котенок, – мяучишь...

На «Брусках» кипела работа, а в сторонке, под кустом черной смородины, лежала Улька.

Развалясь, она лениво потягивалась и, прямо губами срывая ягоду, медленно пережевывала ее.

«Вот отъелась. – В первый раз Кириллу неприятна была ее полнота, белизна ее плеч. – Друг жизни! Какой, черт, друг!»

– Ульяна! – крикнул он. – Что ты ничего не делаешь?

Улька улыбнулась розовым ртом.

– Чай, у меня вот, – она шлепнула ладошкой по пухлой заднюхе сынишки. – Вот, чай, у меня!

– Смотри, мозги жиром заплывут, а то и хуже!

– Ну, тебе уж теперь все не так!..

– Жнитво наступает... В группу бы записалась да шла бы вязать снопы... Чудно! Лежит человек, а на него кто-то работает!

– Стешенька твоя не лежит?... Лежит, да под кем только?

– Ульяна! Молчать бы тебе!.. Тебе бы молчать... вот что! Молчать, говорю!..

– Ну, ну, разошелся... пошел!.. Ну, запишусь, – Ульяна нехотя поднялась и, подобрав ребенка, побрела от Кирилла в другую сторону.

– Тьфу, корова! – бросил Кирилл и долго смотрел ей вслед, на ее валкую походку.

4

На все это понадобилось не больше пяти минут. В течение пяти минут (это хорошо помнит Богданов, – он смотрел на часы) над коммуной бушевала стихия, и стихия опрокинула все расчеты Кирилла Ждаркина.

Совет коммуны с утра заседал в конторе. Кирилл выдвинул один, с виду, казалось бы, пустяковый вопрос. Коммунарам каждые полмесяца выдавали заработную плату деньгами. Кирилл предложил вместо денег ввести чеки.

Предложение Кирилла коммунары встретили в штыки. Ему доказывали, что он зря «кобенится», указывали на то, как быстро коммунары красный камень превратили в бруски для точки кос, как корчуют кустарник, готовя гору у Вонючего затона под виноградник. Мало этого? Ну, хорошо! Вот уберутся с полем, тогда приступят к закладке беконного завода. Мастерские? И мастерские будут готовы. Теперь без дела ни один человек не просидит. Коммунары рады, крепко рады... Работа дружная, и все такое...

Кирилл понимал, почему его предложение встретили в штыки.

«У каждого есть денежки», – решил он, дожидаясь, когда заговорит Богданов.

Богданов сидел в углу. Согнувшись, опустив голову, он перебирал пальцами бороду и, казалось, совсем далек был от того, что происходило на совете.

«Странно! Почему он молчит? – думал Кирилл. – И за что он на меня в такой обиде? Да и не обида... а что-то другое... и все с того дня...»

В этот миг ветер рванул створку. Стекло из верхней клетки окна со звоном шлепнулось на стол, разлетаясь в мелкие осколки. Ветер сквозняком дунул, подхватил на столе листы бумаги и закружил их по конторе. Ветер оборвал мысль Кирилла Ждаркина. Все повскакали с мест и только тут заметили: со стороны Волги на «Бруски» наступали косматые тучи. Они приглушенно рычали и неслись на коммуны, точно подгоняемые чьей-то невидимой силой.

– Бяда, бяда! – закричал Иван Штыркин, спрыгивая с крыльца нового недостроенного дома. – Бяда! Спасайся!

Коммунары еще не успели попрятаться, как разорвался резкий, сухой гром, ветер схватил приготовленные для прессовки стога соломы и охапками раскидал ее по полю.

– Град! – проговорил Богданов и, все больше бледнея, вынул часы. Часы показывали тридцать восемь минут двенадцатого. – Тридцать восемь минут двенадцатого! – глухо проговорил он и выскочил во двор.

Мимо бежали коммунары. Шарахались овцы; забиваясь под деревья парка, они кучились и неистово блеяли. Из парка, борясь с ветром, выбежала Стеша и, махая руками по направлению к Волге, кричала:

– Там! Там! Батюшки, что там?

– Ничего не будет, ничего не будет... – успокаивал Кирилл, уже слыша, как из парка доносится характерный шорох.

Посыпалась белая крупа, а чуть спустя и крупный град, размером с голубиное яйцо, забарабанил в землю, точно туго надутыми белыми мячами. Мячи прыгали, метались, устилая все сизыми покровами, из-под покровов с шумом неслись потоки, захватывая с собой и град, и щебень, и навоз. Белые мячи шпарили по парку, рвали листья на дубе, на белобокой березе, вихрили их и отбрасывали в сторону изрубленной зеленью...

...И так же быстро, как появилась, туча пронеслась над коммуной, оставляя после себя длинный, прозрачный и красивый хвост, который медленно таял под палящими лучами солнца.

– Пять минут! – сказал Богданов и закричал, убегая в поле: – Лошадь! Грузовик! Черта!

Следом за Богдановым грузовик вез членов совета. Пройдя с полкилометра, не догнав Богданова, грузовик, утопая в грязи, скользя по ледяшкам, завыл, с силой выворачивая ошметки земли, раскидывая ее пластами по сторонам. И чем дальше, тем все больше град крупнел. Он лежал в ямках, словно кем-то нарочно сгруженный, и сочился... Земля разжижалась. От нее поднимался густой пар, как от загнанного вороного коня...

Утопая в грязи, грузовик стал, отхаркиваясь.

– Не пойдем дальше!

Николай Пырякин спрыгнул с грузовика, подхватил пригоршню града и высыпал его в радиатор, из которого валило горячее дыхание.

За Николаем выпрыгнул Кирилл и, утопая в грязи, кинулся догонять Богданова. Сторбленный, засунув руки глубоко в карманы, Богданов шел прямо, не задерживаясь, шел к далекой березовой опушке по склону Гремучего дола и вскоре скрылся из глаз.

«Дело, стало быть, плохо!» – догадался Кирилл, приближаясь к полю.

От поля веяло жутью. Там, где за несколько минут перед этим колыхалась, шуршала крупным колесом знаменитая, выросшая на земле, удобренной дохлой сельдью, пшеница, – кое-где торчали сиротливые былинки. Они высоко поднимали слезящиеся колосья, покачивались, и Кириллу показалось: они плакали над сбитыми градом в ямки братьями. И все поле было похоже на осеннее, когда выпадает первый снег и сочится под лучами еще теплого солнца... Все поле! Все! Не только пшеницу – град перепутал рожь, травы, вбил в землю зеленыя картофеля и уничтожил мак с розовыми головками.

Кирилл закачался, как будто только теперь понял все, что случилось, понял, что уплыло вместе с тучей, чего не вернешь... Он еще не верил. И как верить? Через две-три недели жатва... Кирилл недавно приблизительно подсчитал, что даст им полеводство... А, да не только это... Знаменитая пшеница, их лучший работник на селе. Разве не она гнала мужиков со всего округа посмотреть на нее, пощупать ее тяжелый, бархатный колос? А мак?.. А картофель? Все было выбито... По полю точно прошла вражеская рать...

– Вот тебе и двухсотпудовый урожай, – скрежеща зубами, прошептал Кирилл Ждаркин и, сам не зная почему, вцепился пальцами в мякоть земли, затем сжал кулаки. Через отверстия между пальцами свистнули струйки черной грязи. Кирилл

разжал кулаки и, глядя на почти сухие комки земли, подумал: «Вот так и нас сжало... Ах ты, человеческое бессилие!..» И, ломая себя, напрягая все силы, обращаясь к подошедшим членам совета, он принужденно засмеялся: – Вот как угостил нас боженька!.. Вот черт! Этак мы скоро действительно заиграем во все колокольчики!.. Суму за плечи да колокольчики к хвосту – и пошел по порядку... Как, дядя Давыдка, пойдём?

Панов Давыдка, положив руки на живот, расставил кривые ноги, смотрел в ямочки, где набухали от воды сбитые градом колосья, и не замечал, как у него ползли и падали на сырую землю слезы... Около него стоял хмурый Чижик... За ними Николай Пырякин.

– Ну, что ж? – Пробуя шутить, Кирилл, готовый и сам расплакаться, похлопал Давыдку по плечу. – Ничего!.. Ты не плачь. Ну если мы заплачем, то чего же остальным делать?.. Вешаться надо.

– Да я и не плачу... Это так... так только.

– Ты вон гляди, что там, – Кирилл показал на «Бруски».

Вдали на бревнах, на кучах красного камня сидели коммунары. Сидели они бездвижно, смотрели в сторону выбитого поля, напоминая собой стаю галок в вечернюю пору, когда те, после дневной суетни, садятся на покой.

– Сидят... – проговорил Кирилл. – Мертвые сидят... Если мы так же засядем, нас заклюют... Поэтому – духу больше, бодрости!.. Что уплыло – не вернуть! Так, что ль, Коля?

Николай дернулся:

– Иди ты... Чего уговаривать!.. Горе водой не зальешь... Вон баба какая-то бежит... Что-нибудь ещестряслось...

От коммуны по направлению к полю, утопая в грязи, шла женщина. Она падала, вскакивала и двигалась к грузовику.

– С тешка! – Кирилл спохватился и побежал ей навстречу.

У Стешки лицо было серое, как выбитое поле.

– Тятя, – сказала она, еле переводя дух, – зовет! Ну тебя зовет... Что уставился? Иди! – тяжело выворачивая из грязи босые ноги, неся в руках дырявые сандалии, она повернулась и пошла к коммуне.

Кирилл шел за ней. Он слышал, как у него стучит сердце, как отдаются толчки в пятках.

«Почему в пятках? – подумал он. – Вот странно!» – и, подходя к коммунарам, чувствуя непомерную усталость, прокричал:

– Вот так спектакля!..

Ему не ответили.

– Скинь сапоги, – сказала Стешка, вытирая ноги о дерюгу. – Скинь! Чего зарделся? Девушка? Чай, не на пляску идешь! Скинь и иди за мной... – и, бросая в сторону грязные сандалии, она первая вошла к отцу.

Степан Огнев полулежал... Рот у него перекошился на правую сторону, отчего

казалось, Степан молча заливается неудержимым смехом. Этот смех хлестнул Кирилла... В другое время он от такого смеха вылетел бы вон, крикнул бы что-нибудь грубое, но сейчас, зная, что бежать некуда, что хозяйство наполовину разрушено, он стал в дверях, готовый ко всему.

– Авля, лавля... – прошамкал Степан и помахал рукой.

– Садись, значит, – перевела Стеша и затормошила Кирилла. – Садись... и руку подай... поздоровайся... А ты, мама, ступай отсюда, – и она легонько выпроводила Грушу.

Присев на стул, Кирилл сжал руку Степана – вялую, бессильную – и только тут заметил, что он вовсе не смеется, что у него от болезни перекошились губы в одну сторону, словно их кто-то подтянул к правому уху.

Степан издал какие-то непонятные звуки, но, видя, что его ни Кирилл, ни Стеша не понимают, раздраженно замычал, закашлялся и опустил на кровать.

Кирилл посмотрел на Стешу, спрашивая ее взглядом. Она развела руками и тихо ответила:

– Не понимаю... Встает...

Степан с трудом поднялся и, прислонясь к косяку окна, присел. Долго смотрел на Кирилла, стараясь по-настоящему улыбнуться. Затем потянулся к нему, показывая на грудь. Кирилл обшарил себя и, заметя в грудном кармане карандаш, подал его Степану.

– Бу-у-у... – промычал Степан и засмеялся. Это напоминало не человеческий смех, а плачь лошади, когда ее немилосердно хлещут в три кнута.

– А, бумагу? – догадался Кирилл и выхватил из кармана записную книжку.

«Што... эта... Што... думаешь?» – написал Степан коряво, как ученик первого класса; подал книжечку Кириллу, но тут же вернул и добавил: «Гляжу... вижу...»

«Ого, нашли язык!» – Кирилл оживился и печатными буквами ответил:

«Что думаю? Перекоп помню... Будем биться. Вот тебя нет».

«Я есть», – ответил Степан так же коряво и, сжав кулак, отвернулся от Кирилла; уставился в окно на выбитое поле.

Но вот у него зашевелились, задрожали сдернутые на сторону губы, а на лице появилась хмурь, злоба – суровая и какая-то мучительная. Кирилл вначале подумал – Степан разозлился на него за грубость; но потом ему стало страшно: он понял, что у Степана злоба не на него, не на Стешку, а на свое бессилие, на неизбежность такого бессилия. И казалось, сидя здесь у окна, Степан Огнев безумствует, рвет с себя невидимые, сковавшие его путы и в то же время сознает бесполезность своей попытки, неизбежность быть полумертвым. Но Степан вдруг отчетливо и резко, словно кнутом ударил, произнес:

– Гнилое болото в коммуны перетащил. Вижу, знаю, – и рот у него еще больше перекошился.

– Ступай! – шепнула Стешка. – Не расстраивай его. А как что – я кликну. Ступай!

Выпроваживая его по лесенке вниз, она легонько упиралась пальцами в его спину,

и Кирилл, ощущая ее прикосновение, хотел повернуться к ней и здесь, в полумраке коридора, сказать то, что думал эти дни... И, соображая, как сказать, он очутился на воле и, повернувшись, заговорил:

– Может быть, и не надо бы об этом говорить...

– Что «не надо»? – сурово оборвала она, отскабливая на локте ошметок грязи.

«Да, ей нельзя говорить про то, о чем я все время думаю», – и Кирилл заговорил о другом, выдавая свою затаенную мысль:

– Я хотел сказать, может быть, напрасно я так сделал... дурь сваял... избушку такую велел построить с башенкой... Я ведь так хотел: дядя Степан будет сидеть в башенке... и кругом видать... как... как его дело продолжаем... а он вон чего: недоволен.

Пока он говорил, у Стешки ширились глаза, вздергивались брови... И ему даже показалось: она качнулась, она упадет с крыльца ему на руки.

– Ступай!.. Не тирань! – тихо сказала она и скрылась в башенке.

Кирилл долго стоял, опустив голову.

– «Не тирань»... – повторил он ее слова. – Кого не тирань? Ее или отца? Ой, нет, нет!.. Она только теперь узнала, что я уважаю Степана... Да, уважаю! Она не может мне другого сказать. А может, и правда: я тираню ее и отца. Тем, что я здесь, тираню? Да нет!.. Ведь Степан призвал меня...

Так и не разгадав, к чему Стешка сказала «не тирань», он направился к себе в комнату. На пороге столкнулся с Улькой. Она куда-то торопилась.

– Что – много выхлестало? – спросила она.

– Поди да погляди!..

– Богданов-то, чай, с ума спятил?

– Ах, да, Богданов! – спохватился Кирилл. – Фу, совсем забыл о нем! Убежал он в Гремучий дол... один... Ты чего бледнеешь?

– Да как же? Человек нездешний, убежал, а вы его бросили... одного? Может ведь и повеситься где-нибудь...

– Не повесится! Ступай, скажи, чтоб за ним послали лошадь. Пусть Николай Пырякин съездит. Николай только, и никого больше.

– А довезет он его? – с еще большей тревогой спросила Улька. – Ты, Кирюша, то пойми: чужой он здесь человек и одинокий.

– Довезет!..

Кирилл переступил порог и почувствовал, как у него зашумело в голове оттого, что он непомерно устал, и оттого, как задрожали в тревоге ресницы Ульки...

«Чего это она так о нем тревожится?.. Чего» – спросил он себя и сел к окну на табуретку, глядя на выбитое поле.

Отсюда поле ему представлялось иным, чем с башенки Степана Огнева. Отсюда оно казалось покрытым валунами и сдвинулось, приблизилось к окну своими оскаленными пластами. И Кирилл видел еще другое: далеко на пригорке стоит человек

без шапки. Он согнул голову и, опираясь на палку, стоял так, точно перед ним было поле брани.

Кто это?

– Кто? Конечно, Богданов, – устало прошептал Кирилл и, жмуря глаза, оторвался от выбитого поля и от одинокого человека, стоящего на пригорке.

Звено седьмое

1

Град нанес сокрушительный удар полям коммуны «Бруски», крылом задел часть ярового поля артели Захара Катаева... В Гремучем долу туча снизилась, свилась в упругий клубок и разразилась ураганом. Ураган с градом в задоре, с (величайшим весельем, точно потешаясь, в течение часа играл над лесом, выворачивая с корнем деревья, решетил листья орешника, как из пулемета... И водяные мутные потоки несли из Гремучего дола коряги, изрубленную зелень, убитых птиц, птенцов, разрушенные гнезда и измочаленных серых зайчат... Потоки росли, пучились, гремели и, впадая в Волгу, грязнили ее голубоватые воды.

Дальше туча – обессиленная (словно крепко погулявшая богатырь-баба) – сыпала мелкой крупой и только путала рожь и пшеницу, не принося им вреда. Крупа под палящими лучами солнца быстро таяла, хлеба рослись каплями и тихо покачивались.

Коммуна замерла.

В эти дни не работала даже столовая, сбавили удои Коровы, бездействовали тракторы, сиротливо стоял недоделанный дом, и выбился из круга Шлёнка. Он слонялся по квартирам, тыкался в двери, как угорелый, и все собирался что-то сказать, но только мычал:

– Эта... как, бишь... Эта вон...

Коммуна замерла и, казалось, – навсегда: никто не знал, с чего начать. Даже Богданов – и тот, шагая по выбитому полю, часто останавливался, смотрел в землю и безнадежно бормотал:

– Вот оно как... Вот как.

А Стешка, поджав под себя ноги, сидела в недокорчеванном кустарнике на горе, около Вонючего затона, и видела перед собой искалеченное поле, лохматого Богданова и коммуны с сонными, оглушенными коммунарами. Она сидела здесь с утра и грустила не только по выбитому полю...

Вчера поздним вечером Кирилл уехал в город. Перед отъездом он зашел к ней. Зачем она так сделала? Ей так не хотелось этого делать: ведь ждала его, знала, что он придет, и знала, зачем пришел в такой час, и дрогнула, когда услышала в коридоре стук его каблучков. Вошел. Да, как он вошел? Он согнулся – дверь низка – и, переступив порог, выпрямился, протянул руки и точно что-то легкое сбросил к ее

ногам... Он вошел так, как будто не один десяток раз бывал здесь и раньше, и вот теперь где-то задержался и просит прощения. А она вскочила с кровати, прибавила света в лампе, отдернула оконную занавеску, пусть все видят, что творится у нее в комнате... И Кирилл поник.

– Уезжаю, – торопливо проговорил он. – Ежели ничего не добыюсь, прощай, – и ушел – высокий, сгорбленный и сильный, ушел, гулко цокая каблуками в коридоре.

Ах, Стешка, Стешка!.. Да нет, не о Кирилле она думает, не о нем грустит. Разве он не понимает – не хочет она снова бежать к старухе Чанцевой, лечь на разостланную дерюгу... Нет, нет! Какие они все, мужики! Им бы только ласку, жар тела. «Ты холодная, как рыба». Да, так и сказал когда-то Яшка. «Ты холодная, как рыба». И Кириллу хочется, чтобы она его палила, ублажала, а то Улька «холодная, как рыба». Не-ет, Стешка палить не будет, она не подтопок... Это в подтопок подбрось дровец, он и палит... Ну, и заведи, Кирилл Сенафонтыч, себе, подтопок... В самом деле, почему он не поставит ее, Стешку, рядом с собой на работе? Почему он при всех коммунарах говорит с ней сухо, как со Шлейкой, а наедине у него дрожат руки? Руки? Ручищи. Он своими руками может свернуть голову быку. На днях у озера трактор увяз в грязную канаву. Николай Пырякин и два тракториста долго возились и ничего не могли сделать. Подошел Кирилл, уперся плечом, а руками вцепился в колесо, – и трактор стал на свое место. Вот какие у него руки... и эти руки дрожат.

– Ой, нет, нет, – шептала она. – Нет. Не хочу, нет, – и старалась не думать о Кирилле, не грустить. Глотая слезы, Стешка пыталась засмеяться: – Ну, что же это я? Вот еще!

Она положила лицо на колени в ладони и представила себе, как запыленный Кирилл носится в городе по учреждениям, по заводу, как у него тревогой блестят глаза и как он иногда останавливается, отбрасывает в сторону заботы о коммуне и думает о Стешке. Он непременно думает о ней. Он обиделся. Вот чудачок! Обиделся, как маленький. У него даже отвисла нижняя губа, как у Аннушки... И Стешке стало страшно от мысли, что он больше к ней не придет, и в то же время она чувствовала, что ее неудержимо зовет к нему ее изголодавшееся тело, и, уже представляя себе, как он сидит в ее комнате на кровати и сильными руками ласкает ее, – она засмеялась, как тогда на плотине в ледяную ночь.

Она долго сидела, схватив лицо ладонями, тихо покачивалась, шептала и, забываясь в мечте, не слышала, как позади нее скрипит надломленная ветка, как шуршат в траве серые, юркие ящерицы. Она была горда тем, что он ходит за ней, и тем, что она не поддается ему. Но сейчас она пошла бы за ним... Если бы он вот сейчас явился к ней...

И вдруг Стешка чего-то перепугалась, словно кто-то подслушал ее шепот, ее мечты. Она отняла руки от лица и, ощущая, как по телу побежала мелкая, сковывающая все ее движения дрожь, подалась вперед и уставилась на дорогу, ведущую из Илим-города.

– Кто это? Кто-о? – хотела она крикнуть – и не могла.

По дороге из Илим-города шел человек. Вначале он шел вразвалку, затем снял с головы фуражку и замахал ею так, как будто собирался пуститься в пляс, радуясь тому, что поля выбиты градом. Кирилл? Нет, это не Кирилл. Кирилл выше и стройнее,

у Кирилла шаг всегда медленный и широкий, а этот как-то тычет ногами в землю. Вот он побежал. Он не хочет бежать дорогой. Он бежит, пересекая клеверное поле. Он, должно быть, очень спешит. Вот он уже у подножия горы... и голова угловатая... на твердой бычьей шее... голова...

– А-а-а, ах! Яша! Яша-а! – вырвалось у Стешки, и она, как оглушенная волчица, падая на траву, напрягая все силы, выбрасывая вперед руки и цепляясь ими за вихры травы, поволокла свое тоскующее тело вниз – навстречу ему.

Когда она очнулась, открыла глаза – Яшка уже нес ее в гору. И она, плотнее прижимаясь к нему, слыша, как он ласково ворчит, обдает ее теплым дыханием, покорно легла в ложбинку, под ветвями корявого кустарника. Яшка наклонился над ней, и она заметила – у него круто обрубленные, как зубная щетка, усы.

...А потом, после всего, Яшка положил голову к ней на колени и, засыпая, сказал:

– Тосковал я по тебе, Стеша... и устал. Ох, как я устал, Стешка!

– Тебя, что ж... освободили, Яша?

– Освободили... В партии восстановили – за борьбу с кулачеством... Я расскажу... потом... Потом.

И он уснул крепко, намученно, обняв ее колени.

А она сидела, смотрела на него, на его круто обрубленные усы, на угловатую голову, и у нее от страха глаза все ширились и точно слепли. Она склонялась над ним и отталкивалась... Она не видела перед собой того, кто за несколько минут перед этим был близок ей, за кем она могла бы ползти. Она старалась сдержать в себе, то, что росло, отдаляло ее от Яшки, пугало ее.

«Батюшки... что же это, что же это? Да ведь это он. Он ведь – Яшенька. Яшенька, милый... помоги... Зачем спишь? Спишь зачем?..»

– Яшенька... Яша! Яшка проснулся.

– Еще? – спросил он и потянулся, обнимая ее всю. – Изголодался я... говел, пра, говел...

Эти слова и то, что Яшка уже овладел ею, что он думает только о себе, что она опять должна ублажать его, – хлестнуло ее, напомнило ей Катю Пырякину с сынишкой, похожим на него – на Яшку, самого Яшку – пьяного, вонючего, и его пинок ей в грудь, старуху Чанцеву... Кирилла... И неприязнь, которая росла до этого медленно, теперь хлынула и опустошила в ней все, как град опустошил поля на «Брусках».

– А-а-а! – в ужасе закричала она и, оттолкнув Яшку, кинулась вниз.

– Стешка! Стешка! – Яшка прыгнул за ней и, нагнав ее у подножья горы, вновь обнял. – Да ты что? Ума рехнулась? Я это, это ведь я...

– Уйди... Уйди-и!..

– Куда? – хотел пошутить он, но, видя, как побледнела она, и чувствуя толчки в грудь, отступил, затем и сам побледнел, дергая коротко обрубленными усиками, проговорил: – Нашла? Другого нашла? А?

Но Стешка уже не отвечала. Она, перепрыгивая через выкорчеванные корни,

бежала в поле, к Богданову.

2

Яшка не в силах был сидеть у подножья горы и издали смотреть на Стешку. Он поднялся и, вновь чувствуя себя чужим, направился во двор коммуны. Понимая нелепость своего положения, зная, что все коммунары, особенно Степан Огнев, давно осудили его за его прежние проделки, он не смел поднять глаза и шел в коммуну, опустив голову. То, что его осудили все коммунары, он знал еще там, в исправтруддome, но, отправляясь на «Бруски», все-таки считал: несмотря ни на что, его приветливо встретят Стешка и маленькая Аннушка. Он часто забивался в угол камеры и тосковал по ним, твердо веря, что и они тоскуют по нем.

Ему было стыдно. У него горело лицо. Он вернется на «Бруски» и будет жить по-другому, совсем по-другому. Он покается перед Стешкой во всем, и она простит его – она добрая, а ему только этого и надо, только этого. Стешка оттолкнула его – лопнула последняя зацепка, и он не знал, что ему делать, чувствуя себя совсем чужим, незванным гостем на пиру. Бежать отсюда? И бежать не может: он еще надеется – Стешка вернется к нему или по крайней мере скажет, что с ней стряслось там, на горе.

В коммуне о Яшке знали уже все.

Первым к нему подбежал Шлётка и, чему-то радуясь, протянул руку.

– Мое почтение тебе, Яков Егорыч, друг ты мой. Что? На побывку пришел?

– Совсем.

– Совсем? – спросил удивленный Шлётка.

Они помолчали. Яшка смотрел в поле, на Богданова и Стешку.

«С ним спуталась, – решил он, глядя на Богданова. – Нашла... Кто это такой?»

Шлётка первое время не знал, о чем заговорить, затем, желая угодить Яшке, шепнул:

– С дражайшей-то виделся? Эх, как она один раз при мне Кирилла Сенафонтыча оборвала! Он, знаешь-ка, дескать, баба холостая, в охоте, подкатил к ней. «Помолодела, слышь, ты...» – и все такое. Она его и обрезала, – аж у меня в ушах зашумело. Вот баба: закон мужа блюла!

– Да-а? Блюла, говоришь, и ничего?

– Ну! Что говорить. Мы ведь как на ладошке живем: всех видать...

«Что же с ней там, на горе-то стряслось?» – успокаиваясь, подумал Яшка и, понимая, что глупо об этом спрашивать, все-таки не мог оторваться от Шлётки.

– С Богдановым? Да он у нас до баб-то... и не нюхает... Это агроном... Чудила, страх!

Яшка раздраженно повел ухом на крик. К нему двигались коммунары.

Впереди всех, широко шагая (Яшка еще подумал: «Как разъелась!»), шла Анчурка Кудеярова и гоготала:

– Я вам баила, я вам баила, – придет Яков Егорыч... Баила? А-а-а, – она поджала губы и закачала головой, глядя на Яшку. – А я думала: худ ты, рван ты, а ты белый... на белом пироге тебя держали.

– Анчурка! И ты тут? – Яшка улыбнулся и, пожимая руки коммунарам, обрадовался тому, что они не забыли его, не гнушаются им и совсем нет того, чего он ожидал – этакое молчаливого и злого упрека. Он жал им руки и, ощущая их крепкие ответные пожатия, совсем расчувствовался. – Вернулся, – говорил он с дрожью в голосе. – Живете, строитесь?.. А побелел я не от белого пирога, а оттого, что нам в пищу давали белки и жиры... питались мы... – и покраснел, понимая, что его слова коммунары могут принять за хвастовство, чего он вовсе не хотел.

– И шел бы к жирам.

Яшка дрогнул, промолчал.

– Шел бы отсюда, – проговорил Николай Пырякин и крепко стиснул американский ключ.

– А сынок как у тебя живет? – Яшка сознавал, что этого ему вовсе не следовало бы спрашивать, но в нем все клокотало и слова выливались сами собой.

Веселые лица коммунаров посерели, ощерились и через несколько секунд на него посыпались оскорбительные слова:

– Каторжник.

– Прихвостень...

– Отродье чухлявское.

– Зачем пришел?..

Яшка, крепко зажав лицо руками, точно ожидая удара, опустился на приступок крыльца конторы.

– Убийство, убийство может произойти! – слышал он, как кричала Анчурка Кудеярова. Ее крик тонул в общем озлобленном гаме.

– Коля, брось! Коля, аль еще не веришь? – уговаривала Катя Николая.

– Вот она, – почему-то проговорил Яшка, когда услышал голос Кати Пырякиной, и еще ниже склонился, словно добровольно подставляя шею под удар... И вдруг вскрикнул:

– Что собрались? Медведь вам? – и выскочил из круга.

Но, выскочив из круга, он натолкнулся на Богданова и Стешку. Стешка улыбалась. Яшке вначале показалось, что она улыбается ему, и он уже хотел крикнуть: «Стешка, затравили! Больно ведь!» – но тут понял, что она улыбается какой-то иной, холодной и расчетливой улыбкой, и вовсе не ему, а Богданову. Она вслушивается в слова Богданова и намеренно отвернулась от Яшки. Яшка чуточку попятился.

– Что? – говорил Богданов. – Вот то самое и надо. Мы можем засеять сто, полтора гектаров... Мы получим тысяч пятьсот пудов корней...

Яшке надо было что-нибудь делать. Стоять так, разиня рот, перед Стешкой – значит уже выдать коммунарам все то, что произошло между ними.

– В чем же дело, товарищ агроном? Давайте сеять, – проговорил он, вовсе еще не понимая Богданова.

Богданов исподлобья посмотрел на него и нехотя ответил:

– В людях дело. Люди перемерзли.

– Пустяки! – решительно заявил Яшка и почему-то кругом обошел Богданова, как петух курицу. – Пустяки! Град ведь им руки не оторвал, – сказал он тоном Степана Огнева, хладнокровно, чуть-чуть шутя (и все оглянулись на избушку в парке). – Кой черт за коммунары, если сами себе смерти ищут? Вот мы их растревожим...

Он кинулся к столбу и начал бить в колокол.

В колокол вовсе не надо было бить: коммунары все – и пожилые и молодежь – толпились во дворе. Среди молодежи Яшка узнал Феню, дочь Давыдки Панова, и намеренно подчеркнуто, предполагая, что это растревожит Стешку, козырнул ей. Стешка поняла его уловку, насмешливо повела глазами и отвернулась к Богданову.

– Давай слово! Ты!.. – с остервенением крикнул Яшка Богданову. – Ты говори!

Богданов засмеялся и, не веря во всю эту затею, взобрался на крыльцо, несколько секунд молчал, затем встряхнул головой, – подбирая слова, заговорил:

– Вот что... Стукнула нас стихия, природа... А человек, борясь с природой, переделывая ее, переделывает и себя. – Он передохнул и спохватился: «Что это я им говорю? Это же, что такое... Эх, ты, чертушка!» – упрекнул он себя за неумение говорить с коммунарами, когда их много. – Проще говоря, – продолжал он, – и человек себе не хозяин, коли, – подчеркнул он это простое народное слово «коли», – коли человек выбит из производственных отношений...

– Ну, «проще говоря»! Загнул... Ты, Богданыч, по-русски нам, по-русски... Что на конце-то у тебя стоит, то и скажи... Понятней будет, – посоветовал Шлёнка.

– На конце? Ах, да, да, на конце... Вот что... Вот... Турнепс. Турнепсом поля засеять...

– Турнепс?... Что за птица такая?

Все так удивленно посмотрели на Богданова, как будто только теперь первый раз увидели его... Что это – турнепс? Они никогда не видели, не знают, что такое турнепс... И вообще – сеять, когда люди собираются жать? Не выпил ли он – этот чудила?

– Ума рехнулся, – сказал кто-то. – Кирилла Сенафонтыча надо дожидаться.

– Вот. Эй ты, быстрый, – обратился Богданов к Яшке. – Видел?

Яшке тоже предложение Богданова показалось нелепостью, но он знал – уступить сейчас значит быть высмеянным, и тогда ему непременно без оглядки надо бежать с «Брусков».

– Товарищи! – обратился он ко всем. – Мягкотелая интеллигенция всегда нос вешает, когда ей подопрет. Она – самая эта интеллигенция и стало быть... как это?.. – Яшка сознавал, что он путается, тянет, и все-таки продолжал барахтаться. – Это, значит...

– Эй! Зря понес. Не туда поехал, – обрезала Стешка.

– Вот тебе и «это», – поддел Богданов.

Яшка растерянно смолк. Молчали и коммунары, и в это молчание врезался голос Ивана Штыркина.

Он, держа за рукав Чижики, рассказывал ему случай из своей жизни:

– Вот как жили... Раз меня в лесу бык хватил. Хотел я его со своего загона с проса отогнать... Ну, выгнал в лес да по заду его ладошкой как тресну! Он повернись да поддень меня – ребро мне и помял. Ну, в больницу. Лежу месяц, другой. Из дому весть – голодают. Хлеб в поле убрали да за жнитво, за молотьбу, то да ее – в амбар охвостья только и привезли. Идти надо. Доктор мне и говорит: «У тебя еще хрящи не срослись. Отстанут». Чего там, мол, хрящи? До хрящей ли тут? Пришел домой. Работать надо – чужой дядя работать на тебя не будет, хоть подыхай. Работаю. Начал я в то время ведра делать... Раз молотком стукнул – сижу: дышать нечем, хрящи эти самые, действительно, отстают... Эх, плюнул я на них и давай молотком по железу наяривать... Раз десять стукнул и присел – ни взад ни вперед, ни вздохнуть ни крикнуть. Хорошо, баба догадалась: молчит что-то, дескать, мужик не стучит. Прибежала ко мне под сарай, а я ни жив ни мертв... И опять в больницу... Пролежал до весны, вышел – и хоть по миру иди... Вот как жили... А ты – пчелки...

3

Рассказ Штыркина отбросил всех в прошлое – к своим избам, к своим дворикам, к одиночеству. Анчурка Кудеярова вспомнила своего Петю, восемь пудов муки, которые он приволок ночью, накануне того дня как повесился, зарезанного племянника Чижики и – сапожную колодку, которой Петя бил ее по голове.

Но что со Шлёнкой? Он стоит рядом с Яшкой, мигает слезящимися глазами. Его лицо, красное, как мякиш переспелого арбуза, покрылось белыми пятнами, точно от мороза... Он порывается что-то всем сказать, у него ведь тоже ухо отрезано... вот у него вместо уха торчит хрящик... Да не только у Шлёнки: у каждого в прошлом нашлось такое же пятно, как у Анчурки Кудеяровой, у Шлёнки, у Николая, – все были там, под соломенными крышами, в тесных избах, все не ложились спать без ругани из-за куска хлеба, из-за прута... И разом все, что случилось с коммуной за последние дни, приняло иную окраску...

– Это... Как бишь, в могилку... ежели тебя силком в могилку, то ты тогда...

Выкрик Шлёнки подхлестнул всех. Шлёнка еще не успел закончить волнующую его мысль, как коммунары побежали к конюшням, к лабазам. Из-под навеса выползали тракторы и один за другим, наполняя двор грохотом и запахом гари, тронули в поле. А на конюшне Штыркин, взяв на себя главенство, запряг тридцать лошадей в десять двухлемешных плужков и двинулся вслед за тракторами. Шлёнка отобрал коров, выволок сваленные за ненадобностью старые сохи, впряг коров и выехал со своей своеобразной «конницей».

Все было поднято на ноги... и побитое, искалеченное градом поле с невероятной быстротой стало покрываться черными, мягкими пластами.

К черным, мягким пластам прибежал Захар Катаев. Ероша руками волосы, тыкаясь

то к одному, то к другому коммунару, он упросил их принять его артель в коммуну.

– Отрезанный ломоть мы... Отрезанный. Так и нас возьмите за один стол, – глухо говорил он.

И в поле выехала новая партия лошадей, вышла новая партия людей – и в коммуне все смешалось, как на большом базаре, куда люди съезжаются за одним – купить и продать – и, оглушенные торгом, в беспорядке мечутся...

Метались и в коммуне.

В первый же день пали три лошади. Они пали во время обеденного перерыва. Кто-то не доглядел, еще горячих пустил их к воде, и лошади легли на землю, вздулись. У озера утонул трактор. В ночь же загорелся стог клеверного сена в поле. Он вспыхнул моментально, и его не удалось залить водой. Затем в эту же ночь от надрыва преждевременно родила жена Петра, племяша Чижика. И в эту же ночь кто-то открыл калду, с калды ушли в парк коровы и поломали там деревья.

Все смешалось в коммуне, и в этом смешении трудно было отыскать виновника того, кто опоил лошадей, кто открыл калду, кто поджег сено, – все кружились, метались, бегали.

А Яшка считал себя героем: за три дня коммунары перевернули поле, посеяли турнепс, просо. За три дня они проделали огромную работу, и все это Яшка приписывал себе. Он и в поле ходил передом за тройкой лошадей, и только иногда останавливался, видя перед собой бурлящий котел и то, как на огородах, во главе баб, Стешка лопатой копает землю. Он ждал – у Стешки прорвется, и она снова, как там, на горе, приползет к нему... Поздно вечером, когда все валились от усталости, он кружился около избушки в парке, около детского дома, караулил Стешку и ждал – она придет. В эти дни, переполненные надеждой, он работал, напевая песенку, и песенкой напоминал коммунарам былые времена, а вечером брал на руки Аннушку и, потешаясь ее рассказами, носил ее по парку... Но на четвертый день надежды у него лопнули, развеялись как пыль в бурю. На четвертый день из города приехал Давыдка Панов. Он привел с собой обоз с мануфактурой, с кроватями, с матрацами, он привез с собой кучу чеков, письма Богданову и Степану Огневу. Письмо на имя Степана он передал Стешке. – Ну-ка, вот, прочти и передай нашему мученику от Кирилла Сенафонтыча, – сказал он.

«Дядя Степа, – писал Кирилл, – все идет как нельзя лучше. Дали аванс десять тысяч рублей. Договорился я на цементном заводе – они берут у нас пятьсот тысяч пудов торфа... Я не знаю, наберется ли у нас столько такого добра, а согласился. Сколько, мол, уж наберем, столько и наберем».

Яшка, по тому, как у Стешки заблестели глаза, как она сложила письмо, сунув его за кофточку на грудь, и по тому, как она спросила Давыдку: «Скоро ли придет Кирилл?» – понял все: он увидел Стешу радостной и помолодевшей, Она даже не взглянула на него: быстро, подпрыгивая, перебежала двор и скрылась в избушке с башенкой наверху... А поздно ночью он слышал – она пела на горе у Вонючего затона... Она пела, и Яшка не подошел к ней... Он бродил по парку, по полю, иногда останавливался, – как безумный, бормотал: – Не чую... земли не чую...

Яшка проснулся успокоенный, радостный, пригретый восходящими лучами солнца, и все, что свершилось за последние дни, показалось ему сном – далеким и ненужным, и ему было приятно. Не открывая глаз, он стал прислушиваться к шороху в овраге. Где-то далеко замычал теленок – с хрипотой и задором. Яшка мог бы так пролежать долго, ни о чем не думая, не шевелясь, если бы не слышал почти над самой своей головой разговор. Открыл глаза. Недалеко, наверху, спиной к нему стоял Кирилл Ждаркин, рядом с ним Давыдка и Богданов.

– Оглобли! – остервенело ругался Кирилл. – Ну, где у вас головы? Настряпали!

– Да, Кирилл Сенафонтыч. – Давыдка вертелся около на кривых ножках (эти ножки особенно были кривы, когда Яшка смотрел на них снизу вверх). – Меня ведь не было. Я приехал, а у них уж сам шайтан ногу сломит.

– Приехал! Не было! Теперь и не найдешь, кто все настряпал. А ты приехал – почему не приостановил? Ну на кой черт всю систему ломать, зачем вводить в коммуну – «все мы-де хозяева, и делай, кому что в голову взбредет!»

– Напрасно ты, – ласково протестовал Богданов. – Засеяли поля, и хорошо... А ты теперь опять берись за порядок.

– Черт лохматый! – уже более благодушно накинулся Кирилл на Богданова. – Засеяли? И надо было засеять...

– Устроимся как-нибудь, – мягко произнес Богданов.

– Как-нибудь, как-нибудь... Это вон Митька Спириин намеревается лошадь зимой прокормить «как-нибудь».

Перебраниваясь, они направились в поле.

Яшка выскочил и, упираясь руками в край оврага, долго смотрел, как они ходили, нагибались, щупали невспаханную землю. Потом Кирилл что-то сказал Давыдке. Яшка услышал только некоторые слова: «Ступай... Расчет... Чеками... пятьдесят копеек гектар...» И Давыдка зашагал в коммуну, а Богданов и Кирилл свернули к озерам.

Озера пыхтели, сочились под лучами солнца. По полю бежала тень облака. Вот она наскочила на озера и покрыла их, окутала Кирилла и Богданова, четче выделяя вихрастую голову Богданова и широкую стройную спину Кирилла.

Яшка скрылся в кустарники. Он из разговора Кирилла ничего не понимал, не желал понимать, ему хотелось только – поговорить с Кириллом о Стешке, о себе, и он ждал, когда отстанет Богданов. Стоял в кустарнике и невольно вслушивался.

Кирилл рассказывал о том, что цементный завод «Большевик» заказал им пятьсот тысяч пудов торфа, что из-за этого много было спора и что о торфе там давно уже знали...

– Говорят, здесь его хватит лет на пятьдесят для завода... а то и больше.

– Да, торфа неисчислимо, – согласился Богданов. – Здесь хорошо бы поставить электростанцию...

Кирилл стал гнуть свое:

– Людей только у нас не хватит. Хотя людей позовем из Широкого, из Алая, из Никольского... Надо всех двинуть в коммуну.

– Ты, – Богданов посмотрел на него и постучал себя ладонью по голове, – тут у тебя как – не продуло?

– Перепугался? – Кирилл снял фуражку, обеими руками вновь глубоко напялил ее на голову и стал похож на торговца. – Я тоже вначале перепугался... Но выкладки... Ты знаешь – мужики погнали скот на базар. Что это? Говорят, перед тем как корабль собирается утонуть, с него бегут крысы... Это тоже нечто вроде крыс... Единоличник тонет – и гонит все со двора. Тут, брат, и прохлопать недолго... Надо ловить момент.

– О! И голова же у тебя: как тыква! – сурово произнес Богданов, и, думая, что Кирилл шутит, сам начал шутить и, удаляясь в поле, добавил: – Торопишься ты... жить торопишься. Этап, брат ты мой, это тебе не канавка. А ты хочешь через этап перепрыгнуть, как через канавку.

Кирилл что-то пробормотал, потом присел на пень, но тут же встал и крупным шагом пошел в коммуну.

Яшка двинулся за Кириллом, волнуясь, не зная, как начать с ним разговор. Он придумывал разные фортели: то хотел забежать вперед и, будто неожиданно натолкнувшись, завести разговор о хозяйстве, потом перейти на то, что ему нужно; то пытался просто окрикнуть его и потребовать от него ответа; то думал запеть, чтобы Кирилл сам обратил на него внимание... И только потом, когда Кирилл уже вошел в парк и так же быстро направился во двор, Яшка кинулся к нему и позвал:

– Товарищ Ждаркин, на минутку, – сказал он, вспоминая, что так – «на минутку» – всегда говорил начальник исправтруддома.

Кирилл от неожиданности круто повернулся и выставил вперед кулаки.

– А... Робеешь! Не узнал?

Кирилл пристально всмотрелся и, стараясь быть веселым и радостным, протянул руку.

– Узнал. Как же? Такую птицу да не узнать.

– Потолковать хочу с тобой.

– Что ж, давай, – предполагая, что Яшка намеревается попросить работу, согласился Кирилл и поглядел на двор, страстно желая, чтобы его кто-нибудь позвал в контору.

– Пойдем в сторонку, – предложил Яшка.

– Слушаю, – сказал Кирилл, не двигаясь с места и твердея голосом. – Ты только поскорее: дела не ждут.

– Ничего... подождут... Строитесь?.. Хорошо, – начал Яшка и опустил голову, напоминая Кириллу вола, идущего по льду. – Впрочем, давай прямо, – он поднял голову, зло глядя на Кирилла. – Жену ты у меня отбил.

– То есть как это отбил? – и Кирилл смолк, видя, как лицо у Яшки побагровело, а на носу появились капельки пота. – Зря, Яша, ты вздыбился, – мягче добавил он, желая утешить Яшку, но тут снова смолк, поняв, что Яшку растревожило совсем другое, а не

его слова.

На меловом берегу Волги стояла, стягивая с себя сорочку, полунагая Стешка. Стянув сорочку, она свернула ее, положила на меловой камень и, перебирая ногами гальку, тихо пошла к воде. К воде она приближалась тихо, медленно, словно намеренно дразнила их, стоящих над крутым обрывом.

Залитая лучами солнца, Стеша несколько секунд поднималась на носках, рассматривая свое отражение в реке... потом вошла в воду по щиколотку, нагнулась, обмакнула палец, провела им по груди, дрогнула от влажного прикосновения и быстро стала погружаться, – вся сбитая, упругая, с сизой бороздкой на спине.

Кирилл дернул Яшку:

– Пойдем. Все-таки... неудобно.

Они разошлись и через секунду, не замечая друг друга, снова смотрели из густого кустарника на Стешку.

Стешка уже была по шею в воде и все шла, точно намеренно желая погрузиться на дно Волги. Вода залила ей подбородок, пучок волос намок, расплзся. Она закинула лицо, и ее розовые уши коснулись воды. А она все шла, все больше погружалась, все выше закидывала лицо.

Что это она хочет делать? Кирилл забеспокоился и в ужасе спохватился: она хочет утонуть не так, как делают некоторые, бросаясь с обрыва... она хочет утонуть по-иному – войдет в воду и тихо, без крика опустится на дно. Это на нее похоже.

– Стеш... Стешка! – чуть не вырвалось у него, и он уже хотел было кинуться к ней, как вдруг она громко вскрикнула и, рассекая поверхность реки, саженками поплыла от берега.

– А-а-а, – протянул Кирилл и вновь сел на пеню.

Стешка плыла, изредка ударяя ногами – из-под ног вылетали серебристые брызги, и пенная кружевная дорожка догоняла ее. Стешка плыла быстро, но еще быстрее ее уносило течение вниз – к Широкому Буераку.

«Что она делает? Ее могут там обидеть ребята, мужики... Вот чудная какая! Зачем это она? Надо пойти и предупредить ее», – но Кирилл не мог оторваться от ее головы, от того, как эта голова то выныривала, то уходила под воду, и тогда на глади Волги рябилось пятно.

Стешку несло течением. Она уже была почти на середине Волги, когда с обрыва спрыгнул Яшка.

5

Яшка не просто вошел в Волгу, он разбежался, взлетел вверх (так иногда на озере выскакивает рыба) и бултыхнулся вниз, разом уйдя под водой далеко от берега.

«Замечательный прыжок!» – мелькнуло у Кирилла, и он закружился, точно загнанный зверь в клетке, стараясь не смотреть на Волгу, на то, как Яшка, отфыркиваясь, взбивая воду, настигал Стешку. «Муж и жена – одна сатана», – пришла

ему на ум нелепая поговорка. – Повздорили, поспорили, а теперь... Уйти надо...»

Вначале он хотел только посмотреть, как и где Яшка достигнет Стешку, и присел на старый сосновый пенек, уже сожалея о том, что до сих пор так бережно относился к Стешке. Однажды ночью они столкнулись в парке и неожиданно попали друг другу в объятия... и тогда он почувствовал, как она вся обмякла и тихо застонала. А он, легонько поддерживая ее за плечи, довел до крыльца избушки и, успокаивая, сказал:

– Перепугал я тебя... прости, пожалуйста.

– Убирайся! Чего ты тут трешься? Думаешь – не вижу? – вырвалось у нее, и она скрылась в избушке.

Кирилл не обиделся, знал, что это она не от сердца, а оттого, что он, Кирилл, не хочет понять, старается не понять ее волнения, оттого, что он не увел ее в парк. А теперь он раскаивался. Надо было скрутить ее в первую же минуту, и то, что совершилось бы тогда, в ночь, теперь сказалось бы по-другому: она непременно оттолкнула бы Яшку и принадлежала бы ему – Кириллу.

«Вот и кусай локоть, – подумал он и покраснел. – Ай-яй-яй!» – пожурил он себя и посмотрел на Волгу уже как безбилетник, которого не пустили в театр и которому приходится смотреть на сцену в щелку.

Стешка плыла совсем далеко. По тому, как иногда от нее летели брызги, Кирилл определил: она плывет вверх животом, плывет спокойно, наслаждаясь и своим одиночеством, и избытком солнечных лучей, и прохладой Волги. Она плывет к песчаной косе и, очевидно, там выйдет на песок, передохнет, а затем уйдет на мыс и оттуда ударится обратно. Коса врезается далеко вверх, разбивает там Волгу на два рукава, и если плыть оттуда, то непременно попадешь к крутому обрыву, где лежит кучечкой Стешкино белье.

А где же Яшка?

Кирилл увлекся Стешкой и потерял Яшку. Он его долго искал и только под конец заметил и удивился: Яшка плывет почти весь под водой. Он не плывет, он крадется, точно собака за подстреленной уткой. И Кирилл поднялся, вцепился руками в сосну и, держась за нее, повис над обрывом, пристально всматриваясь в Яшку. Станным было уже то, что Яшка сумел отплыть по течению ниже Стешки и идет ей наперерез. Может быть, о «хочет удивить ее своим неожиданным появлением, хочет поиграть с ней? Нет, нет, так ведь можно перепугать ее насмерть... Ну да. Вот и она перевернулась со спины на живот и часто заработала руками. Она плывет обратно, она словно перепугалась Яшки... И Яшка выскочил из воды, он уже не прячется, он отрезает ей обратный путь, он загоняет ее на песчаную косу. Он несется по воде, как хороший баркас... а Стешка мечется, ныряет, как утка, и бежит от Яшки под водой... Вот она у косы и, разгребая воду руками, цепляясь за нее, выскочила на песок, кинулась берегом... и Яшка на берегу... Он совсем недалеко от нее... Какие они оба твердые, выточенные... и тела их блещут бронзой на раскаленном желтоватом песке.

Хорошо! Кириллу стало даже приятно оттого, что он видит двух нагих людей, там, на песчаной косе... Вот сейчас они поймают друг друга, обнимутся, и тогда весь мир для них будет в их объятии. Они не хотят этого делать сразу. Они играют, гоняются друг за другом, как вскормленные, зрелые жеребята...

И в памяти Кирилла всплыла совершенно другая картина. Весной на лугу он видел,

как серый молодой жеребчик гонялся за такой же молодой, упитанной гнедой маткой. Матка носилась от жеребчика, прижав уши, била его задними ногами, увертывалась, а жеребчик не отставал, забегал сбоку и, ощерив зубы, кусал ее упругий живот... Они носились по лугу несколько часов и под конец, обессиленные, взмыленные, сдались у березовой опушки, чуть в стороне от табуна лошадей – хладнокровных, голодных и усталых. И эта беготня там, на песчаной косе, – как она похожа на игру молодых, сильных и зрелых жеребят. Стешка носится, вскрикивает, у нее распускались мокрые волосы, они бьют ее по спине, по плечам, она на бегу хочет свернуть их в клубок и не может – волосы вырываются и как змейки раскидываются на спине. Стешка мечется то в одну, то в другую сторону, хочет пробраться к воде, а Яшка, согнувшись, весь напряженный, теснит ее в мелкий кустарник на середину острова, прочь от посторонних человеческих глаз. Он пытается поймать ее за пряди мокрых волос, но она увертывается, бежит в противоположную сторону острова, затем круто поворачивает и несется к воде.

Яшка прыгает – и вот он около нее, его руки касаются ее спины, еще миг – и Стешка попадет в его крепкие объятия, тогда он уволочит ее в кустарник или, может быть, просто положит в ямочку за песчаную дюну.

И вдруг все перед Кириллом перевернулось. Стешка схватила горсть песка и изо всех сил вlepила в лицо Яшке. Яшка завыл, присел, потом вскочил и кинулся на то место, где стояла Стешка. А она уже барахталась в воде, плыла, не замечая, что течением несет ее в водоворот, к узкому месту – в «Чертову прорву». Вот и Яшка кинулся в Волгу, поплыл, не видя, что плывет не в ту сторону, куда понесло Стешку.

И Кирилл из простого зрителя немедленно превратился в участника. Он соскочил с обрыва, расцарапав себе в кровь колени, – прыгнул в лодку и с силой (у него как будто никогда и не было такой силы), налегая на весла, понесся на песчаную косу...

Первым он выволок из воды обезумевшего Яшку. Стешка не давалась. Она плыла вниз, к водовороту. Кирилл кричал, предупреждая ее об опасности, – ставил ей наперерез лодку. Стешка ныряла под лодку и, всплыв по другую сторону, снова упрямо и намеренно кидалась к крутящейся воронке... И Кирилл решил: он ударил ее веслом в спину и тут же сунул его ей в руки. Стешка вскрикнула и, захлебываясь, в бессилии инстинктивно вцепилась в весло. Кирилл на весле подтянул ее к себе, подхватил под мышки и, выволакивая, почувствовал, как в нем все зашаталось, а в глазах помутнело.

Он быстро оправился. Уложив Стешку на дно, хотел отвернуться от нее и не мог. Она, нагая, лежала на дне лодки и билась, как выброшенная на берег рыба...

6

Так, на дне лодки, он узнал от нее все: она заставила первым выйти на берег Яшку, и пока он там одевался, она, нагая, лежала перед Кириллом, не стыдясь его. А когда Яшка оделся и скрылся в парке, она даже попросила Кирилла помочь ей добраться до белья. Одевалась она не торопясь и, застегивая лифчик, повернулась к нему, улыбнулась, говоря улыбкой, что вот теперь и ей и ему стало все ясно, что она устала и не в силах больше скрывать.

Кирилл сидел на корме, не отрываясь, смотрел на Стешку – усталую и медлительную. Она всовывала, не попадая, босые ноги в сандалии. Ему захотелось пойти и помочь ей.

«Нежности, – упрекнул он себя. – Она тебя за эти нежности сандаalkой по роже».

Ему показалось, что он только подумал, но, оказывается, он это тихо пробормотал – и испугался, заслышав свое бормотание. Она, очевидно, не слышала его, – так же медленно завязала узелок на пояске платья и повернулась.

– Ну, прощай, что ли, спаситель! – сказала и пошла в гору.

«Зачем – прощай?» – хотел он спросить, но смолчал, сознавая, что сказала она просто, прощаться им теперь незачем: вечером он увидит ее и будет говорить о себе, о ней, об Ульке. Об этом непременно надо поговорить. У него ведь есть сын и Улька, которая может натворить таких дел, что потом и не разберешься. Стешка должна понять – он не сможет все это совершить открыто и прямо, как большинство, с драками, со скандалами: он – член ЦИКа и глава коммуны. «Вот черт! Как будто я ворую или того хуже... Надо пойти и прямо сказать. Надо сейчас же задержать Стешку и сказать ей».

Он так ничего и не сказал. Он смотрел на нее, на ее серенькое платье, облегающее ее всю, на то, как она по узенькой тропочке, временами останавливаясь, намереваясь ему что-то сказать, поднималась на «Бруски». И на меловой горе, залитая обильными лучами солнца, она казалась ему совсем близкой и родной. Да, родной. Иного слова он не мог подобрать, чтобы определить свое чувство к ней, и твердил это слово до тех пор, пока она не вышла на обрыв и, став к Кириллу в полуоборот, – точно отгадывая его мысли, крикнула:

– Конечно, не прощай! Не прощай, говорю!

– Вот именно! – подхватил он. – Постой-ка!..

Стешка скрылась в парке. Он снова присел на корму, – стыдясь своей растроганности, подумал:

«Вот вечером... Вот вечером поговорю. Мы уйдем с ней в Гремучий дол, в сосновый бор, разведем там костер, при костре я ей все и расскажу», – и следом за Стешкой поднялся в гору...

.....

Надо было послать плотников на достройку дома (куда же коммунары будут ставить новые кровати?), надо было закончить постройку скотного двора, а главное – надо было немедленно же стянуть рабочую силу на торфоразработки. Кирилл взял под торф большой аванс – десять тысяч рублей. За эти десять тысяч рублей они должны до осени доставить на завод пятьсот тысяч пудов. Он договорился с Богдановым: торф они будут доставлять по Волге баржами – это удобно и выгодно, а резку отдадут с тысячи. Тысяча плиток – два рубля. Каждый человек может в день выбросить тысячу плиток. Тысяча плиток равняется пятидесяти пудам, стало быть, чтобы приготовить пятьсот тысяч пудов, потребуется десять тысяч рабочих дней, значит на торфянике ежедневно должны работать не меньше трехсот – четырехсот человек. Коммуна на этом деле выручит около ста тысяч рублей. Половину она отдаст рабочим, половину пустит в хозяйство – немедленно на постройку беконного завода, на расширение

мельницы и на организацию мастерских.

– За такое дело стоит взяться, – говорил Кирилл Богданову, все еще скрывая от него свою заветную мечту.

Вечером он созвал совет коммуны, актив, поставил ряд вопросов и неожиданно для себя открыл, что он сомкнулся со всеми.

«Может быть, это моя сегодняшняя удача туманит мне башку», – усомнился он и посмотрел на всех (в контору набились и званые и незваные). Остановился на Захаре Катаеве – на его широком, бородатом лице. И ему показалось, что Захар мигнул – валяй, мол.

Затем украдкой кинул взгляд на Стешку, весь запылал и, не отдавая уже себе отчета, волнуясь, проговорил:

– Вот что, ребята... Пора в прятки не играть... в кошку-мышку...

– Кирилл, очнись, – предупредил Богданов.

– А что там! Вот что, ребята, – заторопился Кирилл, чувствуя, что если сейчас он им не скажет всего, то потеряет их. – Вот что, я ведь хочу... скотный двор – это не для молочного союза... а так – всех крестьянских коров зимой согнать. Вообще в коммуну затащить – Алай, Широкий Буерак, Никольское, Колояр и...

Захар Катаев, протирая глаза, поднялся с табуретки, а все остальные притаились, замерли, и голос Кирилла от наступившей тишины стал резче, звучнее. Услышав свой собственный голос, Кирилл задержался и подумал – не далеко ли он зашел, не хватил ли чего лишнего, и не пора ли остановиться. Но останавливаться уже было незачем, уже нечего было таить.

И он развил перед ними свой план «широкого наступления, – как назвал он, – на прогнившую деревню». Он напомнил им вначале о том, как при нем умер Фома Гурьянов и как Никита из-за сундука с одежкой докончил сына. Он говорил им и о том, что деревня уже на пути к коммуне. Он говорил им о том, что придет время, когда культурные потребности будут столь же необходимы, как и хлеб, и поэтому им надо строить свои школы, больницы, театр. Они одни не в силах с этим справиться, да и не имеют права пользоваться «благами», когда в деревне все гниют заживо. Он не прошел и мимо того, что со временем они на торфе поставят электростанцию и все работы переведут на электричество, и тогда человек в коммуне будет работать не больше шести часов в день. Он говорил мягко, убедительно и чувствовал, что теперь они понимают его, теперь им легко понять его. Видя, как у них блестят глаза, как вздрагивают губы у Стешки, думал: «Вот когда они меня принимают хорошо».

– Верно! – подхватил Шлётка, удивляя всех. – Крути, Кирилл Сенафонтыч. Вот тебе моя рука, – он протянул руку и опешил. – Это... – сказал он и сердито повел глазами. – Что ржете? Заржали, говорю, чего? Ну-у.

И все смолкли.

– Ты в самом деле, что ль, Шлётка? – спросил Захар. – У тебя ведь не разберешь, где день, где ночь.

– Вот и говорю – всем заявляю... Кирилл Сенафонтыч, будь свидетелем, всем говорю: ежели меня еще кто назовет Шлёткой – прихлопну.

К его прозвищу все давно привыкли, и никто никогда не думал, что Шлёнку можно еще звать как-то по-другому.

– А как же тебя звать-то, батюшка! – серьезно спросила Анчурка Кудеярова. – А я, дура, иной раз тебя так ласково на конюшне: «Шлёнущка, мол, милай, коров-то нонче как славно накормил».

– А что это я за «Шлёнка»? Чай, шлёнкой-то только овцу зовут. Вот тебя бы назвали собакой иль курой.

В углу среди молодежи давилась смехом Феня, давились смехом и коммунары, хотя уже каждый считал, что Шлёнка имеет право потребовать, чтобы его звали по-другому.

– Я хочу... я хочу сказать, – выскочила Феня. – Тебя как по-настоящему звать?

– Василием мать крестила, – Шлёнка снова перешел на шуточный тон, – Василием, а хвамилия моя всем известна... Титул графский имею, потому желаю сменить свою.

– Брусковым... Брусковым Василием его надо звать, – предложила Феня.

– Во-от, во-от, – согласился Шлёнка и тут же расписался на листе бумаги и пустил лист по рукам. – Запомните, пожалуйста: Шлёнки больше нет, есть Васька Брусков.

В конторе долго дрожали от хохота стекла. Смеялись не только над выходкой Фени, не только над Шлёнкой, но и оттого, что будущее, нарисованное Кириллом, красочное; что завтра все вновь станут на работу; что Кирилл, которого коммунары побаивались, при чьем появлении коммунарки всегда приводили себя в опрятный вид, – приблизился к ним, он с ними. Смеялись они и над сообщением Давыдки: «Скоро будем заселять новый дом, а завтра приходите за кроватями и можете заказать все, что угодно».

Вместе со всеми, обняв Богданова и Шлёнку, смеялся Кирилл. Смеющимся они первый раз видели его, и это еще больше растрогало их.

– Милай, милай! – гудела Анчурка Кудеярова. – Давно хотела сказать тебе, да пугалась все... Дома-то я, бывало, за семерых горб гнула, а сроду куска сахара не видала. А тут приду в столовую, а Лукерья мне сладкого нальет. Ну, отдай ей семишник. Не жалко – заработаю. Вот оно что, Кирилл ты наш Сенафонтыч.

– Хорошо, хорошо, – смеялся Кирилл и думал: «Вот сейчас разбредутся, а мы со Стешкой уйдем в Гремучий дол».

Он видел, как она тянулась к нему. Вначале она сидела в углу на своем постоянном месте в кругу баб, а к концу подошла к столу и уставилась Кириллу в лицо... И Кирилл, рассказывая коммунарам, что будет на «Брусках» через два-три года, знал: глядя на него, Стешка любит его так же, как он любовался ею, когда она от лодки шла в гору.

– Он у меня, Кирюша-то, – ответила Анчурке Кудеяровой Улька, – ночи не спит, все печется о всех: похудел, измаялся весь.

Кириллу хотя и приятна была эта похвала, но он все-таки посмотрел на Стешку, говоря ей взглядом: «Вот-де с какой дурой живу. Ну, ничего, с тобой-то заживем по-другому: ты-то уж не будешь дрыхнуть, когда у меня все разрывается».

Стешка поняла его. Когда все разбрелись и в конторе остался только Богданов, она

подошла к Кириллу и, вся сияющая, глубоко вздохнула:

– Ну?

Он (странно это было) не захотел, чтобы о его чувстве к ней знал Богданов, насутился и ответил так же сухо, как и всегда:

– Что «ну»? «Все идет хорошо», – передай Степану Харитонычу.

Она ушла из конторы. Ушла обиженная, согнутая, прибитая.

Кирилл всю ночь провалялся в постели, не закрывая глаз. Он ругал себя за малодушие, за боязнь и под конец решил, что как только займется день, – он пойдет к ней, расскажет, почему так грубо обошелся с ней. Утром он старательно вымыл лицо, уши, надел даже новую рубашку, хотел прицепить значок члена ЦИКа, но засмеялся, решив, что со значком да в новой рубашке он совсем становится похожим на деревенского жениха.

– Ты к обедне, что ль, наряжаешься? – пошутила Улька, обнимая его. – Куда это ты, красавчик?

– Сегодня из города шефы должны приехать... Шефы, – соврал он. «Фу, зачем это я вру?» – и отстранил Ульку. – Нет, ты меня не целуй: у меня, видно, грипп – голова болит... а он липкий, через слюну передается.

– А я тебя ночью целовала, – забеспокоилась Улька, вытирая губы.

– Не умрешь, – обрезал Кирилл. – Не умрешь, слава богу, крепка дубинушка, – крикнул он и вышел из комнаты.

Из парка он вернулся сутулый. В парке он узнал от Груши, что Стешка еще в ночь уехала в Алай, к Маше Сивашевой, и теперь ему не дожидаться, когда Стеша посмотрит на него так же, как там, на дне лодки...

Он раздраженно отдал распоряжение, чтобы в Алай, «на завоевание сел», послали Николая Пырякина, Шлёнку – в Широкий Буерак, на Бурдяшку, а себе взял Никольское.

Ячейка – а ячейка состояла из четырех лиц: Богданова, Давыдки Панова, Николая Пырякина и Кирилла – запротестовала, рекомендуя в Широкий Буерак Захара Катаева.

– Что? – оборвал Кирилл. – На Бурдяшке голь перекатная. Если туда я поеду или Захар – нам не поверят: вы-де и до коммуны жили ладно. А вот пошлем туда Шлёнку: он от них ушел в коммуну, с ними когда-то жил, а теперь и лучше ест, и чище одевается, и умнее.

– Может, мне, Кирилл Сенафонтыч, это повесить? Вот сюда, – серьезно проговорил Шлёнка, показывая рукой на горло. – Эту тряпочку... как называется... галстук...

– Вот еще! – Кирилл недовольно рассмеялся и, садясь верхом на лошадь, добавил: – Ты это брось. А вот что: знаешь, как диких слонов приручают? Их загоняют в огромную калду, а потом к ним подпускают ученых слонов, те их и уговаривают.

– Это ты меня слоном?

– Не обижайся: лучше быть ученым слоном, чем балбесом. Ты сделайся крепким, как дуб, – чтоб ни одна пиявка не впилась в тебя. Ты ведь ныне не Шлёнка, а Василий Брусков.

Звено восьмое

1

Дни бежали – тревожные и буйные, как степной ветер. Собирались мужики в соседних селах, спорили с утра до позднего вечера и, расходясь, просили Кирилла:

– Повремени, пожалуйста, годок-другой...

– Ну, что тебе больно приспичило?

Кирилл не отступал, хотя на торфянике уже работало достаточное число людей. По плану они предполагали в течение месяца вывезти на завод сто тысяч пудов торфа, а вывезли триста тысяч. Оказалось, каждый за этот месяц выгнал тройную норму. Хорошо у них было и в поле. В поле из земли тарасился турнепс и зеленело просо. По определению Богданова, турнепс должен был дать пять-шесть тысяч пудов с каждого гектара, и под турнепс готовились длинные канавы, похожие на братские могилы, а под ботву – простые, придуманные Захаром Катаевым, силосные башни. Давыдка же скупал на базарах молодой скот, главным образом волов, и ставил их на откормку в широкие кошары, сделанные из фанеры. Это предприятие оказалось одним из выгоднейших для коммуны: средства на скупку скота были отпущены из области рабочим кооперативом, коммуна должна была вскормить скот, отправить его на убой и за это получить определенный процент – за год тысяч пятьдесят – семьдесят. Кирилла даже пугало – деньги к ним валили со всех сторон. Недавно Птицесоюз отпустил им огромную сумму на разведение кур, гусей, уток. Богданов срочно заложил инкубаторы, отобрал у всех коммунаров кур и глиняные постройки старого дома занял под курятник. Коммунары же переселились в новый дом, уставили квартирки новыми кроватями – и вдруг стали замечать грязь: бабы мыли окна, мели двор, посыпая его песком. А дедушка Катай разбил посередине двора клумбу, насадил цветов и заставил ребятишек поливать и караулить их. Новые коммунары, во главе с артелью Захара Катаева, продали в деревне свои халупы и на вырученные средства заложили двухэтажный, из сосновых бревен, дом. Все шло как будто хорошо. В коммуне стал раздаваться смех, появился задор: каждый, работая, радовался тому, что живет и работает в коммуне. И Кирилл мог бы быть опять довольным, мог бы успокоиться, но то, что крестьяне окружающих сел упорно не шли в коммуну, расстраивало его еще и потому, что он не отыскал основной причины их упрямства. Поэтому он сегодня и заехал в Широкий Буерак. Перед тем он побывал в Алае, в районном исполнительном комитете, где как член ЦИКа проверил работу. Рик уже готовился к осенней посевной кампании, составлял планы.

– Вот, – говорил предрика Шилов, – только составили план – и опять ломай. Составили, указали, что коллективизировано у нас население на три процента, а ты там поднялся и все сломал: гляди – еще семьдесят три артели организовались, теперь у нас коллективизированы сорок восемь процентов. Ты, хоть и член ЦИКа, а согласуй с нами, с планами.

Кирилл на это только покачал головой и спросил:

– Что же вы думаете делать по посевной кампании?

– Семян чистосортных тысяч пять пудов нам надо завезти.

– Откуда?

– Откуда? Это дело не наше. Наше дело планировать, а там, в городе, лучше нашего знают – откуда.

«Бумага заела людей», – решил Кирилл.

С таким впечатлением он отправился в Широкий Буерак.

Оказалось, в Широком Буераке за лето две артели – артель бурдяшинцев и артель «Необходимость» – слились в одну артель «Самосила».

«Конечно, такое название придумал Плакущев», – мелькнуло у Кирилла, когда он прочитал вывеску на коньке избы Митьки Спирина.

Во дворе толпились мужики и бабы, а под сараем, за столом рядом с Митькой Спириным, лениво посматривая на всех, сидел Шлэнка. Митька вертелся на табуретке и тревожно выкрикивал:

– Граждане, не курите, прошу вас: ментом ведь сарай вспыхнет.

А Плакущев уговаривал Шлэнку:

– Мы ведь заодно с вами, – говорил он. – Но всякую штуку ждать надо. Вон яблоки на дереве. Зеленое съешь – пронесет тебя. А созреет – полезность большую для человека имеет. И нам созреть надо. Чего говорить – у вас там, на «Брусках», любо глядеть – рай земной. Рай. И назад возврату нет – отрублено. Да ведь это я могу сказать другому, – кто уразумел. А темный народ «воспитать следует, освободить его от глупого, а потом сказать: «Пожалуйте в коммуну». Не всякого ведь можно в горницу пустить. Вон Епиху Чанцева пусти – он тебе все облюет, обслюнявит.

– Действительно, – согласился в угоду Плакущеву Епиха и заерзал на заднице. – Было дело – на свадьбе... Меня угостили, а я измазал все. Я ведь озорной.

– Вот я и говорю, – чуточку подождав, чтобы слова Епихи дошли до всех, закончил Плакущев. – Не порите горячку. От чистой души тебе говорю: воспитать народ надо допрежь то ись.

Тут вцепился Илья Гурьянов. Он так же, как и всегда, засунул руки в карманы, сжался, точно ему было холодно, – и выдвинул свою линию:

– Я хочу говорить здесь, граждане, не ради красного словца, – начал он, глядя на Плакущева с величайшим презрением. – Есть люди, которые сейчас, припертые, полезут к черту на рога. Как говорят: таракана булавкой коли, и он запоет.

– Зря! Уйми, Никита, ведь отец ты, – с упреком посоветовал Плакущев.

– Чай, вот послушаем, – ответил Никита.

Илья говорил плавно, убедительно, то и дело цитировал Ленина, постановления партсъезда, и все это переворачивал по-своему. Он говорил о том, что когда-то Ленин сказал – если мы дадим крестьянину сто тысяч тракторов, то и он скажет: я за коммунию, то есть за коммуноу. И Илья спрашивал: где же тракторы? Потом он

перескочил на неграмотность и вновь указал на Ленина и на то, что в прошлом году с Широкого Буерака по самообложению взято три с половиной тысячи рублей, а на ликпункт отпущено риком всего только четыреста рублей. Затем он повернул в другую сторону – что-де, вот на юге построен крупнейший («таких нет в мире!») сельскохозяйственный завод, который ежегодно выбрасывает на рынок несколько десятков тысяч плугов, борон, веялок, жаток – то есть всего того, что нужно единоличному хозяйству...

– А при коллективе, – говорил, забирая толпу в руки, – сами знаете, и тот инвентарь, какой у нас есть, лишний. Стало быть, строя коммуны, мы подрываем нашу промышленность и наносим огромные убытки стране.

«В самом деле, на кой черт строили такой завод? – подумал Кирилл. – А Шлётка, конечно, с Ильей не справится: жуят его с обеих сторон – и Илья и Плакущев».

– Я не хочу здесь защищать зажиточных, – раскинул сети Илья, чтобы поймать в них зажиточных. – Но, когда и с зажиточными поступают, не соблюдая революционной законности, я против.

– Вот именно что, – прервал Шлётка и немедленно смял Илью, как лошадь копытом – воробья. – Вот именно что зажиточных... ты с этого бы и начал.

– Я ж не кончил... не кончил я... – запротестовал Илья.

– Кончал бы. Кто тебе не велел? Так вот, мужики, что делать будем? – спросил Шлётка, обращаясь ко всем.

– Что? – Еле сдерживая себя, вперед высунулся Никита Гурьянов. – Мы ж тебе сказали: не пойдем. Секи вот мою башку на бревне, а в коммуны не пойду, супротив она мне.

– Вы дайте нам слободу, слободу дайте, – загнусил Маркел Быков. – Мы и без вас обойдемся. Бывало, и машин этих не было, а хлеб не знали куда девать.

– Есть предложение, – не обращая внимания ни на Илью, ни на Никиту, ни на Маркела Быкова, заговорил Шлётка, – всем пойти в коммуны. Кто против? Прошу поднять руку.

Бурдяшинцы и криулинцы сбились плотнее и чуточку попятнулись от Шлётки, как стадо коров от мчащегося им навстречу автомобиля.

– Хитер, пес, – пробормотал Никита. – А ты голосуй и «за» и «против» – вот по-честному.

– Зачем и «за» и «против», раз одно предложение – всем пойти в коммуны? Других предложений нет и быть не может.

– А у меня есть, я предлагаю не ходить. Что? – ввернул Никита.

– А мотивировочка у тебя какая? – спросил Шлётка и протянул руку, требуя мотивировочку.

Никита рассмеялся.

– Да-а какая?.. Просто... просто не ходить.

– А-а-а, просто! – взорвался Шлётка. – Ему просто! – И лицо у него покрылось белыми пятнами. – Просто! Мы третью неделю топчемся, а ему просто. Ишь, гусь

какой, «просто»! Просто только кошки котят родят – и то слепеньких. Так, мужики, больше предложений нету? Я голосую свое. Кто против? Прошу поднять руку. Митька! Считай.

Никто не поднял руки. Только Никита Гурьянов вскинул было руку, но немедленно же опустил ее. Плакущев же стоял позади Шлётки, сдерживая смех, а Маркел Быков намеревался пробиться сквозь толпу и удрать с собрания.

«Чудаки! Вот так чудаки!» – подумал Кирилл и крикнул:

– Василий, голосуй и «за» и «против»!

Все повернулись к нему, вздохнули так шумно, как будто он открыл дверь в избу, куда их всех загнали и где они все задыхались, не имея уже сил открыть дверь или выбить окна.

Кирилл не считал голосов, он следил за лицами, за тем, кто и за что голосует, и удивился: за коммуно подняли руки родные Захара, Давыдки Панова, Чижика – все это были те, от кого Кирилл не ожидал такого шага, а остальные, большинство бурдяшинцев, тянулись за Никитой Гурьяновым. Никита даже вскочил на чурбак и, высоко вскинув руку, крикнул:

– Подымай, граждане! Не бойся: при советской власти живем.

Воздержался Плакущев.

– Я ведь за коммуно, – сказал он, – да вот народ не хочет, а я от народа ни на крошку.

Шлётка двинул под собой табуретку и, собрав на столе бумаги, сказал так, как будто об этом только что дотолковались:

– Ну, мужики и бабы, завтра, значит, в девять часов утра соберемся здесь же... Собрание продолжается.

– Ой, мамыньки! Ноженьки не держат! – пожаловалась Елька – жена Ильи Гурьянова...

– Ничего. Зато голова на плечах поумнеет, – ответил Шлётка и, подцепив Кирилла под руку, вышел с ним со двора.

– Ты что, Василий, измором, что ль, хочешь их взять? – засмеялся Кирилл.

– Такое дело, – начал Шлётка, гордясь своей но́вой поговоркой, которая, казалось ему, придавала его словам особый вес. – Такое дело, ежели взять для примера конкретное лошадь, которая воздух глотает. Стоит в конюшне и – хам, хам, – наглотается, ажио раздует ее. С такой лошадью другую рядом ставить нельзя: приучится, за порченой потянется... И все эти за поездами тянутся – за Никитой, за Маркелом. Такое дело, с Митькой Спириным я толковал. «На кой, мол, пес тебе лошадь?» – «Хочу, слышь, по-людски пожить». Этот, стало быть, за Никитой тянется. Никита глотает, а он за ним.

– Ой, какой ты молодец стал! – искренно любуясь им, проговорил Кирилл.

– Надо с этих, с поездов, шерстку срезать, рыла им в другую сторону повернуть, – продолжал Шлётка и пожалел: – Давно Лукерью не видал свою, как она там?

– Верно, – согласился Кирилл и тут же подумал о Стешке и о том, что ему следует

на время отложить наступление на села и заняться хозяйством коммуны.

2

Кирилл два дня работал на берегу Волги, куда на тачках подвозили торф. Торф доставляла ручным способом группа Петра, племянника Чижика. Доставляла она его с пуда, взвешивали около штабелей, а не на барже, отчего слишком много было лома, слишком много торфа терялось по дороге от карьера до баржи. Кирилл первое время не мог понять, в чем дело, почему так небрежно доставляют торф даже при сдельной оплате труда, а потом догадался, что все зависит от того, где взвешивают торф, что, взвесив торф у штабелей, возчики несутся с ним, как угорелые, желая только как можно скорее свалить его где попало. Кирилл снял с работы Петра, во главе группы поставил Николая Пырякина, заставил взвешивать торф не у штабелей, а на барже. Затем распорядился устроить две телеги-плоскушки, пудов на сто каждая, и прикрепил к ним два трактора. После этого большинство людей освободилось, и доставка пошла скорее – без лома и утери.

В середине второго дня на «Бруски» из города снова заявился Яшка. Он в городе заделался «выдвиженцем» при газете и приехал теперь не один, а с человеком в роговых очках, похожим на филина. В столовой они подсели к Стешке, и Яшка решил пошутить:

– Последний разок хочу посидеть с женой. Вот жена моя и не моя, – сказал он корреспонденту.

– Посиди-ка да погляди, а я поем, – кинула Стешка.

Кирилл ждал – Стешка уйдет, а она сидела, спокойно подносила ложку ко рту и, намеренно чавкая, облизывала ее.

– Это кто такой? – поинтересовался Кирилл.

– Корреспондент, – ответил человек в роговых очках и, рассматривая листик бумажки, где написано было меню, сморщился.

– Что же у вас тут коммунистического? Работают у вас за деньги, обеды за деньги.

– А это мы для того плату за обеды ввели, – намеренно грубо сказала Стешка, – чтобы приезжие бесплатно не обжирали нас.

– У вас же капиталистические отношения, – продолжал корреспондент, делая вид, что не слышал Стешку. – Такая штука вас к социализму не приведет.

– А мы об этом и не думаем, – прикинувшись дурачком, произнес Кирилл и, издеваясь над корреспондентом, продолжал: – Мы вот насчет того больше: пожрать, поспать да на шармака бы где цапнуть.

– И с бабами погулять, – добавил Яшка.

– И от этого не прочь: мы не евнухи.

Стешка мельком укоризненно посмотрела на Кирилла и, не кончив еды, вышла из столовой.

– Интересно, интересно, – подчеркнул корреспондент так, как будто уже знал обо

всех проделках в коммуне и, доставая деньги из бокового кармана, попросил себе обед.

– Чеки давайте, – сказала Лукерья, жена Шлён-ки. – Вот такие.

Корреспондент разглядел чек и прочитал вслух:

– «Чек коммуны «Бруски». Десять копеек». Да-а. Подрыв, подрыв, знаете ли, – он потряс чеком перед Кириллом, – подрыв нашей финансовой системы. Свои денежки завели. У вас тут социализмом и не пахнет.

После ухода Стешки корреспондент вдруг показался Кириллу совсем чудачком, и Кирилл снова принялся строить из себя дурачка:

– Да какие это деньги?.. Это же чеки... грамотки. А впрочем, вы покопайтесь, покопайтесь, у нас не такие еще подрывы найдете... Я мог бы вам по секрету кое-что сказать, да вот брюхо у меня болит... побегу-ка скорее, – и вышел из столовой, зная, что корреспонденту, когда он вникнет во все винтики коммуны, понравится хозяйство и тогда тот сам будет смеяться над своими поспешными выводами.

Он хотел было продолжать свои усовершенствования по доставке торфа, но, подойдя к берегу Волги, заметил, что его веселое и бодрое настроение спадает, и он, сам еще не зная почему, ощутил в себе такую же тревогу, какая бывает у путника, когда он в ростепель переходит через Волгу по вспученному льду.

Он знал только одно – тревога зародилась у него при виде Яшки. Но теперь он почему-то больше думал о корреспонденте. Конечно, Яшка постарается показать корреспонденту коммуну с плохой стороны, а в хозяйстве плохих сторон еще сколько угодно. Взять хотя бы ту же доставку торфа. Разве можно столько терять его при переправе от штабелей на баржу? И это корреспондент может подхватить и «тиснуть» в газете.

«Впрочем, плюнуть на все надо», – сказал он себе и тут же понял, что с таким настроением ему лучше не ввязываться в работу, иначе он не выдержит, обрушится на кого-нибудь, а этого, особенно теперь, делать вовсе не следует.

– Коля! – крикнул он Пырякину. – Ты так и продолжай. – И ушел на торфяник.

Резка торфа на топливо закончилась. Вправо от первого озера было вынута около пяти гектаров торфа, и теперь там зияла огромная яма. Дальше торф готовили на удобрение и на подстилку. На разработке действовали одиннадцать бригад, по двадцать восемь человек каждая. Первой шла бригада Ивана Штыркина. Она в день вырабатывала раза в два-три больше остальных, тянула всех за собой, и вечером при подсчете члены штыркинской бригады дразнили оставших, смеялись над теми, кто выработал меньше их.

– Молодцы, молодцы! – хвалил их Кирилл, когда ему рассказывали, как работает бригада Штыркина. – Вот это и есть социалистическое соревнование. Их надо премировать.

И совсем недавно совет коммуны премировал бригаду Штыркина, дав каждому по паре яловочных сапог и по рубахе.

Но сейчас, увидев Ивана Штыркина, Кирилл поразился: Иван большим ножом с дубовой ручкой резал торф сверху, как крупнейший кусок хлеба. Нож резал торф с хрустом, с хлопаньем, и с хлопаньем, тяжело дышал Иван. Смертельная усталость

туманила Ивану глаза, лицо заросло курчавой спутанной бородой, а на висках образовались ямки... Иван весь высох, и когда его о чем-либо спрашивали, он несколько секунд стоял, как глухой, который не хочет признаться окружающим в глухоте. «Жадность», – мелькнуло у Кирилла.

– Сколько они в день зарабатывают? – спросил он у Давыдки.

– До пяти рублей на каждого выгоняют. Хотят до семи догнать. Боюсь, как бы жила у Ивана не лопнула. Петр, племян Чижика, погнался за ним – грыжу нажил... вчера отвезли в больницу... Да и другое – восемь человек ногами страдают: ревматизм получили. Лежат они там, в бараке.

– Ну, без этого не обойтись, – возразил Кирилл. – А работают ведь хорошо?

– Плохо ли? Погляди-ка, что делают.

Около трехсот мужчин и женщин резали торф, корчевали пни, отвозили торф на тачках, складывали его в кресты, затем громоздили штабелями. Работали они все быстро, с тачками носились бегом. А в стороне, около второго озера, несколько человек раздирали поверхность торфяника специальными граблями, сгружали, просеивали торф через сита. Дальше рыли каналы для осушения болот.

Никого не надо было подгонять, все сами гнались друг за другом и, стремясь заработать как можно больше, не давали себе времени передохнуть, работали с самого утра и кончали, когда на озерах пылали костры. Спали всего по несколько часов в сутки и выполняли невероятную норму – вместо тысячи кирпичей в сутки Иван Штыркин выкидывал семь тысяч, а за ним устремились остальные и тоже выкидывали по пять тысяч кирпичей.

– Хорошо. Хорошо. Замечательно! – сказал Кирилл.

– Да что говорить, – восхищаясь работой вместе с ним, подхватил Давыдка. – Чай, глядишь, и сердце радуется.

– Вот именно – сердце должно радоваться, в этом гвоздь, – согласился Кирилл и ушел к себе в комнату, сел за стол и все, что видел на карьере, записал в тетрадку.

А перед тем как лечь в постель, он поделился своими думами, успехами и радостью с Улькой. Она вначале слушала его, а потом он увидел – она крепко спала и выдыхала из себя воздух, чуть раскрыв губы, отчего они дрожали, как листья осины.

«Конечно, Стешка бы отнеслась по-другому... а с этой чего и требовать», – простил он Ульку. И сам уснул.

Какая-то тревога, еще совсем неясная ему самому, подняла его рано утром, когда на воле еще боролась ночь с утренней зарей. Он прошелся двором и посмотрел на детский дом – на окно комнаты Стешки. За стеклом тихо колыхалась беленькая занавеска, в углу стояла лампа, а рядом лежала развернутая книжка.

«Значит, читала», – решил он, затем подошел к квартирке Ивана Штыркина и в окно увидел, как поднимается Иван.

Иван спал не на мягкой кровати, а рядом, на двух сдвинутых, покрытых дерюгой лавках, и, пробуждаясь, захрипел, точно его душили:

– Ага... Агафья, подымай!

Кириллу показалось – Штыркин кричит во сне. И Кирилл снова похвалил свою систему: «Вот она, система, какая, и во сне донимает», – и придвинулся к окну.

Иван еще раз позвал Агафью. Та спрыгнула с кровати, потянула мужа сначала за ноги, разгибая их, словно они были отморожены, потом за руки, Иван несколько секунд лежал точно изломанный.

– Огнем бы меня теперь палить... вот вскочил бы, – проговорил он и потянулся.

Кирилл не мог дольше смотреть на то, как Иван через силу поднял правую руку, вцепился ею в специально для этой цели привязанное к потолку полотенце, дернул и, падая на пол, встал на колени – серый, сухой, с воспаленными глазами.

– А-а-а, – протянул Кирилл. – Урод. Уродами делаются. – И вдруг все, что так радовало его вчера на торфянике, повернулось к нему другой стороной: он в своей, внедренной в хозяйство, системе увидел брешь. – Нам же надо ковать человека. А это... это же урод! – И, уже не рассуждая о том, чья система лучше – Степана Огнева или его, Кирилла Ждаркина, бегом кинулся к квартире Давыдки Панова и постучал в окно.

У окна появилась в одной сорочке дочь Панова Феня и, тараща глаза на Кирилла, – очевидно, еще не сознавая того, кто перед ней, – растерялась и не прикрыла грудей, похожих на две груши.

– Что? – спросила она.

– Дядю Давыда, – тихо ответил Кирилл и отвернулся, ругая себя: «Что ты за дурак! Ну, девка, ну и что же? Крыться она от тебя должна?»

– Кого? – переспросила Феня, уже придя в себя и закрываясь занавеской.

– Давыда, отца! Ты разве не в девичьей спишь?

– Нет, – Феня игриво засмеялась. – Прогуляла долго, вот и не пошла туда.

– Жениха ищешь?

– Мой жених, не родясь, умер. – Феня опять засмеялась и скрылась за занавеской.

На крыльце появился встревоженный Давыдка.

– Ничего особенного, – успокоил его Кирилл. – А вот что: сними, пожалуйста, с резки торфа Ивана Штыркина и всю его партию... и поставь на молотилку. Пусть хлеб молотят. Там не побежишь и не отстанешь: машина – она приведет человека любого в норму.

– А ведь сорвем работы на карьере. За кем гнаться будут? – еще не понимая Кирилла, запротестовал Давыдка.

– Ничего, дядя Давыд. Хуже будет, ежели он подойдет на болоте. Уговори, пожалуйста, его, сделай это для меня.

– Хорошо, сделаю, – тихо проговорил Давыдка. – Сделаю. Только зачем это? Канитель одна.

Конечно, и Кирилл понимал, что это только канитель одна: снимут Ивана Штыркина, но ведь не снимут всего того, что заставляет гнаться за целкашом. Вместо Ивана Штыркина появится какой-нибудь другой Иван.

3

У конторы висел написанный вопреки решениям совета коммуны приказ:

ОТНЫНЕ ВСЕ РАБОТЫ В КОММУНЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ НЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЧАСОВ В ДЕНЬ. НАЧИНАТЬ – В 6 ЧАСОВ. В 12 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД, В 4 ЧАСА КОНЧАТЬ. ТЕХ, КТО НЕ ПОДЧИНИТСЯ ЭТОМУ ПРИКАЗУ, СНИМАТЬ С РАБОТЫ, ШТРАФОВАТЬ.

Председатель совета коммуны «Бруски».

Кирилл Ждаркин

Там, где нужно, ввести две смены.

Кирилл Ждаркин

Приказ был написан от руки, второпях, и не сразу дошел до сознания коммунаров. Только потом, когда Николай Пырякин растолковал его смысл, он поразил всех.

Первым восстал Иван Штыркин. Обиженный еще и тем, что его сняли с торфоразработки и поставили на молотьбу хлеба, он, сухой, вытянутый, с дрожащими руками, как у пропойцы, – подтягивая сползающие штаны, протестовал бессильным голосом:

– Никто воли не имеет праву командовать нами. Мы не овцы там и не зайцы. Хочу – работаю, хочу – лежу.

Откуда-то вылетел и завертелся около Чижик, вслед за ним высыпали, как тараканы от пара, его родственники, за ними побежали члены бывшей артели Захара Катаева... и в течение нескольких секунд двор коммуны заполнился толпой серых, изможденных людей.

– Смотри, смотри на лица. – Кирилл сдернул Богданова со стула и показал на толпу во дворе. – Разве ты не видишь – у каждого в глазах смерть... Смотри, все они похожи на стадо очумелых коров.

– А ты видел такое стадо? Безумствуешь! – крикнул, стараясь перебить гул толпы, Богданов. – При большой стройке есть всегда жертвы, а ты хочешь все строить беленькими ручками. Ты знаешь, когда брали Перекоп (ты там в это время был), сколько положили красноармейцев? Думаешь, так вот, попивая чаек, решились на такое дело?..

Слова Богданова на первое время как-то успокоили Кирилла. Они укрепили в нем мысль, что он стоит на верном пути и делает то, что приказала ему партия. Но в то же время он вовсе не хотел, чтобы все коммунары к зиме ползали на карачках, как Иван Штыркин.

– Этот Иван... если бы ты видел, как он поднимается по утрам. Жутко! Ведь это же урод. Пойми.

– Раскис, как девица на выданье?

– А ты видел девицу на выданье?

– Как и ты чумных коров. Ты вон слушай – шумят как.

Во дворе гоготала толпа. Этот гогот напоминал Кириллу сначала гусиный садок, где тысячи гусей, сидя партиями в клетках, беспрестанно гогочут, оглушая окрестности. Но через миг Кириллу вспомнилось другое – базарное торжище и самосуд над конокрадом.

Вот вскочил на бочку Яшка. Выкрикивает: «Всех коммунаров здесь хотят сделать послушными, как забитых жен!» – да, он так и выкрикнул: «как забитых жен», и еще добавил, что коммуны пришедшие со стороны люди превратили в имение помещика Кирилла Ждаркина.

Кирилл выбежал из конторы и, расталкивая локтями коммунаров, пробрался к бочке. Яшки «а бочке уже не было. Заметя Кирилла в дверях конторы, он спрыгнул и зарылся в толпе.

Кирилл стоял на бочке, и все перед ним молчали.

«Не сладишь... с ними сейчас не сладишь», – подумал он и перепугался этой мысли. «Чепуха!» – подбодрил он себя и крикнул:

– Будет так, как сказано в приказе. Вы можете меня переизбрать, выкинуть из коммуны, но пока я стою у руля коммуны, будет так, как сказано в приказе... В этом я даю голову на отсечение.

Кто-то проворчал:

– На кой она нам... дерьмо такое.

– А вот если у меня голова дерьмо, – подхватил Кирилл, радуясь уже тому, что кто-то прорвал молчание, – если она у меня дерьмо, тогда не держите меня... снимите. – Он был уверен – ни у кого не поднимется рука голосовать за снятие его – и напирал: – Если я не годен, вы должны немедленно же выкинуть меня из коммуны, предать суду. Нельзя допускать, чтобы вами управлял человек с дрянной, пустой головой... А я... вот такой человек... я не могу смотреть на то, когда коммунары, в погоне за целковым, заживо себя хоронят.

– Ты хоронишь, ты! – И Яшка потряс кулаком: – Ты сосеешь из них кровь... Ты в грязь затоптал Степана Харитоныча. Это тебе даром не пройдет.

– Врешь! – перебил Кирилл и побледнел, видя, как Иван Штыркин сдернул приказ и, разорвав его в клочья, бросил над головами коммунаров...

И Кирилл остался один.

Работы вновь закипели на торфянике, на поле, по выделке брусков из красного камня, на стройке беконного завода и двухэтажного дома, на закладке новой мощной мельницы, и даже Захар Катаев с еще большим рвением, думая угодить Кириллу, принялся за посев озимого клина. Все работали так же – с самого утра и до позднего вечера, до костров, затемно ужинали в столовой и, как мореные мухи, расползались по

комнатам, по баракам, по шалашам.

Система, внедренная Кириллом во все уголки хозяйства, восстала против него же.

Он несколько дней не выходил из комнаты, мучаясь тем, что его оставили, обошли.

– Пускай проветрится... продует его маленько, – сказал Богданов при нем и даже засмеялся...

И это дразнило Кирилла, вздымало в нем обиду и на Богданова, и на Давыдку, и на Захара Катаева – на всех, с кем он работал все лето рука об руку... У него шумело в голове, он не спал ночей, а все, что делала, говорила Улька, – раздражало его, и сознавая, что в поступках Ульки ничего особенного нет, все-таки болезненно ворчал:

– Ох, дура ты такая... И дура же!

На третий день к нему приехала Маша Сивашева, и он обрадовался ее приезду, как мог бы обрадоваться человек, замерзающий в проруби, потерявший всякую надежду на спасение и вдруг увидевший перед собой людей, теплую печку, еду.

– Маша, Машенька! – Кирилл кинулся ей навстречу и, забыв о том, что он глава коммуны, сжал Машины плечи и, не отрываясь от ее теплых глаз, затряс ее. – Вот хорошо-то... вот хорошо-то!.. Ну, пойдём... Я не могу здесь больше...

– Стервюга!.. стервюга!.. А-а-а!.. – завизжала им вслед Улька и опустилась на крыльцо квартирки. – Увела... сука... Увела...

Они уже бежали за Вонючим затоном, спустились в Гремучий дол, когда Маша сказала:

– Ух... Шагаешь же ты... как верблюд.

– Да? – спросил он и задержался.

– Присядем... – она опустилась на желтоватую траву под кустом орешника. – Затравили тебя. И ты все-таки прав. Прав ты в том, что экономика обгоняет культурный рост человека и человек остается черным тараканом. Люди еще старые – паршивые. Но от этого не следует падать духом. Надо полюбить их – забитых, паршивых, дрянных... иначе не перестроишь их. А ты сорвался. Ты обозлился. Против кого? Ах, Кирилл, Кирилл! Если бы все они были настоящие коммунисты, то здесь делать нечего было бы: они и без тебя бы обошлись.

– Маша! Маша!.. – сказал Кирилл Ждаркин и, плача, уткнулся головой ей в колени.

– Ну вот... ну вот, чудачок какой... А еще член Всесоюзного Центрального Комитета. Нет, ты перестань... а то ведь и я... Перестань, говорю! – вскрикнула Маша и провела рукой по его голове от шеи к макушке.

А когда они шли обратно, то за Вонючим затоном, в начале парка, наткнулись на Яшку и Стешку.

– Сюда, – Кирилл потянул Машу, и они скрылись за деревьями, невольно прислушались.

– Что тебе? – спросила Стеша. – Говори. Не мусоль.

– Ухожу, – откашливаясь, наконец выговорил Яшка. – Совсем ухожу и не вернусь больше.

– Скатертью дорога.

– Ты хоть сейчас не бей меня. – Яшка сжался и сделал к ней шаг. – Ты ведь можешь и не бить: ты добрая, я знаю. Ну, что с тобой? Скажи. Полюбила, что ль, кого? Ведь на рожон не полезу. Кого полюбила?.. Не понимаю я.

– А тебе легче будет? Полюбила?! – Стешка засмеялась, и в смехе у нее бурлила злоба. Она стала к Яшке вполуборот и вся затряслась. – Полюбила! Как же! Всех вас ненавижу! Всех! Ты, ты... Ах! – она не могла подобрать слов и вдруг выпалила: – Кобель! Полюбила? Вытравила я ее... у бабушки Чанцевой. А-а-а, ты не понимаешь? Не понимаешь, как приходил вонючий, слюнявый, не понимаешь, как это из-под тебя жена законная вывернулась? Понятно тебе было – налакаешься, придешь, сделаешь свое дело и пошел. – Она вся ощерилась и кинулась на него: – Вонючий приходил, облеваный и опять пришел.

– Брось! – Яшка вспылел. – Всегда вы так: как уходить – муж виноват... и то и другое он. К Кириллу, что ль, потянуло? Говори прямо. Нечего вилять.

Стешка остановилась, сдержала себя. Да, Яшка такой же: он снова хочет превратить ее в постельную принадлежность. До этой минуты она еще жалела его, иногда даже думала о нем, особенно сегодня, когда в лесу увидела Кирилла и Машу. Она пошла в коммуны и думала, что, может быть, встретит его, Яшку, и поговорит с ним... Может быть... Но вот он стоит перед ней, и все такой же, и все так же у него дрожат вывернутые ноздри, напоминая ей Клуню и Егора Степановича Чухлява. Все тот же. И Стеша спокойно ответила ему:

– К Кириллу, к кому ли... Тебе что за дело?

– А-а-а... Мы вот его подчикнем. – Яшка двинул ногой, точно пиная Кирилла.

– Кишка слаба. Подчикнем? Он вас подчикнет.

– Поглядим.

– И-их, и шелудивый же ты, Яков Егорыч, весь в блатюшку, Железного, пошел! – Стешка повернулась и, удаляясь, добавила: – Кровь-то собачья сказывается.

– Стешка! – крикнул Яшка и побледнел. – Это ты совсем... по правде?

– Нет, наполовинку. Вот ежели приставать будешь – всем скажу, какой ты есть коммунист: жена бросила, а он на Кирилла кинулся.

– У-ууу! – Яшка тихо взвыл и, кусая руки, опустился под березой.

Кирилл и Маша незаметно прошмыгнули мимо.

– Кирилл, – прошептала Маша, хотя они уже были далеко от Яшки. – Ты цветешь?

– Отчего мне? – не в силах сдержать улыбку, ответил Кирилл. – Жена с мужем поругались – оттого? Впрочем вру, вру... – спохватился он. – Цвечу.

– Не цвечу, а цвету, – поправила Маша и побежала за Стешкой.

– Ну, цвету, – согласился Кирилл, направляясь к себе в комнату, уже совсем успокоенный и встречей с Машей и тем, что слышал от Стешки. «Вот только моя зазноба сейчас поднимет бурю. Ну, что ж, скажу ей все: оглобли нам следует в разные стороны», – подумал он, отворяя дверь в комнату, и удивился.

Улька стояла перед зеркалом и прихорашивалась. Она не заметила Кирилла или,

может быть, сделала вид, что не замечает его, только стояла перед зеркалом и любовалась своими красивыми губами: она вытягивала трубочкой и показывала кончик розового языка, потом снова складывала губы тарелочкой и улыбалась.

– Что это ты? Физкультуру над губами проделываешь? – спросил Кирилл.

– Ах, ты пришел? Скучно – вот и верчу губами.

– Занятие! На работу бы шла.

– Освободилась от сынка: нонче совсем сдала его в детский дом. Теперь – на работу.

– Вот и хорошо, – Кирилл обрадовался не тому, что она идет на работу, а тому, что она сдала сына в детский дом. – И разговор теперь прекратится. А то ропот был: председатель, а сына держит дома.

– Скучно! – Улька потянулась.

– Поди погуляй.

– С кем? Одной скучно.

«Начинается, – подумал Кирилл, – сейчас взорвется», – и промолчал.

– Сроду ведь одна.

– А ты подцепи кого-нибудь.

– Разве я тебя на кого сменяю? – Улька обняла и поцеловала его в нос. – Весь ты мне родной... мученик. Измотался, сединки уж на висках появились...

Она была слишком ласкова, слишком возбуждена и не смогла скрыть от Кирилла какого-то другого чувства. Она, будто бы как и всегда, ласкала его, но в ее ласке он почувствовал, – а может быть, это ему просто показалось, – неискренность, и он отвел ее руку от себя.

– Устал я, – серьезно проговорил он, сдерживаясь. – Знаешь, что идет в хозяйстве? Меня могут снять.

– Снять? Как это снять? Чай, тебя партия поставила. Снять! Кто это может?

– Правда, ступай-ка погуляй последний денечек, – проговорил он, вкладывая совсем другой смысл в эти слова, и, сев за стол, вынул из ящика тетрадку. – Ступай, а я напишу...

Улька ушла, и Кирилл забыл о ней.

4

В полдень Кирилл, решив сломить упрямство коммунаров хитростью, вышел из комнатки, направился в конюшню, чтобы оседлать лошадь и ехать в поле – на торфяники, как вдруг он увидел: из Широкого Буерака по дороге движется группа мужиков и баб. Впереди всех – сияющий Шлёнка, а рядом с ним ползет Епиха Чанцев.

– Что такое? – крикнул Кирилл, пристально рассматривая широковцев.

– А вот веду... в коммуноу... делегады.

– Не делегады, а делегаты, – поправил Кирилл, хотя исковерканное слово ему очень понравилось. – Делегаты... Ну, что ж, просим милости.

– Смотреть, – начал Епиха. – Показывай нам, Кирилл Сенафонтыч, что у вас тут есть самое сладкое.

– Веди в столовую. Пускай сначала поедят, а там и хозяйство глядеть будут.

Делегаты отправились в столовую, а Кирилл сел на лошадь и тронулся в поле. Он еще не успел пересечь участок клеверища, как со стороны Винной поляны раздались заглушённые крики, затем оттуда показалось несколько бегущих людей, и какая-то непонятная ему весть молниеносно разнеслась по «Брускам»: люди, бросая работы на торфянике, на постройках, на скотном дворе и сбиваясь в толпу, понеслись следом за Кириллом на Винную поляну.

«Бить хотят. Неужели меня бить?» – мелькнуло у него и, стегнув плеткой коня, он помчался, взвихривая по дороге пыль, на Винную поляну. Через несколько минут он уже стоял на току у огромной молотилки. Событие, которое совершилось несколько минут назад у молотилки, чуть не свалило его с ног. Он закачался от неожиданного сильного удара и, зажмуря глаза, еле сдерживая стон, отвернулся и заскрипел зубами.

У молотилки на соломе лежало нечто, похожее на человека, но руки у него вырваны из плечей, лицо смято, а лобный череп сорван и завернут на затылок.

Захар Катаев рассказал Кириллу то, что и без слов было ясно: Ивану Штыркину показалось, будто задавальщики плохо подают снопы в молотилку. Он забрался сам на подмости и, ругаясь, сунул сноп в пасть молотилки, промахнулся – попал рукой в барабан, растерялся, хотел второй рукой помочь, задержать правую. Через секунду – крик, и молотилка отбросила Ивана.

– Жадность. Неужели вот вам всем нужно было, чтобы Ивана измяла молотилка, нужно было, чтобы... понять, чтобы... Эх! – обращаясь к сбежавшимся коммунарам, тихо проговорил Кирилл, понимая, что он говорит весьма путанно, что сейчас надо во что бы то ни стало повидаться с Богдановым. – Где Богданов? – спросил он Захара.

– Туда пошел давеча, – Захар махнул рукой по направлению к Сосновому оврагу, принимая от Кирилла поводья. – Пешечком хочешь пойти? – спросил он, сам не зная для чего.

– Угу, – буркнул Кирилл. – Уберите его... Как его... Ивана.

Кирилл шел, опустив голову, чувствуя какую-то тяжесть во всем теле.

«На руку. Всякой сволочи на руку. Понесут теперь... трепать языками... Ах, дурак я, дурак! Надо было сразу отправить Ивана в больницу... Черт лохматый!..» – обругал он Богданова за то, что тот не поддержал его.

Кирилл поднял голову и дрогнул. Он стоял на берегу Соснового оврага, на месте, откуда первый раз увидел под нависающей глыбой примятую траву – лежанку. Он тогда понял, что спугнул пару молодых, наслаждающихся... Он тогда сам убежал от оврага... И вот теперь вновь стоял на том же месте, а под нависшей глыбой, удобно прикрытые от посторонних глаз, спали Богданов и Улька. Богданов раскинул руки, похрапывая, похожий на здоровяка-ребенка, а Улька, положив свою полурастрепанную голову рядом с его головой, спала, чуть согнувшись, закинув в сторону ногу. Подол платья у нее вздернулся, оголяя белые икры.

Кирилл решил, что это ему мерещится, что это, как называла Маша, галлюцинация. Он отвернулся, посмотрел назад, – далеко на Винной поляне серела толпа коммунаров, оттуда несся гул. Затем он посмотрел в сторону коммуны – там мертво: все убежали к мертвому Ивану Штыркину. Да вот и он, – он посмотрел на себя, – на нем серая рубаша, та самая, которую он сегодня надел... И он еще раз поглядел на дно оврага...

– А-а! – он захлебнулся криком и, выдирая из берега огромный, со светлыми, блестящими, как сталь, боками камень вскинул его над головой. «Это же не всерьез... это же ты не всерьез!.. – Но камень уже висел над ним, и он, метясь в Богданова и Ульку, представлял себе, как они сейчас с раздробленными черепами забьют ногами по траве. – Сволочи... около меня... на моей шее!»

И тут пришла нелепая мысль. Он вспомнил читанную когда-то давно, еще в детстве, книжку о том, как разъяренный муж, застав спящими свою жену с любовником, разбудил их и казнил: «Пусть видит, кто их пристукнул». Он поддался этой мысли и сделал уже шаг вперед, но вдруг понял, что он ничем не отличается от того разъяренного мужа, что вообще все это как-то глупо. Конечно, ему стало досадно: почему они молчком, таясь от него, всё это делают? Но и досада уже прошла.

«Зачем? Я же ее не «ублажаю», – припомнился ему ее упрек. – Содружество, – усмехнулся Кирилл и, еще раз пристально посмотрев на Богданова, на Ульку, отошел от оврага. – Пусть содружество. Но надо с ним поговорить... Так же нельзя... Я ее буду кормить, одевать, а Богданов пользоваться. – Он вновь обозлился и тут же круто обругал себя. – Фу, черт... мужик какой в тебе: «кормить, поить!» Точно она лошадь... Поговорить с ним, конечно, надо, иначе создадутся натянутые отношения... То-то он меня последнее время сторонился».

И Кириллу стало ясно, что они давно обманывали его – с того самого дня, как Улька перестала «приставать» к нему, а сегодня, красуясь перед зеркалом, она красовалась, конечно, перед Богдановым и, лаская Кирилла нарочито и излишне, говоря ему, что она его ни на кого не сменяет, – лгала.

«Сколько еще грязи и пошлости в человеке», – подумал он, входя в комнату Богданова, решив дождаться его здесь и поговорить с ним.

Кирилла удивили чистота и порядок. Стол накрыт скатертью, на окнах убрано: стопочками аккуратно лежат куски торфа, и даже стоят цветы. Кирилл не любил цветов, вернее – он не любил цветов, сорванных и в горшках, и когда Улька принесла две плоские с какими-то вонючими цветами, он сказал: «Убери, не то выкину овцам». Она убрала, и вот теперь эти цветы стоят на подоконнике в комнате у Богданова.

«Она прибрала... она и цветы поставила, – мелькнуло у него, и снова появилась обида на них, на обоих – Богданова и Ульку. – Улька о нем думала больше, чем обо мне... – Кирилл не закончил своей мысли, с полчаса сидел под окном, поджидая Богданова, затем подошел к столу, осмотрел его, порылся в книгах на полке. И вскоре он обратил внимание на завернутые в кошму, стоящие в углу удилища. – Улька и удить ему не дает... но почему они такие короткие?» – подумал он и потрогал их. Под кошмой было что-то твердое, гладкое и широкое. Он развернул сначала первую кошму, потом вторую. Под кошмами оказались не удилища, а два цинковых опрыскивателя.

– Стоп-стоп-стоп... – торопливо проговорил он. И вот перед ним – первое утро на

«Брусках». Богданов сидит на берегу Волги и удит, затем они поднимаются в гору, и Богданов рассказывает о своем друге, который вез себе в совхоз жену... и «лошадиные зады с взъерошенными хвостами поднялись кверху и нырнули в воду, а за ними нырнули и сани вместе с его женой, дочкой и кучером... а он как-то выпрыгнул из саней, стоит на льду и держит в руках два опрыскивателя – длинные, цинковые...».

И Кириллу стало все ясно...

«А опрыскиватели хранит... на память. Вот он какой». Кирилл бережно завернул их в кошму, поставил в угол и вышел из комнаты.

Старый парк гудел приглушенно, точно разомлев от жары, и Кириллу показалось даже, что и ноздрястые дубы, и белобокие, будто улыбающиеся березы, и желтеющие, хрустящие под ногами травы – все подслушивают его, потешаясь над его горестями.

«Смахнуть! Все к чертовой матери!» – сказал он себе и забился в переплетенный, перевитый хмелем кустарник под обрывом. Но тут же снова почувствовал, что все в нем разрывается, что, как он ни успокаивает себя, как ни приводит на помощь свой рассудок, все-таки ему больно – и оттого, что Улька обманывала его, и оттого, что Штыркина смолотила машина, и оттого, что на «Брусках» ералаш.

Под обрывом купался Богданов. Он буйно отфыркивался, плескался, играя водой, – так мог бы купаться медведь. Затем начал прыгать, поблескивая на солнце обрюзглым телом.

– Как кот, – беззлобно произнес Кирилл и с завистью посмотрел, как Богданов, точно борец на сцене, размахивая локтями, держа кулаки на груди, вышел на берег и начал стряхивать с себя ладонями капли. – Наверное, еще не знает о Штыркине: медовый месяц проводит. Пойду и я... Пусть что будет... – выбрался из чащи.

Детский дом стоял на пригорке, около березовой рощи. От дома еще пахло сосновыми бревнами. В кругу детей на площадке сидела Стеша и, спустив косынку на плечи, вместе с ними пела:

Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай.

Дети около нее были уже рослые, и малыши лежали под навесом, задрав ножонки.

Кирилл долго стоял около загородки, смотрел на детей, на Стешку и не решался подойти к ней.

– Дядя Киря! – закричала Аннушка.

«Судьба идти», – подумал он и вошел на площадку.

– Что?.. – почему-то испуганно спросила Стеша. – Что случилось? Я одна здесь. Все убежали на Винную поляну.

– Вот видишь... я открыто к тебе, – несвязно начал Кирилл. – Открыто, прямо, что ль. Ну.

Она молчала, потом все больше бледнея, подняла на него глаза:

– Что? Уже забыл Машины колени?

Такими словами Стеша словно наотмашь ударила по лицу Кирилла: в нем все взорвалось, и он крупными шагами, почти не понимая, что делает, кинулся с площадки, не слыша, как вслед ему кричала Стеша.

У крыльца конторы стоял в упряжи рысак. В тарантасе сидел Захар Катаев. Он собирался ехать за доктором. Кирилл с разбега вскочил в тарантас, крикнул:

– Пошел! На село пошел, дядя Захар!

Кирилл и Захар Катаев скакали на рысаке по улицам Широкого Буерака, по улицам Алая, по полям, не разбирая дороги, Кирилл наяривал на гармошке, а Захар, подпевая ему пьяным голосом, иногда прерывал песню лепетом.

– Не загоним, Кирилл Сенафонтыч, рысака не загоним?

– Дуй, дядя Захар! Дуй! – кричал Кирилл и широко растягивал мехи гармонии.

В коммуне же как будто ничего не случилось: там шла работа бригады работали на карьере, по выделке брусков из красного камня, на полях, готовясь собирать турнепс, на горе у Вонючего затона. Урчала молотилка на Винной поляне.

А к вечеру коммунары, кончавшие работу на торфянике, заметили, как с горы Балбашихи, поднимая столбы пыли, спускался по направлению к «Брускам» автомобиль.

– Кто же это может быть? – спросил Николай Пырякин, взбираясь на баржу, чтобы пристальнее рассмотреть тех, кто спускался с горы.

С горы спускался вовсе не автомобиль, а самый обыкновенный тарантас, только без задних колес, отчего он чиркал осью и поднимал пыль.

– Вот это да! – сказал Николай. – Кто-то и колеса-то пропил. Да это, никак, наши?.. Наши и есть Рысак-то наш.

На поля коммуны ворвались Кирилл и Захар. И, так же наяривая на гармошке, распевая песенки, промчались к Сосновому оврагу и скрылись в Гремучем долу.

– Дедушка! Дедушка Артамон в нем проснулся, – оправдывался перед коммунарами Чижик. – Тот, бывало, как попадет ему под хвост, месяц – месяц гложит. И этот. Связать его надо, буяна...

– Ничего. Мы вытряхнем из него дедушку Артамона. Да и сам он маненько протрясется, – ответил Николай Пырякин и направился в столовую.